

ЭДУАРДАС  
МЕЖЕЛАЙТИС



контрапункт





БИБЛИОТЕНА  
**ДН**  
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ  
«БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

**Сурен Агабабян  
Ануар Алимжанов  
Сергей Баруздин  
Константин Воронков  
Леонид Грачев  
Мирза Ибрагимов  
Алим Кешоков  
Григорий Корабельников  
Леонард Лавлинский  
Георгий Ломидзе  
Юстинас Марцинкявичюс  
Рафаэль Мустафин  
Александр Николаев  
Леонид Новиченко  
Валентин Оскоцкий  
Леонид Тераконян  
Иван Шамякин  
Людмила Шиловцева**

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ЭДУАРДАС  
МЕЖЕЛАЙТИС

контрапункт

ЛИРИЧЕСКАЯ ПРОЗА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» ● МОСКВА ● 1972

С (Лит.) 2'  
М-43

Авторизованный перевод с литовского

Составитель Б. ЗАЛЕСКАЯ

Художник И. ОГУРЦОВ

7-3-3  
30-72



лирические  
этюды



**Проза в переводе И. КАПЛАНАСА**

**Стихи в переводе:**

**А. ЗАУРИХА** («Фауна и флора. Эскизы», «Веселые игры»)

**В. КОРНИЛОВА** («Пастель. Этюды», «Портрет матери», «Портрет сестры»)

**Ст. КУНЯЕВА** («Красный гроб»)

**Ю. ЛЕВИТАНСКОГО** («Картины смерти»)

**Л. МАРТЫНОВА** («Интимные акварели»)

**А. МЕЖИРОВА** («Первый автопортрет», «Автопортрет», «Фрески. Эскизы. Эпилог»)

**Л. ОЗЕРОВА** («Как на небе, так и на земле...», «Первый пейзаж и примечания», «Портрет отца»)



## ВВЕДЕНИЕ

**Н** а рабочем столе — письма читателей. Что? Как? Почему? Нелегко ответить. Да поэту и самому не менее важно разобраться в этих трех вопросах. Должен ведь он знать, что и как пишет и, главное, почему пишет именно это!

Полночь. Все кругом отдыхает. Бодрствуем только мы двое: машинист за рекой да я за письменным столом.

— Ду-ду-ду... — мерно выстукивает на том берегу землечерпалка.

Там строят новый мост. Мерно чеканит ровные интервалы машина, словно сочиняет стихотворную строчку.

Прекрасно. Она создает поэзию жизни. Возникает новый мост. Чудесно. Чем больше нового, тем звучнее жизнь.

Гляжу в черный квадрат окна. Стекло совсем заиндевело. На дворе — зимняя стужа. Зажечь бы в сердце костер весны!

— Ду-ду-ду...

С этого начинается мост.

Ритм машины напоминает биение сердца, удары пульса.

— Ду-ду-ду...

С этого начинается и новая книга.

Передо мной еще не тронутый лист бумаги. Но книга уже начата: она рождается в ритмических набегах крови.

Кладу руку на белую страницу. И пальцы мои крепко сжимают перо.

Пять пальцев...

Были они когда-то тонкими, гибкими, чуткими. А теперь?

На них — отметины: мозоли, шрамы, царапины. Их столько же, сколько прожито мною лет.

И если поэт хочет сам осознать и другим объяснить, что, как и почему он уже написал, пишет или собирается написать, надо остановиться на мгновение и оглянуться в прошлое, а заодно и увидеть хотя бы расплывчатые контуры будущего. Тут все пригодится, даже случайно воскрешенная в памяти житейская мелочь, отрывок, деталь, черточка.

И наконец: «Познай самого себя». Не зря этому учили древние. Такой наказ безоговорочно поможет всякому, кто хочет не только заглянуть в свою человеческую суть, но и раскрыть ее другим.

Поэтическое слово — отголосок сердца. Каков его ритм, такова и беседа между поэтом и читателем.

А сердце обучает сама жизнь, словно опытный мастер. И бьется оно то медленно и торжественно — в ритме эпоса, то в порывистом темпе трагедии.

Поэт тут ни при чем. Отражая время, его биография уже сама по себе есть жизнеописание так называемого лирического героя. Чаще всего она, эта биография, и определяет, куда клонятся его страсти и помыслы, его разговор с читателем.

Порой слышится в его голосе строгая, стальная нота, а подчас и очень светлая. Иногда вторгаются сюда и мрачные, роковые созвучия. Всяко бывает.

А поэт такой же человек, как и все прочие. Он пишет — другие выполняют иную нужную, созидательную работу.

А что такое человек?

Мир — это точно спланированный архитектурный ансамбль. Время, словно по линейке, создает в пространстве поразительно совершенный чертеж. И если искать аналогии, эти линии времени на фоне пространства напоминают, пожалуй, пчелиные соты. В конкретной точке и в определенный момент зарождается новая кле-

точка, ячейка, единица, наполняющаяся питательным веществом. Такой клеточкой, постоянной в пространстве и неповторимой во времени, и является человек.

Мы переживаем во всех областях эру упорных исканий. Романтических порывов и реалистического анализа. Человеческий ум должен все объять и обдумать, уразуметь и разгадать самую сокровенную сущность.

Сердце и разум ищут гармонического равновесия. Сердце стало мыслящим, разум — крылатым. Рождается мыслящая поэзия.

Думаю обо всем этом и начинаю новую книгу. Пальцы крепко сжимают перо. Скоро, как зерна на пашню, посыплются на белый лист отдельные буквы. Буквы сплотятся, срастутся — и взойдут словами. Слова сомкнутся тесным строем — и прорастут новые фразы, целые страницы. Переверну последний лист — и вот уже полная пригоршня слов, будто зерен.

Звуки. Буквы. Слова...

Стоит ли над этим задумываться? Начать и кончить нужно в алфавитном порядке: А, В, С... Итак, начнем с буквы А. Это первый звук, который мы слышим из материнских уст. И сами издаем его, начиная общаться с миром.

Значит, от А до Ж...

А пять моих всемогущих пальцев, которыми я пишу эту книгу? Пускай наложат они на нее свой отпечаток. Да будет в ней пять глав! У каждого пальца есть свое предназначение. И у каждой главы в этой книге — своя цель, своя собственная история.

У любого из нас был в жизни такой период, которого самостоятельно не вспомнишь, не опишешь внятно и четко. Приходится прибегать к чужой помощи. Ведь этот период для меня не менее важен, чем все прочие отрезки жизни.

И не желая ничего пропускать, начну с самого маленького пальца — с мизинца. Итак...

# I

«Иду я по бережку Круои, прижимаю к груди тебя, реву малютку, — любила чашенько вспоминать мама. — А ноги подгибаются — третий день ничего во рту не было. Ни хлебца, ни капельки молока. Грудь высохла — чем несмышлениша накормить? Брошу-ка, думаю, тебя в речку. Бог простит — видит ведь, как мне тяжело. А крикун стихнет и уплывет по божьей воле. Ну, нет! Гоню от себя прочь искушение, прижимаю к сердцу твое тельце, а у тебя уж и силенок нет плакать. Эх, думаю, выращу, будь что будет! И вырастила. А ты вот какой — маму не слушаешь!»

Стало быть, чистая случайность. Могло бы меня и не быть. Но раз я уцелел, достались и мне местечко в пространстве и соответствующая мера времени.

Никто не пользуется привилегией выбирать место и год своего появления на свет. Нет ни у кого таких прав, кроме великой матери-природы. И незачем об этом сокрушаться. Тот уголок земли, где ты увидел мир, где сделал свой первый шаг, всегда должен быть для тебя самым лучшим на свете.

И по сей день я больше всего люблю крохотную точку круглой планеты, на которую ступил впервые, хотя название у точки довольно прозаическое: Карейвишкяй. Солдатская, да и вокруг нее ничего примеча-

тельного. Под ногами — вязкая, глинистая, серая топь, и над головой — сплошная серость: поднебесье мое упирается в зеленоватый горизонт Балтики, а само какое-то мглистое, туманное. Вечные дожди, словно сетью, оплели этот уголок земли. Может, и правильно кто-то пошутил: Литва, мол, называется так потому, что здесь дождь не перестает ЛИТЬ? Пожалуй, все-таки не поэтому, но душа у человека тут порывиста, как беспокойная птица, бьется она, трепещет, силится взлететь — хочет пробиться сквозь туманную непогоду, сквозь сети дождя, сквозь нагромождение туч — к солнцу! А это весьма существенная черта. И не доводилось мне видеть на свете уголок краше этого дождливого и тусклого побережья Круои.

То же и с датой в метрике. Самым лучшим для каждого должно быть время, в какое ему суждено жить. Укладывайся в отмеренные сроки, чтобы выполнить свой человеческий долг и взять себе побольше хорошего из того, что уже создано и существует.

По-моему, немалое преимущество — родиться в веке, обозначение которого — XX — напоминает ракетный каркас на космодроме. А число:  $1919! 19+19=?$  Как будто нехитрое уравнение, а я до сих пор все решаю его и никак не решаю.

Слышишь иногда: «Эх, родиться бы столетием раньше или столетием позже!» Неоправданное недовольство: отчего же мой год рождения хуже, чем у X или Y, которые жили за сто лет до меня?

Нет, я лично предпочитаю 1919-й. Подумать только: уже была отдана команда революционного переустройства мира: «Наступить изо всех сил!» В этот год человечество обрело огромный революционный опыт:

от залпов «Авроры» дрогнули по всей планете бастилии и надменные дворцы — всякие барокко и рококо;

на освободительную борьбу в разных странах поднялось невиданное до того множество людей — целый миллиард;

VIII съезд партии принял совершенно новую в истории человечества программу — построение социализма, сложный, отважный, новаторский эксперимент;

на политическую трибуну поднялся «самый человечный человек», под античным лбом которого горела мысль величайшего гения и новатора истории, и, словно высеченная из гранита, вскинулась протянутая вперед рука;

наступила эра уважения к человеческому разуму и человеческим рукам — эра мысли и груди.

Да и в поэзии:

зашаталась и затрещала симметрия ритмов, рифм, строк;

поэт засучил рукава, подобно строителю, зодчему, каменщику, литейщику, инженеру, ученому;

строчка стиха стала вещной и конкретной, подобно кирпичу, камню, металлу: кирпич ложился на кирпич, камень — на камень, металлическая плита — к металлической плите, пласт черного угля — на другой угольный пласт;

строчка стиха вздыбилась строительными лесами, каркасами мостов и заводов, ступенями с этажа на этаж;

строфы выросли, как кубы бетона, как арматура новых домов, как целые кварталы, районы, огромные города;

не уместаясь больше в башнях из слоновой кости, строфы, скандируемые в ритме толп, машин, новостроек, вышли на улицы и площади, и в голосе поэта зазвучал гул металла;

изменилась величина лирического героя:  $I = 150\,000\,000$  или даже целому миллиарду.

А в науке айсберг общей теории относительности еще оставался чуть не целиком под водой, неисследованный, непроверенный. Однако в том году:

в пампасы Бразилии пожаловала некая экспедиция чудаков и, установив аппараты, запечатлела на негативах солнечное затмение;

запечатлела звезды, сиявшие рядом с царственной короной Солнца;

сравнила снимки и получила разность, экспериментально подтверждавшую существование гравитационной массы у света и закон тяготения;

фотографии закрепили теорию относительности, свет был взвешен;

«...сегодня радостные новости... экспедиция доказала отклонение лучей близ Солнца»,— писал в письме к матери Эйнштейн;

пространство стало изогнутым, как еще прежде время сделалось относительным, и оба они оказались нераздельными близнецами, которых невозможно понять друг без друга;

в том же году скончался Ренуар, но формула света в искусстве, как и в науке, была уже выведена.

Вот как богат событиями был год моего рождения, суливший сделать меня очевидцем создания новой эры, а то и соучастником этого сложного мучительного процесса. Меня это вполне устраивало.

Я уже говорил, мама часто сетовала: не слушаешься! Чистая правда! И рад бы вспомнить хоть единый случай, когда бы я проявил покорность судьбе. Увы, никак не припомню.

Слушаться! Другое дело — если застанешь мир безукоризненно налаженным, и поднесут его тебе в яркой упаковке, словно новогодний подарок, — милости просим! Тогда остается только вежливо расшаркиваться и блаженно умиляться.

К сожалению, так не бывает. Приходишь в мир и вскоре сталкиваешься со всевозможными неудобствами. Постоянно не хватает чего-то необходимого. И даже то, что тебе досталось в наследство, нужно изменять, перестраивать, приспособлять к своим надобностям, создавать заново.

Да и на что же в конце концов человеку сердце, разум, руки? Для бездействия? Нет уж, сердце челове-

экое полно вечной тревоги, ум ищет все новые, лучшие решения, а руки всегда готовы выполнять его приказы. Только поэтому мир непрерывно обновляется.

Разумеется, при такой перестройке не обойтись без конфликтов. Все уже существующее встречает в штыки то, что еще только приходит.

Конфликты начинаются с детства. Помню, как было со мной...

...Неподалеку от Карейвишкяй красовалось во всем своем великолепии поместье богатого барона. Деревня наша казалась серым воробушком рядом с пышной павою. У меня под окошком — лопух да крапива. А в имении, я слышал, розы южные расцветают. И захогелось как-то раз хоть в щелку полюбоваться на такую несказанную красоту (с детства розы влекли меня больше, чем лопухи, хотя, признаться, все на свете относительно). Но меня ухватили за шиворот, стащили с забора, поддали палкой по мягкому месту да еще прикрикнули:

— Куда лезешь, пашенок? Тебе тут не место...

— Ну и подавитесь вы вашим богатством! — гордо отрезал я, глотая слезы обиды и в бешенстве топая ногами. — У меня и своего хватит!

И побежал на Круою ловить серебристую уклейку и лакомиться кислой ежевикой.

(Те слезы с малых лет сроднили меня с Лигвой-труженицей. Полюбил я ее тяжело, мучительно. И по сей день это самая сильная и постоянная моя любовь.)

...Подпояшет отец конопляным вервием русскую шинель, что еще с войны принес, и плетется в лаптях по грязи за несколько километров. На баронскую мельницу. А иногда и меня с собой прихватит. Сестренка гусей пасет в соседнем селе. Меня одного дома оставлять бояться. Матери что-нибудь надо в местечке, вот и бредем втроем — отец, она и я.

Вихрем промчится роскошный баронский фазтон. Рядом с ним мы будто серые комки земли.

Только начнутся помещицы поля — нас первым делом встречает распятие, словно человек, в безнадежном горе разметающий руки. Мать украдкой от отца оправит косынку, перекрестится. А отец — тот чего-то насупится, совсем в другую сторону глядит. И не пойму: мать вро-



де побаивается распятия, отец на него будто сердится. Не сразу в этом разберешься!

Отец мой из Западной Литвы, его родитель Юргис был сельским столяром — «богорезом», — из дерева святых вырезал, вытесывал. От него отец унаследовал трудолюбие и твердость, здравый ум, трезвый подход к жизни. Он всегда чем-то напоминал мне героев «Времен года»<sup>1</sup>.

А мать, родом из Восточной Литвы, тихая, мечтательная, мягкая, с сердцем певучим, как «Аникщайский бор»<sup>2</sup>. Принесла она в приданое целый сундук песен, сказок, преданий.

Ни ее, ни его жизнь не баловала, но каждый из них по-своему направлял мои первые шаги. Ласковая, очень набожная, мать обучала меня кое-что по-хорошему вымаливать у бога («...хлеб наш насущный даждь нам...»), прививала терпимость, покорность, покладистость. А отец, бывало, сурово глянет на меня, подкрутит желтый овсяный ус и усмехнется, — учит меня непримиримости («...ни бог, ни царь и не герой...» — он уже знал этот гимн!).

А мне невдомек, что означает его улыбка! Хлеба дома никогда не хватало, хотя на мельнице, где отец работал, много через его руки проходило муки. Почему же не попросить хлебца у боженки! И потянул через мое сердце сквозняк двух противоречивых чувств — любви и ненависти.

Немало лет спустя я написал:

Тут же — к поэту ступень:

Тут проходят

друг через друга

Ненависть и любовь.

Здесь был пень,

А с него вся видна округа!

Пасу я, бывало, чужих гусей возле этого самого пня и, обожженный солнцем и ветром, залезаю на него, будто на пьедестал, и лихо выкрикиваю свои чувства полям, лесам, ветрам. Ох, уж эти мне пни-пьедесталы! Об один из них я совсем малышом расшибся. И обзавелся первым шрамом.

<sup>1</sup> Поэма основоположника литовской литературы Кристионаса Донелайтиса (1714—1780).

<sup>2</sup> Поэма известного литовского поэта Антанаса Баранускаса (1835—1902)

А случилось это так...

Приятно, весело у отца на мельнице. Мерно шумят, гудят жернова, сказывая длинную-длинную каменную сказку. Кругом множество народа — из всех окрестных деревень. Лошади фыркают. Люди, перемазанные мукой, тащат мешки. А потом запивают помол добрым домашним ячменным пивом. Окунают бурые щетки усов в белую пену. И рассуждают про житье-бытье. Иногда какой-нибудь дядька сунет тебе в ладошку леденец, на коня подсадит — покатайся, мол.

Вот и в тот раз разошлись мужички, подхватили меня под руки, как галчонка, и взгромодили на лошадь. Это было первое неудачное начинание в моей жизни: я свалился и ударился о пень. И впервые тогда проливал горестные слезы, смешанные с кровью сердца, и от всей души возненавидел нечто неощутимое, неуловимое, но все-таки существующее. Значительно позже узнал я имя незримого, бестелесного призрака — жестокость! Никогда заранее не угадать, где ты с ней столкнешься. И потому кажется, будто ее страшно много, будто она заполнила все пространство, оставляя очень мало места для добра и света.

Течет по моему лицу кровь вперемешку со слезами. А крепко подвыпившим мужикам — потеха. Мальчонка сверзился с жеребца и за пенек зацепился. Эка невидаль! Пусть привыкает...

— Га-га-га! — так и рвалось из разинутых зевов неудержимое гоготанье...

...Кругом одни распахнутые щели ртов... словно весь воздух содрогается от гогота.

— Га-га-га...

...И мне стало страшно...

И пришлось привыкать.

В первый, но отнюдь не в последний раз я расшибся о препятствие, которого могло бы и не быть. Потом уже закалился и привык. Остались, правда, заметные следы на лице и в сердце. Но это пустяки, главное — не унывать! Раны рубцуются и заживают, словно зарубки на дереве.

...И снова ходили мы с отцом на мельницу.

Посасывая трубки, люди толкуют с ним о житебыть, как с человеком бывалым: отец уж и пороха понюхал, и к залпам революции прислушивался. Не по душе пришлись эти разговоры хозяину. Зовет он раз к себе отца.

— Ты, я слышал, умник-разумник... На что жерновам твой разум? Подыщи-ка себе собеседничков получше!

...Больше на мельницу ходить не довелось.

Отец ушел от нас в город. Мать нанялась в поместье огороды полоть. А меня увела сестренка Мария — я помогал ей пасти гусей.

Теперь земля круглая, шаровидная. А прежде была она для меня плоской, как блин, как огромная заплата. Но и тогда выглядела очень таинственно из-за обилия лугов, деревьев, зверей и птиц. И понадобилось несколько лет, чтобы освоиться с плоским зеленым материком.

Здесь, на берегу Круои, впервые услышал я соловья и долго с ним не расставался. Тут подружился с белоствольной березой, с пестрым миром птиц, зверьков, рыб, насекомых.

Здесь же осознал я, что человек на свете не одинок. Вся природа, взятая вместе, — земля, солнце, луна, деревья, птицы и зверьки — его добрые друзья. Не надо их обижать: они помогают человеку удобнее устроиться, лучше жить на земле.

И дерево — живое, как и я: из его раны так же сочится прозрачная кровь, как и из моего порезанного пальца — красная. И нельзя разорять птичьи гнезда, потому что жизнь, как ястреб, безжалостно раскидала наше собственное гнездо, а меня, еще не оперившегося птенца, вышвырнула на осеннюю непогоду, в зимнюю стужу.

Вместе с черной коркой хлеба, вместе с ягодами и сладкими корешками проникала в мои жилы земля — ласковая, мягкая, теплая, дымящаяся паром. И не кровь текла по жилам моим, а соки берез и хлебов, соловьиные песни — сама земля-кормилица. Святое чувство близости к природе — по Баранаускасу, по-есенински («...и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове...») — расцветило потом мои первые строки.

Мне хотелось как можно шире охватить взглядом этот непонятный мир, в котором человек не смеет быть

эгоистом. Он не один на планете и, подчиняя себе природу, приспособлявая ее для своих нужд, обязан подумать и об окружающих зеленых рощах, синих реках и солнечных озерах, о мире друзей своих — пестрых птиц, зверьков и животных.

Но самое главное, конечно, — земля. Шар ее, как хлебный мякиш, окружен плодородной коркой, благодаря которой мы и существуем. У земли тоже есть свое бытие, и человек должен наладить его так заботливо, чтобы планета в радости рождала и отдавала плоды своей любви. Урожай земли — ее материнское счастье. Но порой люди забывают о сыновнем долге, и тогда скорбен лик земной, убоги плоды — добрая земля не светится материнской улыбкой...

...Белый квадрат окошка разрисован причудливыми цветами, белыми пальмовыми листьями. Посредине теплым дыханием растоплена округлая польнька. К ней, как к овалу, приплюснуты русский чубик, маленький лоб, нос, губы, а главное, два большущих синих глаза. Это я.

Снегу намело до самого подоконника. Из сугробов торчат будылья лопуха и прутики смородины и крыжовника. Около них — стайка снегирей. Они теперь что ни день прилетают. Одолели их холод и голод, вот и летят птички издалека, из леса, что чернеет там, за рекой.

А снегيري-то! Это вовсе не птицы. Скорее, это горят красные огоньки на белом снегу. Упрямые огоньки-непоседы. Ветер метет-дует, но никак их не погасит. Снег сверху валится и валится. А они пробиваются сквозь снежный полог и рдеют-пылают, эти снегيري...

В голубой проруби белого квадрата два широко раскрытых глаза греются в отблесках рдяных огоньков.

— Господи, где же отец? — причитает мать. — Второй день его нету... Беда, что ли, какая стряслась? Или запил?..

Второй день, прильнув к окну, жду отца. Но он не идет. Мать плачет. А я — нет. Больше думаю о снегирях...

...Только мы уже не в деревне. Мы теперь городские. Отец бросил мельницу, уехал в Каунас, а через год и

нас забрал. Поселились мы на рабочей окраине. Улицы здесь совсем немощеные. Летом пыль столбом. Весной и осенью непролазная грязь. А зимой земля промерзает. Улицы тут диковинные — то сутулятся горбом, а то западают, как живот с голодухи. Малышей видимо-невидимо. Чуть потеплеет — все босиком, с посиневшими ногами, с всклокоченными волосами, в выбившихся рубашонках. А глотки горластые! До позднего вечера в воздухе пчелиным роем висит туча пыли и веселый ребячий галдеж. Вплетаются в него собачий лай, кошачье мяуканье, воронье карканье, чириканье воробьев и торжественное воркованье голубей. Ничего, жить — с грехом пополам — можно.

Особенно густеет этот роистый клуб пыли и гомона, когда послышится:

— Купить стары вещи! Стары вещи! У кого кости, бутылки, шелк и парча с бабьего плеча, чугуны всех пород от райских ворот, куски меди рыжей, что делана в Париже?

Кляча впряжена в телегу, едет на ней бородатый человек и очищает улицу от старого хлама, от мусора, от всего лишнего. Ребятам по душе этот веселый остряк-зубоскал. Воришкуогреет кнутом по спине. А притащит ему на телегу чего-нибудь малыш — бородач сунет ему в ладошку центик-другой:

— На тебе грошик покормить кошек. Жирного воробья котенку, сладкого леденца ребенку. Есть у тебя котенок?

— Есть...

— Вот и сделай все, как я сказал, и получится здорово.

— Да воробушков не продают...

— Как это не продают? На голоштаньей толкучке я сам покупал и едал: воробья вареного, жареного, фаршированного, а-ля фри-маринированного... А ты: «не продают». Поезжай и получишь...

— Хи-хи-хи! — покатывается обступившая его мелюзга, выставив караван вздутых животиков с будто вытисненными пупками.

С ним не поспоришь. Он сам горемычный бедолага, видно, всю жизнь мечтает отведать своего «а-ля фри-маринированного», да не доводится...

Уж будет ли, не будет воробушек для кога (сам пусть ловит — не велик барин!), а сладких леденцов —

целая пригоршня! Пососешь конфетку, и сердце умягчится — вспомнишь и про котопеица. Хочется побаловать усатого: ухватит убогий мурлыка с обеденного стола селедочную головку, вот и вся его радость.

Научились мы на воробьев охотиться. Сложишь треугольником три кирпича, четвертый сверху, посыплешь зернышек — воробей прилетит поклевать. Сядет на лучинку, верхний кирпич — хлоп, его и притиснет — есть для кота жаркое!

Отец работал слесарем на заводе металлических изделий. Утром наперегонки заревут несколько фабричных гудков и будят всю окраину. По песчаным ухабистым проулкам бредут кучками в цехи, перебрасываются словами рабочие. А на обратном пути заглядывают в единственный замызганный, смердящий кислятиной трактир. Поставят на стол полбутылки водки да с лучком хвост селедки, наслушаются болтовни гармошки, потолкуют о том, что за день случилось, и, шатаясь, поплетутся по домам. И костел здесь есть — прямо напротив кабака. Вот и все развлечения.

Раз отец повел меня на завод. Зашли мы в холодное цементное помещение, загроможденное металлическим ломом. Надвинул отец на глаза огромные синие очки, подошел к баллону с кислородом и открутил ручку. Потом взял сварочный аппарат с длинной резиновой кишкой. Из щелки в аппарате выскочило маленькое синее пламя, будто сказочная жар-птица с пышным хвостом, и давай злобно бить крылышками по желтому пруту. Было, хлестало, пока прут не обмяк, не оплыл и капельки — цок, цок, цок — не закапали на дырявый цилиндр от какой-то машины. Мне очень понравился длинный синий хвост жар-птицы. А сама птица была накрепко зажата в жесткой ладони отца.

— Вот так, сынок, — молвил отец, снова сдвигая на лоб синие очки.

Птица-длинношейка втянула в себя синий хвост. На цилиндре больше не видно было дыр. Он уже напоминал мамин пирог со змеистым ободком из желтой поливы.

Отец вытер взмокший лоб. Мне вдруг стало его очень жалко. За этот год он высох у меня на глазах — все грустнел и грустнел. Конечно, невесело человеку, если всю

жизнь только и дум, что о куске хлеба насущного. Уходит отец на завод очень рано, едва заводские трубы взорвут гудками утреннюю тишь. А возвращается в темноте — изможденный, весь в копоти, сердитый, неразговорчивый, с печальными, запавшими глазами.

Случается, воротится «с запашком». Тогда либо ссорится с мамой, ищет, на ком бы злость сорвать, либо крепко прижмет меня к широкой рабочей груди, что-то объясняет, рассказывает — хочется ведь излить переполняющую сердце печаль.

Я ладошкой смахиваю с его щек слезы — светлые, как капли водки, — они все глубже прорывают на лице отца забытые фабричной копотью морщины.

— ...Где ж это он, господи боже мой? — убивается мать.

Уже третий день подряд льнет к светлому оттаявшему кружку в квадрате окна пара ребячьих глаз. Глядят они на улицу и ждут. А отец все не возвращается. На белом снегу полыхают алые огоньки снегирей. Глаза слипаются, слипаются. А отца все нет...

...Вдруг всполошилась, зашумела наша глухая улица, что прямо с пригорка срывается в реку. Что случилось? Кому поперек встала эта забытая улочка на окраине?

...Топот ног... Выстрелы... Топот ног... Алые огоньки на снегу мечутся, будто подхваченные ветром, мечутся и гаснут, красные уголечки на белом снегу блекнут... меркнут... и совсем исчезают...

...Гулкий взрыв... Чечетка пулеметов... там, где казармы... Топот шагов... Топот... ближе... ближе...

— А-а-а... у-у-у... тра-та-та...<sup>1</sup>

...Сквозь колья в заборе вижу на улице голенища солдатских сапог, зеленоватые шинели, схваченные ремня-

---

<sup>1</sup> В декабре 1926 года в Литве произошел фашистский переворот. Захватившие власть реакционеры разогнали сейм и расстреляли вождей литовского пролетариата — героических коммунистов, среди которых был и Каролис Пожела.

ми... и больше ничего... Только множество солдатских голенищ мельтешит перед глазами, стекая туда, к реке... и сплошной страшный гул толпы волной заливают весь мой мир.

— А-а-а... у-у-у...

Раздирающий вопль... голенища... зеленоватые шинели...

— Тррр... трррр...— так и сыплет пулемет...

— Господи! — крестится мать у окошка.

...И вдруг следом за бегущими голенищами и зеленоватыми шинелями горной лавиной обрушиваются всадники...

Утонувшая в синей полынье белого квадрата пара детских глаз от ужаса расширяется, расширяется...

— Ма-ма!..

...Три всадника... На дыбы вздымаются три взмыленных коня, три зеленоватые шинели, три вскинутые руки, в руках, словно три злых солнца, вспыхивают три сабли...

— Ма-ма... рубят...

Крестится дрожащая материнская рука.

— Где же... это... отец...

...Три всадника, занеся в руках три луча, втиснулись в зрачки широко раскрытых от испуга глаз... Три всадника, отпечатавшиеся в зрачках, как на апокалиптическом полотне Беклина, которое довелось мне увидеть значительно позже. Тогда впервые предстали передо мной те три всадника...

Неделю спустя у дверей кто-то затоптал — стряхивал снег с сапог... постучался...

— Кто? — пугливо спросила мать.

— Я,— отвечал густой голос.

Вошел отец. Мы увидели синяки на его лице. Мать с плачем упала ему на грудь, я сунул всклокоченную головенку отцу под мышку.



— Ну что же,— прихлебывая суп, рассказывал он матери,— загнали рабочих со всего завода в гараж... заперли... не выпускают... потом — на допрос...

— Били?

— Мы требовали, чтобы нас отпустили... Пошли бы сейм защищать... А те нагрянули с солдатами, сейм разогнали... Переворот... Говорят: расстрелян Каролис Пожела и другие тоже... Теперь уж хлебнем горя! А не припрятано ли у тебя где на корнях настоящей? В желудке колотье...

...Белый квадрат окна... синяя прорубь... в проруби плавают два синих глаза, как бумажные кораблики...

...А на белом снегу опять зажигаются рдяные огоньки снегирей...

## ДЕТСКИЕ РИСУНКИ

Тетради старой лист графлены<sup>1</sup>  
Мир атома не расщепленный  
На части — на добро и зло.  
Начало мироощущений —  
Икара юного крыло.  
Наивный Зинараса<sup>1</sup> гений.

## ПЕРВЫЙ АВТОПОРТРЕТ

Я —  
Человек.

Хоть мал еще и млад,  
Но собственное место  
В мире этом  
Уже имею.  
Невелик мой вклад —  
Тружусь пока что над автопортретом.  
Меня уже заботит естество —  
Познать себя...  
Беру тетрадь в косую  
Линейку —  
И бесхитростно рисую  
Эскиз автопортрета своего.

1

Еще не знаю,  
Что земля кругла,  
Что шар земной,  
Конечно же, не плосок,

---

<sup>1</sup> Юозас Зинарас (1881—1944)—известный литовский скульптор.

И потому  
 В начальный мой набросок  
 Ошибка беспрепятственно вошла.  
 Вошла, проникла, вторглась, помешала —  
 И голова,  
 Как требует закон,  
 Не стала двойником  
 Земного шара,  
 А сделалась бутылкой с молоком.  
 Вот ухо, но...  
 Не нахожу второго...  
 Зеленые глаза, как у кота.  
 Прямой чертой изображен сурово  
 Мой нос.  
 А вот еще одна черта  
 Мой рот, как нос,  
 Но по горизонтали,  
 Еще не улыбается  
 Пока.  
 Не улыбайтесь,  
 Это лишь детали,  
 И потому беда не велика.  
 Не обошлось, конечно, без промашек:  
 Но где же зубы!  
 Их всего лишь два...  
 И наподобье пушкинских кудряшек  
 По темени шерстится голова.

## 2

И эта голова  
 Неловко села  
 На треугольник,  
 Характерный для  
 Концепции моей о формах тела.  
 (Быть может, это парус корабля!)

## 3

Рука.  
 Рука.

Не научился  
 До пяти считать,

И вот ошибка явная  
 Опять —  
 На правой —  
 Пальцев у меня четыре,  
 На левой — три.  
 Но чтобы мир создать  
 И утвердиться прочно в этом мире,  
 Пять пальцев надо человеку.  
 Пять.

4

Нога.  
 Нога.  
 В итоге две ноги —  
 Две тонких щепки  
 Под чертой в итоге.  
 Обуть в ботинки или в сапоги  
 Пока еще нельзя такие ноги. ^

А мне-то что за дело!  
 Лишь бы смог  
 Встать на ноги —  
 И пусть себе вертится  
 Зелено-желто-голубой клубок  
 С наклонной осью, тонкой, точно спица.

Ну так вставай же на ноги!  
 Ты прав...  
 Встать на ноги необходимо.  
 Ибо,  
 Усиьем духа на ноги не встав,  
 Людьями назваться люди не смогли бы.

На пару щепок встав не ради блажи,  
 Обрел я человеческую стать.  
 Пусть я на щепках,  
 Но собаке даже  
 Меня теперь, наверно, не поймать.

5

Автопортрет мой первый завершен...  
 Смешон ли!  
 Ну конечно же, смешон.





Солнце проснулось,  
на землю взглянуло  
и, словно луна.

ушло на дно.

Да разве же это уже Луна!  
Скорее — это лицо отцово,  
с работы пришедшего ночью...  
Не трудно добиться

единства живого,

и рисунок будет  
не очень  
неточен.

Мерцает в небе печально-пугливо  
синяя птица моя.

3

Звезда.

Еще не звезда,

а, по правде сказать,

овал лица,

голубые глаза.

Брови-дуги,

ветки-ресницы

над двумя родниками

спешат склониться.

Сердечко губ,

где может гнездиться

песня —

весьма печальная птица.

Золотая коса —

разметанный, длинный

шелк, подметающий пыль долины.

Фатою пестрой —

краски рассвета,

закатные краски —

гаснет комета.

Разве это уже звезда!

Скорее это сестра,  
что после уроков мечтает минутою.  
Я, как Руссо, —  
наивность стара, —  
два очень близких понятия путаю.

Я фамильярничаю с мирозданьем:  
 мать — это солнце с семейным сияньем,  
 отец — луна,  
 а моя сестрица —  
 звезда моя...  
 — В чем же все-таки суть!.. —

Вот к истине путь  
 сквозь роды, сквозь семьи:  
 солнце — оно кормилица,  
 мать земли, кормящая землю,  
 месяц — отец, звезда — сестра,  
 у каждого норы, у каждого нрав...  
 Таким образом, я — прав.

## ФАУНА И ФЛОРА. ЭСКИЗЫ

### ЕЛЬ

Она:  
 треугольник,  
 и:  
 еще треугольник,  
 и  
 треугольник побольше, и  
 треугольник совсем огромный,  
 да: еще:  
 подпереть  
 ногой их —  
 встанет: ель:  
 в ее шубке темной.

А под елью — зеленый мох, зеленый дымок, кудри лешего, леса простая одежда... А под ней — муравей в мураве, голубая звезда сыроежки... Мох, зеленый и глубокий, как Неман, топкий мох, над которым висит пирамидой, как подвешенная Семирамидой, ель...



**БЕЛКА**

С елки

на елку

быстрая

белка

скачет

и тащит

хвост,

как комета,

такой

длинный,

длинный

и золотистый,

словно невеста,—

шлейф из шуршащего шелка...

**ДЯТЕЛ**

Тук-тук (гвозди), тук-тук...

Тук-тук (дятел), тук-тук...

Тук-тук (забывает), тук-тук...

Тук-тук (на хлеб), тук-тук...

Тук-тук (детям), тук-тук...

Тук-тук (собирает), тук-тук...

**РУЧЕЙ**

Вдоль поля,

у самого поля,

по краю,

плывет,

приплывая

и проплывая,

ребенок,

ужонок

без рук и ножек,

ручьешко,

ру-чей,

ру-че-ек,

ру-че-е-нок:

в серебринках воды — чаще тины, где за дверью ее плотины, в каменном замке без калитки по-королевски живется улитке: она не считает ни минут, ни часов, целыми днями ловит слухи антенной усов; а мимо плывут корабли из колючек, лайнеры щук и лодочки

щучек, а в лесу камышей вертолет-стрекоза на зеленую воду зеленые пялит глаза, на зеленую рампу листа вышла белая лилия — прима балета, дирижером — лягушка, вход без билета, а омут играет на патефонной пластинке, она вертится маленьким солнцем, и в музыке нет ни грустинки, ручеек — это ключ музыкальный, вальс, забивший ключом, и ручей тут уже ни при чем:

ручьишко,

ручей,

ручеечек,

речонка

здесь вьется, как магнитофонная пленка,

и ноги обвиты,

и руки обвиты,

и музыкой,

будто водою,

омыты.

И лучшие штраусы —

дивные вальсы —

бегут по воде,

как по клавишам — пальцы,

лучами,

кругами,

крутыми витками...

Я мог бы их слушать веками,

веками.

**КОЛОС**

Золотой колючий колос

со ржаной полосы —

у отца такой же волос

и такие усы.

Колосок рукой побрею —

и себе

усы приклею.

Выйду в поле, как отец, — до росы.

Треплет ветер

колосинки-усы.

Как отец, возьмусь за дело,

чтобы все в руках горело,

чтоб — ни ночи, ни дня...

Назовите-ка

безусым

меня!

## МЕЛЬНИЦА

...КРЫЛО            КРЫЛО —

И

...КРЫЛО            КРЫЛО —

и тело,

и дело

идет:

мука

мелется;

как ворон,

крылом

машет мельница.

Вцепившись в полу ветра,

крыло взлетает в небо,

протыкает тучи,

режет облака,

вонзается.

в солнце,

как в буханку хлеба,

и сыплется

белая

как снег

мука...

## КОНЦЕРТ

Микрофон подсолнуха

аист

клювом

пробует.

Выступление сольное.

Тенор

голос

пробует.

Выучка немалая.

Эlegantна пауза.

Что за прелесть

Ария,

Ария Фауста.

Голос певца крепнет, растет, как волна в бурю, он пере-  
катывается по бегущей траве зеленого луга, по дрожа-  
щим цветам. Первыми просыпаются лягушки. Им очень

нравится слушать радио, они влюблены в тенора, они плачут...

**Наслажденье  
Острое,  
Выступленье сольное,  
Как рапира  
Острая,  
Клюв дрожит в подсолнухе.**

#### **ТЕРМОМЕТР**

**Кто был в лесу,  
Тому знаком  
Тот стебель  
С чутким хохолком.  
Едва суровые ветра  
Застонут вдалеке —  
Живая капля серебра  
Сверкнет на хохолке.  
Волнуется  
Природа,  
Меняется  
Погода...**

#### **ПЕВЧИЙ**

**Кур петух не разбудил,<sup>^</sup>  
По дворам петух ходил,  
Не зерно петух,  
А ноту  
По ошибке проглотил.  
Нота первая груба —  
Голос громок, как труба!  
Вот он ходит поутру,  
Как по сцене, по двору,  
Гребешок дрожит-веселый,  
Как флажок на ветру!  
Кур  
          большой оркестр  
  встает,  
Дирижер им знак дает.  
Докрасна оркестр надулся,  
Только что-то не поет!**

На оркестр  
Сердит петух,  
Ку-ка-ре-ку!  
Что за слух!  
Проглотил, наверно, ноту  
По ошибке  
Я, петух!

### ОХОТНИК

На цыпочки  
Молча  
Антенна привстала,  
Все слышат усы —  
Волоски из металла.  
Две желтые лампы  
Все ближе...  
И вот...  
Внимание, мыши!  
Кот...

### СОВЕЩАНИЕ

Весной иногда и такое бывает:  
Скворец  
на скворечник  
скворцов созывает.  
Скворец на трибуну  
взберется  
чуть свет.  
По саду несется:  
— Пора на совет! —  
Средь зелени мартовской  
птиц верещанье.  
Жуки  
собираются  
на совещанье.  
И ласточки выются среди толчеи,  
Оставив над окнами гнезда свои.  
У жаворонков  
дела тоже по горло,  
Они завертелись, как плотников сверла!  
И голубю скучно сидеть наверху —  
Летит на совет он, оставив стреху.





— А это!  
   — Ясень.  
   — Почему же на ясене  
 глаза и губы!  
   — Ясень так хочет.  
 — А это что!  
   — Галка.  
   — А почему же, не ясно,  
 готовится к танцу!  
   — Галка так хочет.  
 — А тут!  
   — Это мы.  
   — Почему же мы тут:  
 пруд и два лебедя!  
   — А им-то и хочется,  
 чтоб так вот было...  
   — Два лебедя, пруд  
 так хотят,  
   и тебе так хочется.  
 — Нравится!  
   — Как ты сумел написать  
 улицу эту!  
   — Так улица хочет.  
 Хочешь иметь ты  
   этот пейзаж!  
 Тебе я дарю его. Хочешь!  
   — Очень!

## ВЕСЕЛЫЕ ИГРЫ

### СНЕЖНАЯ БАБА

Зима.  
 Как снежно, бело, чисто.  
 Я сам  
 и санки —  
 всё в снегу.

Не надо этому учиться —  
 леплю из снега, как могу.

Сажая голову на плечи —  
 большой и белый снежный ком.



Два глаза — угольки из печи,  
 и нос-морковка бугорком.  
 Горшку стать шляпою не трудно,  
 две щетки будут бородой,  
 да в ледяные зубы — трубку,  
 Кури, старинушка седой!

Ну вот и все.  
 Слегка приглажу  
 и руки чуть приподниму  
 и, может быть, еще прилажу  
 метлу с лопатою ему.  
 Готов старик.  
 Вот будет смеху!  
 Метет, по скверу семеня.  
 Я вылепил его из снега,  
 и он — подобие меня.

Но разве это человек!  
 Не поднимает снежных век.  
 Не шевелит руками.  
 Не двигает ногами.  
 И тут не жди ни слов, ни слез...  
 Застыл. Зацепенел. Замерз.  
 Рукою не коснется...  
 Вовеки не проснется.

Но почему! А неспроста.  
 Ведь голова его пуста,  
 как у мыслителей иных:  
 глядишь, все вроде есть у них,  
 да не хватает пустяков —  
 мозгов.

### ДЕРЕВЯННЫЙ КОНЬ

Ничего я не знаю еще  
 про Пегаса.  
 Рядом с ним  
 деревянный конек мой не пасся.  
 Оседлав деревянного —  
 так я хочу —  
 на своих на двоих  
 (как всегда!)  
 я скачу.



Ах, если только будет дан приказ,  
нырнет он в речку и пойдет ко дну!

— Раз, два...

— Раз, два...

— Командир наш —

голова...

— Раз, два...—

Да, раз и два, и больше ничего  
не знает оловянный наш герой.  
Но сердце оловянное его  
с другим свинцом встречается порой.

— Раз, два...

— Раз, два...

— Пулей в грудь! —

И все слова...

— Раз, два...—

И рухнет оловянный на траву  
и больше не поднимет головы,  
на землю, доверявшую ему  
защиту этой ласковой травы.

— Раз, два...

— Раз, два...

— Командир наш —

голова...

— Раз, два...

## ЗМЕЙ

Небо весеннее, полное света,  
небо

большое, как сердце поэта.

Змей мой бумажный взлетает с травы,  
ах, как он рвется в страну синевы,  
ввысь,

где лучится рассветно и ярко,  
соткана солнцем

веселая арка —

там голубиная стая вольна,  
к людям оттуда слетает весна.

Змей, мы апрелю тебя подарили!  
(Мы его вместе с сестрой смастерили.)

Ну-ка наддай, ни минуты не жди,  
голубем

в руки весны угоди!

**Змей наш ликует, не знает покоя.**

**В недоуменье весна:**

**«Что такое!**

**Кто там достиг моего потолка,**

**птиц распугал, залетел в облака!»**

**Смотрит на змея весна,**

**негодует,**

**ветром на гостя незваного дует,**

**крутит и вертит — куда, мол, куда...**

**Точка конечная змея —**

**звезда!**

**Змей белокрылый за облаком тает,**

**в небо меня как соломинку тянет,**

**тащит, веревку отчаянно рвет,**

**к птицам, к звезде за собою зовет...**

**Разве, мальчишка, я птице не пара!!**

**Мчусь я**

**в страну голубую**

**Икара,**

**небо манит меня, ветром дыша,**

**синее, словно поэта душа.**

(...Эти три всадника напугали меня до смерти. Закачалась под ногами земля. Но великая Природа существует силой равновесия. Всякому лиходею должен давать отпор восставший против него добрый всадник. Стал я чутьем искать: Добра, Правды и Красоты. Три против трех. Недаром говорится, что золото и в золе блестит. Так оно и произошло. Непроглядную тьму окраины озаряли всполохи, указывая, в какую сторону идти. Итак, теперь несколько слов о трех добрых...)

...Сбежав вниз, туда, где вдруг обрывается наша улочка и начинается река, первым делом вижу спину, сгорбленную, округлую, словно каравай хлеба, клок седых волос и старую черную шляпу — ее бы лучше на огород, воробьев пугать. А рядом на берегу воткнутая рогулька, удерживающая заброшенную в омут удочку.

— Дядя Шимас! — кричу, срываясь с косогора.

Голова, посаженная прямо на спину-каравай, медленно оборачивается. Вылезает седая козлиная бороденка и коротенькая трубка-носогрейка.

— Ну, здорово, — шевелится бородка.

— Здравствуй, дядя... А знаешь, что я принес?

Прутья железные. Отца попросил — он на заводе сделал. Теперь и самый большущий сом не сорвется.

Старичок берет прутья, гнет их и скупо цедит сквозь седые усы:

— Хорошо. А еще что притащил?

— Набрал мешок костей и выменял на крючки. Целый спичечный коробок крючков...

Старичок сует синеватый, задранный маленький нос к коробку. Достает один-два крючка и острием проводит по задубевшей, потрескавшейся ладони.

— Пригодятся,— объявляет он.

— А чего я еще припас... Табаку! Отец тебе посылает.

Отец, конечно, ничего ему не посылал. Это я сам придумал. Отсыпал в мешочек пригоршню-другую отцовского табаку и принес своему старшему другу.

— За табачок спасибо.

Старик принимает.

— Месаксуди... Турецкий... Кхе-кхе...

— Наловил чего? — спрашиваю я.

— Наловил...

В плетенке, погруженной в воду и притиснутой камнем, быют хвостами крупный окунь, голавль, несколько плотвичек.

— Слабовато, но ночью будет клевать,— оправдывается старичок.

— Ночью с плотов закину две удочки на рыба,— говорю я.— А теперь одолжи мне лодку, поплыву на Есю за свинцом.

— Бери!

Бегу к плотам. С края на цепи старикова лодка. У старого Шимаса, говорят, и вовсе дома нету. С юных лет, сколько люди помнят, все на том же месте и рыбу удит, и спит, и ест. На плоту соломенный шалаш. Тут ватная подстилка, деревянный ящик для пожитков и для харчей, закопченные чугуны и чайники. Всю свою жизнь этот чудака в сторожах: встречает огромные вереницы плотов, подсчитывает каждое бревно, а потом жалостливо провожает его глазами на лесопилку, которая тут же, на берегу. День-деньской трудятся железные зубья, разгрызая белую пахучую древесину. День-деньской назойливо визжит жадная, ненасытная пила...

Отцепляю осмоленную лодочку дяди Шимаса,

вставляю весла в уключины, разбрызгивая воду, гребу на ту сторону. Нет ничего приятнее гребли. Чувствуешь себя крепышом: нужны силенки, чтобы померяться с мощным течением Немана. А для мальчишки нет ничего желаннее тех минут, когда он чувствует себя настоящим мужчиной. Кроме того, можно дать волю фантазии: реку превратить в океан, лодку — в трансатлантическое судно, себя самого — в капитана или пирата давних времен...

Догребаю до другого берега. Первым делом залезу на гору Наполеона, потому что там теперь, наверное, все приятели с нашей улицы ягоды собирают. Стремглав, как ласка, бросаюсь вверх.

Наполеонова гора названа потому, что на ней стоял французский император, когда его армия переправлялась через Неман. И сама гора ни дать ни взять — императорская треуголка.

Мне лестно, конечно, постоять на вершине, откуда завоеватель наблюдал за своими полками, и изображать самого Наполеона: выпятишь брюшко, раскорячишь короткие ноги и сквозь сложенную трубочкой ладонь поглядываешь на раскинувшуюся речную гладь.

Но, откровенно говоря, не очень-то восхищают меня надутые спесивцы, увешанные звездами. Я вполне согласен с мнением отца.

— Уж эти звездастые цари, князья и фельдмаршалы! Отцепи ихние звезды — увидишь, что за ними кроется.

— А что там кроется, пап?

— Что, что... Реки крови — вот что!

Реки крови — это и в самом деле страшно. Кровавых рек — больших, как Неман, — я не видал. Зато видывал ручьи и лужи крови. Скажем, колет сосед поросенка. Наточит длинный нож, ласково погладит, перевернет на спину им же вспоенного, вскормленного питомца и погрузит нож в его шею по самую рукоять. Кровь сразу живым фонтаном брызнет, побежит по канавкам, прячется от глаз людских, впитывается поглубже в землю, чтоб ее не поймали... Но раз видел я, как кровь хлынула из человеческого тела. На нашей улице пьяный сапожник пырнул ножом в бок какого-то прохожего. Все ребятишки прибежали поглядеть. Человек лежал на земле, а кровь текла ручьем, и все пряталась от наших глаз.

Вот бы подирать со всех шарей и фельдмаршалов сверкающие золотые ордена! Раз они пристегнуты к груди, значит, под ними дырочки. Прильнуть к такой дырочке и поглядеть на эти кровавые реки.

Подумаешь, Наполеон! Мне, например, куда больше нравится Гаврош. Веселый, добрый, жаль, в бою погиб. А других убивать и еще навешивать на себя золотые звезды? Нет, правильно говорит отец: брюхачи — лиходеи!

На горе приятелей не нахожу — все, наверно, у реки, на полигоне. Щипнув ягодку-другую, опрометью пускаюсь к лесу. В самом бору в одном месте земля раскалывается пополам. И ниспадает обрывом — высоким, метров на сто. Внизу сквозь ольшаник приветливо просвечивает золотое ложе Еси. Там устроено стрельбище. Солдаты ложатся с винтовками и палят по обрыву, ну, понятно, и по мишеням. Пока стреляют, нам туда, конечно, ходу нет. А как кончат, мы, полуголые, утыканные перьями, индейцы вождя Виннетоу, с косогора — кувырком вниз! Кто скорее скатится, тот наберет больше пуль. А пули нам очень нужны. Ведь это свинец! А мы все рыболовы. Весной из Куршского залива к верховьям Немана поднимаются целые сонмища рыба. Мы их ловим на донки. А для них нужны хорошие грузила. Плавим на костре свинец и в формочках, выдавленных в песке, отливаем множество красивых заостренных, круглых, четырехгранных грузил.

А свинца солдаты оставляют немало. Стреляют с утра до вечера. Отцу не нравится, что я туда хожу.

— Пойми, как пуля вылетит из дула, так и летает по белу свету и ищет свою жертву, пока не найдет, — говорит он. — Я и сам в солдатах был. Пуля назойлива, как комар. Лучше бы этого комара прихлопнуть. Да, вишь, не унимается, жужжит над ухом, хоть ты что... Все равно когда-нибудь жертву свою выжужжит, вопьется в тело и всю кровь высосет...

Меня интересовала не пуля, а хорошие грузила для удочек. А кроме того, тот чудесный лес. Весной синеют фиалки. Луг усеян курослепом → будто желтым маслом вымазан. Летом сюда, как мух на мед, тянут нас кумачовые пятнышки земляники. А какое множество в зарослях темно-синей сочной ежевики! А птичьих гнезд! И каждое из них нам знакомо: сколько туда снесено



пятнистых пестрых яичек, сколько вылупилось птенцов, куда кукушка свое яйцо подкинула. Все подсчитано, все известно. В речке Есе нетрудно поймать и небольшую щучку. Речонка неглубокая. Бредем тихо и руками ловим. В жаркий летний полдень, когда солнце на самом верху, щучки неподвижно дремлют в водорослях. Сунешь руку и выбросишь на зеленый лужок...

...На плоту разведен небольшой костер. Потрескивая, выстреливают в воздух раскаленные угольки. Лежишь на спине, уставившись в темный небосвод, и кажется, будто уголек взлетает, как крохотная ракета, — бац! — и прилипнет к твердому небесному куполу. И вот уже все небо сверкает тысячами угольков, поднявшихся из нашего костра.

Старый Шимас попыхивает своей короткой трубкой. Удочки на усачей мы закинули, как стало смеркаться. Вытащим, когда на востоке покажется узенький белый ободок небесного глаза — солнца. В предместье надрываются петухи, тявкают собаки.

— А плоты, дядя, издали пригоняют?

— Издалика...

— Большие там леса?

— Больших уже мало осталось, но еще все-таки есть... Поредели чащи... Все меньше столетних дубов-богатырей. И сосны, прежде крепкие, теперь исхудали... Все реже в лесу встретишь гордого лося, оленя, косулю пугливую, хитрую лисичку... Редкие гости у нас и нестрые птицы, и всем птицам царица — белоперая лебедушка-красавица, про которую и в песнях поется, и в сказках сказывается...

— А отчего это?

— Извели леса... Эх, не поднять из мертвых столетние дубы да сосны! Сколько их через одни мои руки прошло! И не воскресишь лосей, оленей, косуль, которых графы, вельможи да всякие паны перебили... Не заставишь затрепыхаться и защебетать всех птиц, что наземь рухнули...

— Отчего же это?

— Уж так случилось. Зазеленеют дубы, нальются соком сосенки, зашелестят березки, помчатся лоси, затрубят лебеди только в сказках да в песнях...

— Погоди, дядя Шимас!.. А нельзя ли из сказок воротить их всех обратно в леса, на поля, на озера? Сде-

лать так, чтобы дубы и сосны вернулись на свои прежние места? Чтобы лоси и олени побежали по старым тропам? Чтобы лебеди опять прилетели?

— Где уж там, дитятко... Да хоть бы и вернулись, кто бы их оберегал? Будь Лесовик в живых — нашлось бы кому их охранять...

— Кто этот Лесовик, дядя Шимас?

— А ты не слыхивал? Лесной дух. Лицо зеленое, весь в зеленых листьях, зелеными космами зарос... Он в дуплах деревьев таился... Только ухо у него — не нашему чета: за тридевять земель каждый удар топора слышал. Примчится, зеленым вихрем все деревья по сторонам растолкает, вора стволами притиснет и раздавит. Вот каков был Лесовик...

— А куда же он девался?

— Люди теперь исхитрились — вот и уколошили его. Отлили, сказывают, серебряную пулю и пристрелили спящего.

— А отчего не свинцовой?

— Свинец — что? Он только для простого человека предназначен. А на духов серебряная пуля нужна... Не знаю, приплывали сюда дровосеки, один говорил, будто видел еще живого Лесовика. Только я не верю...

Посасывает старичок свою трубку. Тепло от костра струится по всему телу. Черный небосвод теперь весь искрится, сияет.

— На дерево — топор, на человека — свинец. Что кому... Так уж оно ведется... — бормочет старик.

Я едва различаю отдельные слова, тело мое крепко сковывает сон

...В деревне был у меня пес Маргис, а здесь — никого. Я мечтал опять обзавестись собакой — хорошим, надежным другом. Упрашивал родителей, но у тех все находились отговорки («...больно накладно... еще пса кормить... самим не хватает...»). Так и не выполнили они моей просьбы.

Зато на соседском огороде жила красавица овчарка. Сосед — приземистый, кривоногий, с пожухшей кожей, косыми глазами и выпирающими скулами — порой спускал ее с цепи. Тогда уж и на огороде и во дворе поднимался суший переполох. Первым делом пес по-хозяйски бежит все подзаборья, проверит, не залез ли кто через поломанную изгородь. Потом, конечно, возьмется за ко-

та, которому от острой перепалки приходится спасаться на вишне, яблоне, а то и на крыше, где псу его не достать. А не терпевшая ничьих возражений овчарка обрушивается на него с громкой бранью. Когда убедится, что ничем не проймешь этого жирного, пушистого лоботряса, изливает она свою псиную злость на прочих обитателей двора, то есть на кур. Перья летят по воздуху, огород оглашается диким кудахтаньем. А кот удовлетворенно глядит на этот веселый водевильчик да облизывает длинные усы.

Сквозь колья изгороди я заглядывал на соседский двор. Нравился мне взбалмошный пес. Порой он кидался к ограде и вступал в полемику уже со мной.

— Чев-во? Чев-во? Чев-во т-тут уст-тавился?

— Ты мог бы стать мне добрым другом...

— Рр-разве? Рр-разве?

— Конечно. На, возьми...

И я кидал ему припасенную корочку, кость, а то и кусочек мяса.

Никогда он не откажется — уж такая ненасытная утроба. Грызет подкинутую мною кость, но чуть только увидит, что я пытаюсь забраться в соседов огород, объявляет мне сразу же строгое предупреждение:

— Ррр! Ррр! Ррр!

Эта жадность его и сгубила. Раз после обеда я услышал истошный лай и визг смертного ужаса. Подбежал к ограде и увидел жуткое зрелище: косоглазый, сняв ремень, лупил своего верного пса. Хладнокровно, обдуманно и жестоко. Меткие удары градом сыпались на беднягу, который выл, скулил и извивался перед хозяином.

А мне так жалко несчастного! Только чем я могу помочь? Стою и жду: надоест ведь косому терзать собаку, он и прекратит расправу. Как мой отец: выпорот меня, а потом пожалеет, даже по головке погладит.

Но вышло совсем иначе. Косоглазый вдруг накинул ремень псу на шею, затянул, а потом, натужно приподняв, подвязал к засиженному курами насесту. Пес уже не лаял, только долго дрыгал лапами. Я не мог этого вынести. Обливаясь слезами, кинулся на кухню — мама варила обед.

— Господи! — переполошилась мать. — Что тамстряслось?

Я крепко-крепко прижался к ней.

— Мам, мам, косой... повесил...

— Кого повесил?

— Сс... ссо... ссобаку...

— Вот обалдуй — этак детей пугать! Я ему покажу! А ты не хнычь — достану тебе щеночка...

Пошла и долго через забор ругалась с косоглазым. Вернулась рассерженная.

— Подумаешь, колбасу пес стащил...— кипятилась мать, помешивая суп в чугунке.— И за это давить собаку! Злыдень косой, будь он проклят!..

Мать сдержала слово: принесла маленького, глупенького песика, который повсюду тыкался носом. Всей семьей — папа, мама, сестренка и я — подбирали ему кличку. Я, помнится, упрямо требовал, чтобы щенка называли Нероном.

— Почему? — изумились все.

А в школе у нас была замечательная учительница истории: Рассказывает — класс слушает, развесив уши. Увлекались мы этими уроками, как романами про индейцев. Рассказывала она и про Нерона, и он стал для меня самой презренной личностью. Я пояснил домашним:

— Потому, что Нерон был хуже собаки: людей в темницы бросал, львам отдавал на растерзание. И Рим поджег. И еще похвалялся: дескать, стихи пишу!

Никто со мной не согласился. Зачем клеймить слабое, безобидное созданище именем какого-то выродка? Да я и сам толком не мог сказать — зачем...

Отец нашел среднее решение:

— Нероном не назовем. Неподходящая кличка. Пускай будет Нерас.

Так и приобрел я верного друга.

Жалел я соседского пса — пусть он был и сердитый и жестокий. Но человек оказался еще того хуже: взял да повесил собаку. А мой Нерас рос на славу. Вспоминаю гибель овчарки, я особенно привязался к щенку. Возьму его на речку, выкупаю, на солнце обсушу, приласкаю. Раз все ребяташки с нашей улицы торжественно хоронили кошку — ее телегой переехало. Вырыли мы на огороде яму, хором спели отходную, закопали, насыпали бугорок, поставили крест и еще веночек сплели. Вечером мы с Нерасом отправились на кошкину могилу. Он сидел напротив и поглядывал на меня умными гла-

зами. И тут я сам себе дал клятву: ни за что не буду бить Нераса. Мало того, не буду губить ни кошек, ни пташек. За птиц мне уже влетало. Побежал я раз с мальчишками к казармам, где водилось множество галок. Забрался на какой-то сарай и сунул за пазуху трех галчат. Слезая — ребят след простыл. А поджидает меня солдат — уже и ремень снял. В другой раз досталось мне от ласточек. Они устроили себе гнезда в обрывистом берегу. Берег, будто простреленный, — весь в дырках. Вылетит из такого отверстия птичка, как пуля, покружит в воздухе, наловит мошкеры и снова исчезнет. А мальчишки засовывали руки в эти расщелинки по самый локоть и вытаскивали оттуда писклят. Я тоже попробовал. Только внутри в дыре кто-то меня крепко цапнул за палец. Я с ревом воротился домой. И закаялся к ласточкам соваться...

Любил я рисовать. Получалось вроде неплохо. Раз намалевал ту несчастную овчарку, а на обороте написал про нее нескладный стишок. Зимой я подкармливал воробьев и синиц. Сыпану крупы, хлебных крошек, а сам гляжу в заиндевшее окошко: они клюют, клюют, а потом совсем как мы, уличные мальчишки, толкаются, дерутся и снова мирятся. В дни постуденее пташка, бывало, нахохлится на ветке и уже не вспорхнет, так и закоченеет, будто приклеенная к сучку сирени или вишни. Гибель одной птички я зарисовал вот на какой манер: желтогрудая синичка на ветке, кругом — пятиугольные снежинки, а внизу стишок:

На веточке птичка  
Сидит невеличка,  
Уж ей не летать!  
А ветер синичку,  
Замерзшую птичку,  
Все будет качать.

В прозе описал я хромую ворону, которая зимой забралась к нам в сени. Я ее кормил, выхаживал, пока хромоножку не утащил кот.

Волновали меня не только страдания зверьков или птиц. Рано заметил я и людскую муку. Взаялся писать о человеке и начал с пещерного.

Кто был этот «пещерный человек»? Часто бегал я через улицу — заглядывал во двор к соседям. Возле хлева

у них была пристройка для кур, чуть побольше собачьей конуры. Какой-то бездомный старик упросил пустить его туда. Так и жил в курятнике, кутаясь в отрепья,— черный, чумазый, заросший густой белой бородой с прозеленью, с нестриженными космами. Поутру выползал из своего логова, раскладывал тут же маленький костер, подвешивал на треножник закопченный чугунок и готовил себе пищу. Мы уже бегали в школу. В одном учебнике нашли похожую картинку с надписью «Пещерный человек». Так его и прозвали.

Но я очень жалел старика. Стащу что-нибудь с обеденного стола и несу этому жителю пещеры. Наступила суровая, холодная зима. Вымерзло даже несколько посаженных отцом деревьев. Пещерник мучился, коченел в своей берлоге. Однажды его нашли мертвым.

Сердце у меня страшно сжалось. Я долго плакал. Потом описал, как горемыка боролся с зимой, но зима его одолела. Рассказ получился длинный, трогательный, путаный.

А у других соседей была девочка-горбунья. С личиком удивительной красоты, большущими синими глазами, чудесной улыбкой. И необыкновенно трудолюбивая. Одна обстирывала всех остальных детишек, причесывала их... Только руки и ноги не в меру длинные. И мальчишки кричали ей:

— Эй, лягушка!

Горбунья чаще всего бывала одна, никто ее не принимал в игру. Порой в окошко я видел, как она плачет у забора. И написал жалостливый стишок про необычайную красоту, которую калечат и уродуют.

Мучительная штука — поэзия. Рождается она из чувства рока, из терзающего сострадания. И через творческую боль приносит облегчение, просветление. Так появились мои первые строфы.

Мне было десять лет...

...Тону в гуще тумана. Сквозь него даже своих домашних не узнаю. У отца лицо длинное-предлинное и рыжие усы вдвое вытянулись. А сестренка почти слилась с мгlistой пеленой — еле разберешь расплывчатые черты белого личика, только толстая коса мелькает — придвинется и исчезнет. И не отрываются от меня два синих глаза, полных слез. Чьи они? Лица не видать,

но я догадываюсь: наверно, мамины. Два больших заплаканных глаза в белесом тумане.

А по стенам и потолку блуждают какие-то черные тени. Огромные, может, полуметровые пауки, жуки, муравьи. Бррр... Лежу на спине. Вот ужас, если такой полуметровый паучина свалится на постель — прямо в лицо угодит.

Вдруг из тумана выступает огромная седая голова и ухо с торчащей черной трубкой. Голова клонится вниз, а ледяная трубка давит мне на грудь.

— Мама! — вскидываюсь я в кровати.

— Не бойся, детка, это доктор, — доносятся до меня слова из белесой гуши, где все время светятся заплаканные глаза. — Не бойся, он добрый...

Вот так добряк: прижимает меня черной трубкой к кровати — и не шелохнуться. А потом кладет прямо на сердце холодный кусок железа. Из железки торчат две резиновые кишки, седоголовый сует их себе в уши. Это уже не шутки. От ребят постарше я слышал: хочешь остановить чье-нибудь сердце — вгони туда железо или свинец, и человек уже не проснется... Седоголовый, видно, хочет, чтобы я больше не просыпался. Для того и давит железом на грудь. И сердце мое, наверно, скоро остановится.

— Не хочу, мама... не хочу!

— Чего не хочешь? — спрашивают два заплаканных глаза.

— Чтобы сердце остановилось...

— Не остановится оно, дурачок... Доктор его только проверит.

Проверит? А зачем? Не желаю, чтобы в сердце вгнали холодное железо. Не желаю. Не желаю...

— Убери руку, проклятый! — И я отталкиваю чью-то руку с железным предметом.

— Бредит, — раздается незнакомый мужской голос.

Ощущаю на лбу мясистую, мягкую ладонь, вкусно пахнущую земляникой...

О, какой приятный запах! Эти пальцы, верно, недавно в лесу собирали землянику. Теперь, наверно, там полно ягод. А мне вот нельзя вскочить и побежать туда. Но откуда теперь земляника, если на дворе студеная зима? Ломаю голову и не соображу. А все-таки вот множество рдяных ягод. Угревшиеся на солнце пеке деревья струят пахучее тепло. Поднимаются из травы белые

ромашки, синие колокольчики, желтый курослеп... А кругом все усеяно, усыпано красными крупинками. Земляника...

Забираюсь все дальше и глубже в чашу...

Раскрыв глаза, я сразу увидел смешного человечка, подвешенного за ворот к гвоздику на стене. В круглой шляпе-котелке. Потешное лицо: нос загогулиной, под носом щеточка усов, и глаза, как у голубя. В руке тросточка. Брюки сползают. Кто это и чего он тут висит?

Пытаюсь приподняться и разглядеть его поближе.

— Не вставай,— раздается звонкий голос сестренки, и толстая коса падает на постель.— Хочешь, он тебе спляшет?

Сестра дергает за веревочку, и смешной человечек вдруг весь приходит в движение. Весело раскидывает ножки в сползающих брюках. Поднимает руки. Одна рука прикасается к голове, и плывет кверху круглый котелок. Топорщится щетка усиков. Ой, умора!

— Ха-ха-ха! — покатываюсь я.

— Ха-ха-ха! — смеется сестренка и еще сильнее дергает за веревочку.

А я в постели и ума не приложу: отчего, едва лишь сестра возьмется за шнурок, этот потешный человечек дрыгает ручками, ножками, вскидывает палочку, снимает котелок и потом улыбается? Почему он ничего не делает, пока его не дернут?

Слишком сложная механика для моей больной головы...

К вечеру снова горячечный бред. Снова шныряют на потолке длинные тени зловещих насекомых. Над кроватью, поднимая прохладный вихрь, проносится большущая птица. Не пойму какая, но я вижу, вижу — вот скользит тень двух крыльев. Должно быть, ворон, а то и орел...

Стараюсь не глядеть на потолок. Теперь передо мною висит человечек. И все старается меня развеселить. Только вижу я его, как в тумане, очень нечетко.

Но что это?

Три всадника! Коня на стене взвились на дыбы. Морды в пене. Три всадника замахнулись тремя грозными лучами. Двоих конников не знаю. Но тот, что посередке,



мне отлично знаком: это косоглазый, который повесил свою собаку.

Три всадника мчатся прямо на меня. Но кони никак не спрыгнут со стены. И потому все время взвиваются на дыбы и топчут картонного коротышку. Ему, наверно, очень больно. А как же иначе — ведь копыта бьют его по голове. Ему бы рыдать от такой муки. Когда у меня что болит, я обязательно плачу, а он улыбается...

Топчут его всадники, а он раскидывает руки и ноги, идет, задрав тросточку, и, видно, встретив знакомого, вежливо приподнимает круглую шляпу и улыбается. Щеточка усов все время ежится, топырится — наверно, он с кем-то разговаривает. Чудак этот картонный малыш...

О беспощадные всадники!..

А я по тропинке забираюсь все глубже в лесную глушь. Слышу пение птиц... Ягод-то, ягод — прямо россыпь... Хорошо мне здесь...

— ...Хочешь на улицу? — однажды в солнечный день спросила сестра. — Сегодня пасха. Яйца-писанки катаем.

Вскинула на спину и на закорках вынесла во двор. Съскользнув с ее плеч, я стукнулся о мягкую, влажную землю. Потом почувствовал, как в рот неудержимо забирается вкусный-превкусный воздух. Словно вода, прорвавшая плотину. А солнце беспощадно колет глаза. Я просто ослеп. Толкал, толкал меня ветер и затолкал к забору. Подбежала сестренка:

— Ветром тебя сдуло? А ты не поддавайся, братик. Высох, как щепка... Ничего, наберешься сил!

С того дня появилось у меня к сестре особое, нежное чувство. Голову бы за нее отдал!

И она меня тоже полюбила крепче, чем до болезни. Видно, очень уж я захирел. Сестренка все таскала мне что-нибудь повкуснее, умела меня развлечь. Очень была хорошая, красивая девочка. И никто мне тогда, кроме нее, не был нужен. Я поклялся любить одну ее, пока живу на свете...

Это случилось уже через несколько лет.

Раз сестра позвала меня:

— Пойдем в кино смотреть страшно веселую комедию.

И вот передо мной на экране тот коротышка, который с самой моей злосчастной болезни остался висеть на стенке. Только на полотне он был совсем как живой. Стоит у заводского конвейера, держит ключи и прикручивает гайки. Обеими руками. Работает проворно, без передышки. Даже когда отойдет от конвейера, и то не может остановиться. Все повторяет заученные движения. Смешно размахивает руками и ногами, приподнимает знакомый мне черный котелок, вертит на пальце свою тросточку... Я всячески старался разглядеть на экране ту веревочку, за которую кто-то должен его дергать. Но так и не разглядел. Фильм, в котором играл маленький чудак, почему-то назывался «Новые времена». А имя у человечка тоже было уморительное: Чарли Чаплин.

Сестре комедия понравилась. А мне, признаться, не очень. Я был разочарован: так и не увидел самого главного — веревочки, за которую дергают этого чудака.

...Это была хорошенькая бледная девочка — с большими синими глазами, с синими ленточками, которые торчали, как два рожка, из туго заплетенных косичек.

Жила она в большом красивом двухэтажном особняке, из окон которого часто выплывали белые лебеди — шопеновские ноктюрны.

По вечерам ее комнату озарял приглушенный голубой свет. Таинственными заклятиями завлекал меня мир синей сказки — я простаивал целыми часами внизу у акации.

То была моя Прекрасная Дама.

И однажды я решил доказать ей свои рыцарские чувства. Мне уже приходилось читать про Парсифаля...

Была весна.

За Неманом цвели подснежники. Взял я лодку Шимаса и переправился туда. На умытой дождем изумрудной траве, что пробивалась сквозь черные прошлогодние листья, среди белых островков снега крохотными лепестками был обозначен путь весны.

Вне себя от счастья я перемахивал с пенька на пенек и, выкликая свою необузданную радость, брел по сле-

дам весны, срывая синие подснежники. Насбирал целый ворох этих глазков леса, пахнувших сочной землей, глиной, ветром и талым снегом.

Ночью, когда у нее погас свет, я, оставшись наедине с луной, залез на старую акацию и через раскрытое окно проник на второй этаж.

По комнате змеилась полоска лунного света. Моя Прекрасная Дама тонула в сновидениях и казалась еще бледнее, еще прекраснее. Не дыша, на цыпочках подошел я поближе и всю ее осыпал синими огоньками весны. Под длинными ресницами глаза чуть дрогнули. Мне почудилось, она улыбается сквозь сон и хочет мне что-то сказать.

Только что именно? Пожалуй:

— Ты пришел? Наконец-то! Давно я тебя поджидаю. И теперь больше не отпущу.

— Что же мы с тобой будем делать? — спрошу я.

— Ты принес чудесные цветы. Сплетем из них большой-пребольшой венок, повесим его на рог луны, сядем на этот венок, и луна понесет нас вокруг всей земли — над большими городами, реками, озерами, океанами...

— Вот хорошо! Так вставай скорее, пока луна не растаяла! — отвечу я.

— А ты сможешь венок сплести?

— Еще бы! У меня в деревне был добрый друг — пес Маргис. Сплету, бывало, венок, надену ему на шею, потом из ивняка вырежу свирель, хорошую, певучую, и играю на ней — конечно, не так хорошо, как ты на рояле. Но свирель у меня и козликком блеет, и заливается посоловьиному, и шелестит, как ветер. А Маргис задерет голову и тихонько мне подтягивает...

— Да, я знаю, ты жил в деревне и умеешь венки плести. Только когда мы успеем — погляди, луна уже тает...

— Правда... Как же нам быть?

— Не печалься. Придешь завтра. Только нарви побольше подснежников. А теперь ступай...

Я взглянул: действительно, луна уже растворилась, будто белая льдинка в реке. Как долго я пробыл здесь? И не узнаешь — ведь в сказке не бывает времени...

Разумеется, моя Дама ничего не сказала. Даже губами не пошевелила. И глаз не приоткрыла. Все это мне только померещилось. Но хорошо уже, если тебе что-то почудилось. Только после этого можно с облаков возвращаться на землю.

Осторожно, чтобы никого не разбудить, я выскользнул в окно. Еще раз оглянулся на эту словно пригрезившуюся мне в лунном свете белую бабочку. Она казалась принцессой из прочитанной мною книжки, спящей в стеклянном гробу. Влез я на дерево, спустился вниз и с сильно бьющимся сердцем вернулся под свою убогую кровлю. Но на другой день этот подвиг представился мне таким дерзновенным, что я не осмелился его повторить.

Прекрасная Дама завладела мной безраздельно. Я томился по ней. Не окончив уроков, бежал к ее воротам, ожидал по целым часам. Во сне, ночью, с нею разговаривал.

По воскресеньям седая, нарядная, надменная мать водила ее в костел, где дочка пела в детском хоре («Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех, забывших радость свою»).

...Она умерла... И ее схоронили: взяли и закопали...

Не хотелось и мне больше жить — не видел я в этом ни смысла, ни цели. И только постепенно понял, что для других она мертва, а для меня никогда не умирала — подлинная моя Прекрасная Дама — Поэзия. И стихотворение написал («...в глазах твоих передо мною фиалок светлая лазурь, и вместо смеха над строфою роняю горькую слезу...») и напечатал в гимназическом журнале.

И уже не откладывал пера. Прекрасная Дама потом превратилась в Незнакомку («...и очи синие, бездонные цветут на дальнем берегу...»), которая все дальше заманивала меня в неведомый поэтический мир, суля необычайный колдовской поцелуй. Моя Прекрасная Дама — Незнакомка — Поэзия, пока я пишу, тихо стоит у меня за спиной, вглядываясь в каждое слово. Прочтет заключительную строку, облегченно вздохнет и зашепчет роковые слова: «Этого я только и ждала, теперь-то уж полюблю тебя!» Но вместо этого уходит. А я трепещу: если она когда-нибудь сдержит слово и страстно меня поцелует — несдобровать мне, живому не уйти из ее объятий!

## ПАСТЕЛЬ. ЭТЮДЫ

Нежны и мягки пастели,  
как цветы,  
как эмблемы любви —  
черви-сердца и стрелы,  
как прижавшихся две головы.

## УЛИЧНЫЕ СЮЖЕТЫ

### НИЩЕНКА

...Насущного хлеба нету,  
и песню петь нельзя.

Читаю бродягу-поэта  
Вийона Франсуа...

И строфы Гранд Тестамент  
на стол,

как нож гильотины,  
обрушиваются мерно...  
Мышь шебуршит тихо...

Мышка, дурашка-нищенка!  
На полку забралась зря.  
Хлеб съеден.

Уже не сыщется  
ни крошки, ни сухаря.

Мышь моя, ты невесела,  
обижена, отрешена...  
Нет хлеба, так я бы песенку  
спел... да запрещена.

Что же нам делать сегодня!  
Тебе —  
тосковать по хлебу.



Голову отвортила,  
капают слезы в песок.  
Радостно плачет кобыла,  
видя, как скачет сынок.

К матери льнет и резвится,  
брызжет весельем душа.  
И разъяренный возница  
бьет по глазам малыша.

И ошавший от ржання,  
звонкий шалун-стригунок  
горестно, не возражая,  
мордой поник и примолк.

Тащит телегу кобыла,  
тянет, хоть бедной невмочь.  
Вся извелась, приуныла,  
сыну не может помочь.

Но когда хлебной горбушкой  
месяц кружит наверху,  
мать над пустою кормушкой  
рот оботрет стригунку.

Над этой горькою лаской,  
над материнской бедой  
плачем с печалью безгласной  
я с молодою луной.

#### **МУЗЫКАНТ**

Приходит музыкант бродячий  
и ставит ящик допотопный,  
играет, исторгает ящик  
звук, скрипу виселиц подобный.

И по-верленовски дождь каплет,  
а он, небритый и заросший,  
под деревом продутым зябнет,  
весь, как воробушек, промокший.





И машут женщины из окон  
и просят приходить почаще,  
так всем необходим и дорог  
солдат-бедняк и дорог ящик.

Ведь он на счастье не скупится,  
подарки-фанты тащит птица.  
Таких глупцов найти едва ли,  
чтоб все до нитки раздавали...  
Он ничего не нажил, если  
нога — чужая деревяшка,  
и даже не своя фуражка,  
зато свои  
в шарманке песни.

Нет, больше ничего не нажил!  
Но песен в ящике хватает!  
Одну допел —  
другую начал,  
играет — и не заиграет!

И с мельницей своей звучащей  
по улице бредет он снова.  
Глядите —  
это настоящий  
святой! И не найти второго...

Устанет,  
у шоссе присядет  
и гладит перстенечки-фанты,  
и звезды слез в глазах сияют  
у бедолаги музыканта.

## КРАСНАЯ АЛЛЕГОРИЯ

1

Торопятся дети в школу,  
Окно распахнул и вижу,  
как капли на соты снега  
роняют сосульки с крыши,

~~Читаю трудную книгу;~~  
 а сердце себе стучится  
 и вдруг из грудной... из клетки  
 выпархивает, как птица.

— Вернись,— говорю.— Там снежно  
 и холодно... Возвращайся! —  
 А сердце мое смешное  
 в ответ:  
 — Я бегу за счастьем!

И прыгнуло на подоконник  
 и выскочило наружу.  
 Гонюсь за сбежавшим сердцем,  
 как жердь, протянувши руку.

В окно закричал:  
 — Держите! —  
 А сердцу и дела нету,  
 а сердце знай себе скачет,  
 как красный снегирь по снегу.

Жду час, жду другой...  
 Нет сердца.  
 Пойти разыскать бы надо.  
 Пожалуй, замерзнуть может —  
 еще ведь холодновато...

2

Унылый, по переулку  
 бреду, а душа тоскует.  
 Вдруг хохот! И вижу: сердце  
 в кругу воробьев танцует.

Отплясывает, кружится!  
 И слушать меня не хочет.  
 Кричу ему:  
 — Марш обратно! —  
 А сердце в ответ — хохочет.

И все надо мной смеются —  
 все псы, воробьи, вороны,  
 а сердце — рыжею кошкой  
 на крышу взнеслось проворно.

И кот, что сидел на крыше,  
увидев его, ершится:  
он птиц поглотал немало,  
но это — чудная птица.

А сердце стремглав по крыше  
бежит от кошачьей пасти,  
и голуби удивленно  
глядят и не наглядятся.

Тогда я жердью по крыше  
стучу и сизую стаю  
вздыхаю в небо, а сердце  
на тротуар сгоняю.

### 3

Вот сердце на тротуаре,  
но, тьякньем заливаясь,  
за сердцем бежит дворняжка,  
подумав, что это заяц.

И сердце от той дворняги  
карабкалось по забору,  
в мгновенье уподобясь  
багровому помидору.

Куда же девался заяц!  
И пес изумлен, напуган,  
потявкивая ворчливо,  
плетется назад в свой угол.

А сердце бредет садами,  
гуляет по огородам,  
болтает оно с синицей,  
взлетает на ель к воронам.

И в чьи-то стучится двери:  
— Вам почта! Откройте ящик.—  
Старушкам домой из лавки  
тяжелые сумки тащит.

## 4

Иду за маленьким сердцем,  
бежит оно, будь неладно...  
Кричу ему:  
— Красная птица,  
марш в клетку свою обратно!

Как черная тень, усталый,  
бреду и сквозь зубы плачу,  
а сердце, как свет в окошке,  
уже вдалеке маячит.

Я вижу, что путь мы держим  
по улицам незнакомым,  
и сердце готово встречным  
отдать свою кровь, как донор.

И кто-то его погладит,  
и кто-то его ударит,  
а сердце мое смеется  
и встречным улыбки дарит.

А сердце полно любовью  
к большому нашему жиру.  
На сердце махну рукою,  
один возвращусь в квартиру.

Я возле окна присяду,  
попробую в снег взглядеться.

С терпением нечеловечьим  
я жду.

Не вернулось сердце...

## 5

Смешная одна девчушка,  
я слышал, домой бежала,  
а красное мое сердце  
как раз на снегу лежало.

— Вот сердце... Закоченело...—  
вдохнула она, печатясь,  
и подняла со снега,  
и спрятала в школьный ранец,



Когда это было!

Это было,  
когда кошка собаку пугала,  
а мыши ловили кошку,  
а море в ручей впадало.

Когда это было!

Это было,  
когда лето синело снегами,  
а на зиму вырастали  
мухоморы с боровиками.

Когда это было!

Это было,  
когда на звезду было проще  
попасть, чем на полную света  
улицу или площадь.

Когда это было!

Это было,  
когда дети бороду брили,  
а старцы бегали в школу  
и снеговиков лепили.

Когда это было!

Это было,  
когда неподвижным шаром  
стояла земля и поэтов  
не баловали гонораром.

Когда же все это было!

Давно, где-то в годы детства,  
и в мир гораздо острее  
впивались глаза младенца.

И во всем, что было,

виновна

девочка одна,

потому что

читала всякие сказки  
и спутала все девчушка.

Но действительно все так было.

Крылатой была — это верно,  
летала, и точно знаю,  
что была она королева.

**[А где же в тетради задачи!  
Где уравнения и числа!  
Увы, их нету, учитель.  
Но ссориться нам нет смысла.**

**Потому что, если б сначала  
все повторилось чудом,  
я снова нарисовал бы  
те же 10 этюдов.]**

$$2 \times 2 = ?$$

**1**

**Класс. Школьная парта.  
На черной доске мелком  
 $2 \times 2 =$   
4.**

**В короткой формуле этой  
извечное решено,  
а то все, чего здесь нету,  
значения лишено.**

**Два глаза — цветка банальных  
на доску глядят всерьез.  
[...И, помню, твой синий бантик,  
как рожки, торчал из кос...]**

**2**

**Класс. Школьная парта.  
Родная, на доску гляди:  
 $2 \times 2 =$   
5.**

**Черная парта... Белой  
стала в глазах давно,  
вишеня мелом  
перечеркнуло окно.**

Я, как молитву, строки  
 слагаю тебе с тоской...  
 Ошибка... Вместо пятерки  
 вдруг получаю кол.

— Ты неуч,— слышу.— Обратю  
 на парту свою иди...—

$2 \times 2 =$

5...

3

Лунный свет, точно лебедь, дышит,  
 пьяно пляшет в предсмертный час,  
 сок черничный не весь еще выжат  
 из моих вызревших глаз.

Я хочу: «Два на два — четыре»,  
 чтоб ты села рядом со мной,  
 мы б мелком луны начертили  
 тот пример на доске ночной.

Но хохочет месяц — до маетной  
 тоски моей дела нет,  
 и гипсовой белой статуей  
 целует меня лунный свет.

4

И вот неожиданно ты письмо получишь  
 и спрячешь в парту. Но ведь знаю я:  
 распахнутых поэтов ты не любишь,  
 раскрытых, словно за окном — поля.

Мне месяц волосы взъерошил,  
 синь высосал из глаз моих,  
 тебе — сломал он бантик синих рожек,  
 отрезал косы, волосы остриг.

Пылятся книги...

Опустела парту...

И на доске вопрос, а не ответ:

« $2 \times 2 = ?$ »

— Четыре.

— Нет...



5

Но вот однажды ты о ней забудешь,  
об этой старой формуле. Но я  
запомнил, что поэтов ты не любишь,  
раскрытых, как за городом поля.

Остриженные волосы взъероша,  
летала по полям, как мотылек,  
без банта, без его лазурных рожек,  
и заменил их — месяца рожок.

Припомни доску черную. Не правда ль,  
когда легенду мы хотим создать,  
то сколько будет, если вновь 2×2!  
Кто прав был, дорогая!

— Будет пять.

## МОИ ШАРЖИ

1

Автошарж:  
я, месяц и береза.

Береза  
по сравнению со мной,  
стало быть,  
карлик, зеленый куст.  
Рядом, словно большой сказочный джинн,  
большой дом,  
я: шея жирафы,  
пронзившая облако.

На облаке лежит подбородок,  
лежит голова, словно осмотревшись, вылезшая...  
Вечер.

И облачка, пухлые, как перепелки.  
Звезды, как цифры —

1 : 0.

Под мышкой у меня круглый мяч (футбольный) —  
месяц.

Стало быть,  
окончилось соревнование.

И я, свои ворота  
с честью защитив,  
возвращаюсь гордо.  
{Поэтому подбородок  
высунул над облаками.}

2

Циферблат часов —  
стадион.

Здоровый  
атлет —  
стрелки.

Часы и стадион.

И два конкурента:

здоровый,  
обветренный и румяный  
я, бегун,  
и Время.

Руки и ноги —

как жерди.

И мчится оно,

Время,

превратившись в сокола,  
будто Брумель.

И я.

Мое сердце выскочило.

И бежит оно

на каких-нибудь сто

метров —

впереди,

где стадион —

уже станет циклотроном,

бегуны:

Время

и электрон.

Вот как!

...И бегут атлеты

вокруг площадки...

Финиш,

физики и поэты,

к звезде!

## II

**Х**оть это и не башня из слоновой кости, а все-таки убежище! А то куда же я денусь от злобных взглядов, язвящих слов, занесенного кулака?

Заткнуть бы уши, завязать глаза и брести по длинным и путаным лабиринтам к поэтическим садам, цветущим лугам, залитым солнцем, усеянным звездами, окутанным радугами... Наш убогий мир можно вынести только, если есть у тебя про запас маленькая модель своего мира.

После яростных схваток с соседскими мальчишками я прятался на чердаке. На несколько дней пропадала охота видеть людей. Укрывшись от всех, стиснув зубы, проглотив подступающий к горлу комок, пытался я изложить на бумаге собственные взгляды на устройство мира, цветными карандашами и красками создавал видения прекрасного. И писал стихи, полные томления и скорби.

Нередко есенинский месяц заставлял меня под стрехой уже обессиленным: уткнувшись в объятия заветного друга — тетрадки — и крепко усну.

А домашние с ног сбиваются, ищут меня повсюду. Исхудал я, глаза запали, как у призрака. Покашливаю, часто хвораю.

Сестра очень беспокоилась, тепло ли я одет, не про-

мочил ли ноги. Отпаивала меня горячим молоком, пораньше укладывала в постель.

Отец относился ко мне поостороже — мало верил в мою писанину. И, заставая меня на чердаке с тетрадкой, бранился:

— Чего, как филин, глаза на луну пялишь? Накли-чешь на себя хворобу! Шел бы лучше к речке... Побегал бы...

А то еще и ухо мне покрутит.

И вдруг будто его подменили. Привязался он к дому, стал куда добрее, приветливее, словоохотливее. Совсем бросил пить.

Потянуло его к столярному ремеслу деда Юргиса, от которого отец унаследовал и всю рабочую снасть. Оборудовал он на чердаке маленькую, светлую мастерскую. Все что-то чертит, возится с пилой или с рубанком. Отлично знал отец свойства сосны, березы, липы, чутко умел судить о дереве «по звону». Приложит ухо к чурке, простукивает пальцами — слушает, как во все стороны растекается звук. В крохотной мастерской пахло подсушиваемой древесиной, столярным клеем.

Для сестры отец смастерил замечательную гитару — звучит, как гавайская! Сестренка на седьмом небе от радости, играет — заслушаться можно.

Потом он отыскал хорошую березу, скреб стеклом, шлифовал, формовал. Возился без устали. И в один прекрасный день преподнес мне новенькую скрипку — желтую, блестящую, прямо загляденье. Стал я пиликать.

И для себя самого отец что-то мастерил — под большим секретом. Порой подмигнет мне:

— Увидишь, какая штука образуется!

Засунув за ухо длинный столярный карандаш, он стругал липовые, березовые, сосновые планочки. Потом склеивал. А я подсоблял.

Насколько можно было догадаться, отец создавал три музыкальных инструмента в одном: мандолино-гитара-скрипку.

Человек он был изобретательный, одаренный: и голос, и слух, и вкус... Замечательно играл на гитаре, пел заунывные старинные песни.

Из инструмента-троицы ничего путного не вышло. Отец с облаков вернулся на землю. Первым делом он увидел, что меня не отучить от чердачного писания, и пошел на уступки.

— Отгородим для тебя спокойный угол, — сказал он. — Чтоб никто не мешал и уроки готовить и книжку почитать.

Он обтесывал, отделявал доски, приколачивал, клеил. Прорубил небольшое оконце. На чердаке получился уютный мезонинчик — мой собственный! Со столиком, со стулом, с деревянной кроватью — изделиями отцовых рук.

Мне оставалось только обосноваться там. Я вколотил в стену первый гвоздь и повесил свою чудесную скрипку. Потом — несколько собственных картин. Вырезал из журнала портрет тогдашнего кумира — белокурой голливудской звезды Греты Гарбо — и тоже прикрепил к стене.

Пригласил я в новую обитель своих лучших друзей. Повесил изображение кудрявого лицеиста Пушкина — отец читал мне его стихи по-русски, и мы даже общими усилиями перевели пушкинский «Зимний вечер». Рядом с Александром Сергеевичем — портрет мятежного Байрона, косматая голова Виктора Гюго. Скорбно глядел со стены Лермонтов, с томлением во взоре — Новалис и, подавляя душевную муку, взирал на меня Адам Мицкевич с большими бакенбардами. Нашего любимого Майрониса<sup>1</sup> я тоже приютил под своим кровом. Почетное место отвел богу музыки — Бетховену.

На крыше ворковали голуби. Сквозь оконце виднелись квадрат неба, зеленая макушка березы и соседский двор. Маленькая горбунья, надрываясь, тащила тяжелое ведро с водой или развешивала белье.

А у нас возле домика появились деревья. Отец выкапывал в лесу дикие яблони, груши, пересаживал, прививал черенки. Сестра засадила цветами полисадничек. И в моем пылком воображении наш садик стал дремучей чащобой, а домик — старинным, заброшенным замком, в башне которого обитает одинокий отшельник.

Я даже имя подобрал для своего замка. И л ю з и я...

Осенними вечерами под стрехой гудел ветер, дождь однозвучно барабанил по крыше, бормотали голуби. Но мне все представлялось в ином свете.

Кругом мечется, стонет, завывает страшными головами всякая нежить — воины в латах, пираты, утопленницы.

<sup>1</sup> Майронис (1862—1932) — выдающийся литовский поэт.

— Жизнь коварна и беспросветна! — кричали мне воскресшие призраки.

— Идем с нами — мстить за наши муки, за поруганную любовь!

— Надень железный панцирь, препоясайся мечом. В лесу ждет вороной конь. В замке прекрасной Гортензии синевородый злодей терзает красавицу. Она ждет витязя-избавителя...

Сердце четырнадцатилетнего мечтателя жаждало подвигов, славы. И призраки, в темную осеннюю ночь метавшиеся по башне Иллюзии, нашептывали мне о неземной любви и благородном самопожертвовании.

В стенах Иллюзии билось романтическое сердце. В стенах Иллюзии рождались возвышенные строфы.

А когда осенним ветром распахивало двери чердака, на лестнице раздавались шаги и один за другим собирались мои избранники.

Весело вбегал юный Пушкин и, откинув курчавую голову, начинал декламировать мне свои стихи. Волоча ногу, гордо входил Байрон с «Чайльд Гарольдом» и «Каином» в руках. Мицкевич приводил с собой Валленрода и Пана Тадеуша. Однажды залетела таинственная Синяя Птица, а следом за ней вошел Метерлинк. Раз ночью напугало меня мрачное видение. Из-под плаща выступали два черных крыла.

— Я — Демон, — промолвил призрак. — Я тот, кого никто не любит. Блуждаю по всему свету и нигде не найду чуткого сердца. У всех в груди — черная ненависть. А в твоём сердце теплится пламя любви. Приюти меня в башне Иллюзии...

— Но ты навлечешь несчастье на этот замок.

— Не бойся! Когда тебе станет тоскливо, возьму тебя в миры иные. Улетим далеко-далеко. И спустимся на необитаемую звезду. Там на каменном утесе вечным сном покоится девушка.

— Не та ли, которой я приносил подснежники?

— Наверно, та самая. Ты нагнешься и уронишь прямо ей на сердце слезу — девушка откроет глаза, улыбнется. И мы примчим ее сюда, на землю, и, как снег, растает вся печаль, и людям не придется больше плакать, и воцарится вечная весна. Хочешь со мной, к звездам?

— Хочу!

Сквозь крохотное оконце глядел я на мерцающие звезды, ощущая за спиной ледящее дыхание и шелест крыльев Демона...

...Беру скрипку, настраиваю, притискиваю подбородком это непокорное, беспокойное живое существо и взмываю смычком. Играю скорбно-томящую мелодию — «Грезы» Шумана.

Научил меня музыкант, который теперь захаживает к сестре. Она играет на гитаре, он — на скрипке. Разучивают пьеску, а потом идет куда-нибудь на вечеринку.

Честно говоря, я его ненавижу. Во-первых, он гораздо старше — уже настоящий мужчина. К тому же красавец: стальные глаза, нос с горбинкой, в уголках поджатых губ затаилась усмешка. Демонический вид! А играет как бог. Когда кладет на плечо свою скрипку, это живое певучее создание и не думает артачиться или барахтаться, само льнет к его подбородку. Своей игрой он доводит меня до слез...

Сестра поглощена мыслями о нем, а меня забывает. Дружба наша пошла врозь, любовь охладела. Наш разлучник — скрипач с орлиным профилем. Ну и что, если он даже обучает меня владеть смычком? Все равно не прощу! Правда, сестра расхваливает меня ему:

— Одаренный мальчик. Мало того что музыкант. И рисует хорошо и стихи сочиняет.

— Стихи? — поражается орлиный нос.

Ага, твоя карта бита: я не только играю на скрипке, я еще пишу стихи. А ты не умеешь!

— Показать бы их кому, — предлагает скрипач. — Я дружу с одним студентом. Мы его Чудаком прозвали. И композитор и поэт. Вундеркинд. Гений... Неудачник только. Сведу к нему паренька...

Чудак? Гений? Неудачник? Я заинтригован. Жажду увидеть Чудака. Как это гений может быть несчастным?

Даже меньше стал злиться на сестриногo скрипача. Только бы он поскорей сдержал свое слово.

К тому же сестру из моих помыслов понемногу вытесняет другая...

Играю на скрипке в своей башне. Погружаюсь в серебристый лунный поток, который уносит меня вдаль, вдаль. И вдруг из волн выступает камень. На камне сидит девочка с печальным лицом — как белый тюльпан. Расчесывает бегущее золото влажных волос.

— Лорелей! — восклицаю я.

...Выпросили мы на ночь лодку у дяди Шимаса и на веслах пустились вверх по Неману — мимо железнодорожного тоннеля, мимо бумажной фабрики. На остров. Большой остров с чистым, белым песочком. Где видимо-невидимо черной смородины и темно-синей ежевики. Там, говорят, замечательно клюют усачи...

С вечера мы закинули удочки, насобирали ягод, развели костер. Коротки летние ночи. Не успеет солнце погрузиться в воду на одном конце реки, как опять уже всплывает на другом конце...

Туман пока не рассеивался — белыми клочьями по сверкающей речной глади. Солнце еще не вынырнуло из Немана, одни лишь розоватые облачка предвещали его скорое появление. В роще только-только пробуждались пернатые певчие.

Всплеск... Кто-то проплыл. Потом плеск отдалился. И вдруг на берегу из белого полога возник жгут волос, голова, плечи...

В лучах взошедшего солнца я издали увидел неописуемо красивую девочку. Она сидела на большом валу и выжимала свои длинные волосы.

— Лорелей...

Порезвившись, девочка весело помчалась вприпрыжку по тропинке в избушку на пригорке у самой рощи...

На следующий вечер мы опять подгрести к острову. Теперь я увидел Лорелей уже после заката. На камне, в лунной голубизне, она выкручивала волосы и пела.

У меня словно огонь в груди вспыхнул. По всем правилам при встрече с водяной нежитью полагалось закопать уши воском или поручить товарищам привязать меня к мачте. Я уже не сомневался: эта сирена, nereida, ундина нарочно заманивает меня — хочет утопить.

Почью мы удили. Улов хороший. Едва рассвело, на валуне опять появилась русалка.

Не мешкая, я ухватил самую крупную рыбину, прыгнул в лодку и стал грести к берегу.

Прекрасная речная дева на камне не обратила на меня внимания, продолжала скручивать жгутом длинные мокрые волосы.

Добравшись до твердой земли, я выскочил из лодки.

— Попался мне ночью огромный усач! Хочешь — подарок?



Русалка поднимает большие удивленные глаза.

— За что это мне? — недоумевает она.

Честно говоря, и сам не пойму — за что? Стою, не находя ответа. Растерянно улыбаюсь. И вдруг по невидимым дорожкам моя улыбка перелетает на белые влажные русалочки щеки. Там появляются ямочки.

— Ну-ка покажи, — протягивает она обе руки.

Извлекаю из лодки усача-великана. В лучах восходящего солнца он переливается, как увесистый червонный слиток. Жадно ловит воздух жабрами.

Кладу сверкающий самородок в протянутые руки.

— Возьми... на завтрак.

— Спасибо. Приезжай как-нибудь еще.

— Приеду!

Русалка взбегает вприпрыжку на пригорок. Искрятся в ее руках золотистые чешуйки, тащатся по земле, воршат росистую траву.

С горки русалка оборачивается и машет рукой. Я тоже ей машу...

Теперь уже каждую субботу или воскресенье навещаю свое речное диво. Сверну по окраинным улицам, перейду через мост и долго шагаю по лесу. Она живет в маленькой избенке с матерью — та работает на огородах. А русалка всякий день приходит в наше предместье к тетке. Шить учится.

Собираясь в гости, беру с собой какую-нибудь новую книгу. Мы вдвоем читаем. И, завидуя нам, до утра не спит соловей в прибрежной черемухе. Прodeкламировал бы я ему песню, сложенную поэтом! Но серая птичка сочиняет песенки куда лучше моих. На что ей такие скудные, убогие слова?

А под утро я возвращаюсь с пением, с ауканьем по сосновой роще. В деревянную башню Иллюзии. Запрусь и пишу, рисую.

Прижав к плечу скрипку, играю «Грезы» и в лунном потоке плыву вдаль. У реки на камне русалка выжимает свои длинные влажные волосы. О моя Лорелей!..

Сестрин скрипач привел меня к своему знакомому. Чужак стоит у окна. Рама распахнута. На дворе дождь. Летний дождь с солнцем. А зелень в саду — как малахит. Каждый листок радуется, светится, парит зеленым мотыльком. Под дождем все дерево дрожит: словно не листва, а целый рой зеленых бабочек облепил ветки и трепе-

щет изумрудными крылышками. Ах, это золото летнего ливня!..

Чудак стоит у окна. Исхудалое, костлявое, бледное лицо страстотерпца. Тонкий выступающий нос. Два скорбных глаза окаймлены голубыми кругами. Длинные волосы отброшены назад и красивой волной ложатся на спину, на костлявый четырехугольник плеч. Под налетевшим порывом теплого ветра развеивается черный бант, изящно подвязанный крупным узлом на шее. Черный пиджак, полосатые брюки, белоснежная сорочка. В петлице розовый пион...

Чудак держит в руке ворох листков, испещренных мелким, красивым почерком, и читает... Долго, монотонно, небрежно. В его манере читать — боль, разочарование, усталость...

Вслушиваюсь в малопонятные слова и все поглядываю на череп посреди письменного стола. Неужели, думаю я, он пишет, не отводя взора от дырявых глазниц и выкрошенных зубов? Моменто мори... Помни о смерти.

Чудак погружает пальцы левой руки в свои длинные волосы и проводит в них изящную борозду.

Он читает философские белые стихи — афоризмы. Мечется во мраке обездоленная Душа. Рвется к солнечному свету, к правде, добру, красоте... Холодно и тоскливо ей. И повсюду преграждают путь символы мирового зла... Душа стонет, рыдает, бунтует.

Поэма длинная, туманная, мало понятная мне. Но я чувствую, что ее создатель не удовлетворен судьбой, жизнью, самим собой. Слышу ноты сильного, убежденного протеста. Его Душа не покорно-христианская, а мятежная, суровая. Озлобленная. Мстительная. Блуждает по лабиринтам, но лелеет мечту о бунте. Ищет сподвижников, чтобы преодолеть Тьму, вырваться на волю. Ее творческие силы скованы, порабощены. Если освободить его душу из мрака, она сотворит чудеса!

Чудак кончил читать поэму.

— Дух стремится вырваться из мрака в мир в творениях каждого гениального художника. Данте... Шекспир... Толстой... Бетховен... — говорит он, складывая рукопись.

Направляется к черному блестящему роялю. Чудак хромой. Но походка его величава. Он волочит левую больную ногу очень гордо и вместе с тем красиво. Байрон, думаю я, бодлеровский альбатрос...

Он садится за рояль, сосредоточивается. Потом длинными, костлявыми пальцами медленно прикасается к клавишам. Комнату наполняют звуки бури.

Бетховен неистовствует. Неудовлетворенная великая Душа рыдает, гневается. Потом, в мятежном порыве разорвав оковы, устремляется ввысь — к добру, к прекрасному...

Чудак зажмурился. Вместо глаз остались два синих круга — словно черные глазницы черепа. Волосы разметались, будто вздыбленные вихрем. Только длинные, худые пальцы бегают по клавишам, чутко выбирая черные и белые косточки.

Долго еще сидит он, погруженный в раздумье. Вызванный им из мировых пространств, Бетховен угрюмо стоит за его спиной. И когда Чудак перестает играть, Бетховен сжимает его в крепком объятии. Встреча двух мучеников искусства...

Выгибается исхудалая спина, плечи дрожат, прядь волос закрывает глаза.

— Искусство... О великая благодать! О подлинная радость! Как ты необходимо человеческому сердцу...

Тихо плачет Чудак.

— Увы... Не дают Душе художника вырваться на волю и сделать наш мир добрым, хорошим... Только искусство преобразит мир. Больше никто. Никто...

Он поднимает на меня полные слез глаза.

— А кто правит миром? Кто его владыка? Тупоголовые убийцы, холопы золотого тельца... На что им искусство? На что оно им?

— ...И потому мир погряз в скорби и мраке.

Чудак плачет.

А за окном шумит золотистый летний ливень. И крупные капли стучат в жельсть подоконника, словно длинные пальцы по клавишам...

— ...Сделал заголовок к твоей поэме, — объявляет мне Робеспьер. — Получил рисунок, заготовил цинковое клише...

Робеспьер старше меня на три года. Уже работает в цинкографии.

Эту кличку Юозасу придумали мы, школяры. Никто другой так его не зовет в нашем предместье.

Но всем хорошо знаком Юозас с его пылким нравом и крайними взглядами.

Глаза у Робеспьера сверкают, как раскаленные уголья. Скулы широкие, чуть-чуть выступающие. Подстрижен ежиком. Пальцы черные, изъязвленные свином. Грудь нараспашку. Всегда веселый и никого не боится.

— Принесу тебе сегодня ночью литературу,— говорит он мне однажды.— Таковую уйму получил — спрятать некуда. Подержи у себя. Потом скажу, что дальше делать. И улицы укажу... где разбрасывать.

— А как ее прятать? Не ровен час — отец заметит.

— Не бойся. Отец у тебя сам рабочий. Не рассердится. Сунешь под кровать — и дело в шляпе. Кому ты известен, кто полезет проверять? А вот за мной так следят. И то я их, сукиных сынов, не опасуюсь. Вожу за нос почем зря...

В первый раз он мне показал, как распространять листовки. Мы вместе шли вдоль фабричных стен, по переулкам окраины. Вытаскивали из-за пазухи листовки и клали на ограды, на калитки, на лестницы, запихивали в ящики для писем.

— Уже все? — спросил Юозас.

— Одна штука осталась.

— Эх, да куда ж ее девать? А, тут полиция...

Взял, подошел и прилепил к дверям участка.

— Пусть помнят, что мы существуем. Поменьше будут нос задирать. Поостерегутся!

Он заразил и меня своей храбростью. На следующий раз я один отправился с листовками.

— Отлично раскидал,— похваливает Робеспьер.— Я нарочно шел в типографию по твоим улицам. Идет народ на работу и воззвания читает...

Теперь он уже полностью доверяет мне. Однажды в воскресенье зовет на рабочую массовку. На лодке переезжаем через реку. Проходим мимо Наполеоновской горы. Меня тянет туда взобраться — ягод пособирать.

— Когда-нибудь будем собирать ягодки послаще,— загадочно обещает он.— Пошли...

На берегу Еси — с полсотни рабочих. У одного в руках извивается гармошка.

— Видал, сколько нас?

— Много,— отвечаю я.

— А ты думал!.. Ясное дело — много. Никак им с нами не справиться. Настанет день — отправим всех толстопузых на гиль... Как ее там?

— На гильотину.

— Именно... Я с удовольствием собственными руками кое-кому голову чик-чик.

Он — крайний. Настоящий Робеспьер. Рыцарь революции. Герой. Революции нужны свои рыцари... свои герои...

— Хочешь поглядеть, как твою поэму печатают? — спрашивает Робеспьер.

— Конечно...

— Приходи в среду. Зайдем к печатникам...

...Типография маленькая, закопченная, тесная. Даже воздух желтый. То ли от заклеенных оконцев, сквозь которые, как влага, еле просачивается дневной свет, то ли от дыма. Грудь сдавила свинцовая пыль, трудно дышать.

Тут все делается вручную. У наборной кассы человек среднего роста — седоватый, в очках с металлическими оглоблями, в зубах деревянный мундштук.

Заглядывает наборщик поверх очков в исчерканную рукопись, потом машинально тянется к нужному отсеку кассы. У него пригоршни букв, а мне мерещится, что это подсолнушки. И когда он берет в рот некоторые букочки и держит их в губах, вся его работа напоминает мне лужганье мелких черных семечек.

— Знакомься, — говорит Юозас. — Это Казис. Семь лет отбарабанил за решеткой. Поэт. В тюрьме книгу стихов написал.

Печатник глядит на меня поверх очков. Добрые глаза.

— А это молодой автор поэмы.

Наборщик протягивает мне бурую от свинцовой пыли ладонь. Приятно пожать руку, которая терпеливо выполняет такую хорошую, нужную работу: как семечки из стакана, выбирает мелкие букочки, старательно лепит их одну к другой, пока не заспит, словно квадраты сотов... Благодарно жму жесткую ладонь бывшего узника.

— Хорошо ты, брат, поэму написал! — говорит он. — Можно только позавидовать. Во всей редакции только и разговору, что о ней.

— Ну, — выражает сомнение Робеспьер, — такая ли уж хорошая? Могла, пожалуй, быть и получше...

— А ты читал? — спрашивается печатник.

— Читал... Сочувствие беднякам. Соболезнование обиженным. Конечно, хорошо. Но разве это все?

— Это уже немало,— утверждает наборщик.— И что самое главное — красиво написано. Образы яркие...

Образы нужны,— уступает Робеспьер.— Но мысль... Мысль основная какая? Какие выводы? Куда зовет поэма?

— Куда зовет? — покачивает головой печатник.— Пальцем прямо тычет, указывает, где несправедливость, призывает на борьбу.

— Вот борьба, — подхватывает Робеспьер. — Самое первостатейное. Если человек знает, что не по совести с ним обращаются, а борьбы не ведет,—грош ему цена! Надо сопротивляться, бороться, пока не одолеем несправедливость, пока свое правое дело не отстоим. Разве не так?

— Конечно,— соглашается наборщик.— Но если все ясно написать, цензура не пропустит!

— И не надо. У цензоров милости не станем выпрашивать... Найдем, где печатать.

И лукаво подмигивает мне.

Через неделю покупаю в киоске молодежный журнал. Крупный заголовок: «Бездомные». Поэма.

Впервые появилось в печати мое крупное произведение. Мне стукнуло пятнадцать, я теперь уже поэт. А написать это побудил меня бездомный горемыка — «пещерный человек». Поэма немалая: идет в трех номерах, и читает ее рабочая окраина — там поэма рождена и посвящена тоже этой окраине.

Но Робеспьер разбередил мне сердце. Теперь очень хочется сочинить такие стихи, чтобы цензура не пропустила.

Пробую. Пишу одно стихотворение. Другое. Показываю Робеспьеру. Тот только нос морщит.

— Еще не то... Побольше пылу... и страсти... Тут нечего стесняться. Цензура не помешает!

Приношу ему новый опыт.

— Вот теперь совсем другое дело! Это пойдет. И мысли и настроения революционные. От поэзии, понимаешь ли, должно пахнуть гиль...

— Гильотиной,— подсказываю я.

— Именно гильотиной. И в стихах: чик — и диктатору голову с плеч!

Месяц спустя он достает из-за пазухи сложенную вчетверо подпольную молодежную газету. На первой странице — мое стихотворение. Подписано псевдонимом...

— Побольше таких давай!

И я учусь сочинять такие стихи, которые перечеркнул бы цензор красными чернилами крест-накрест — на манер тюремной решетки...

...Битый час топчусь у зеленых ворот и не решаюсь войти. Подойду, взгляну на двухэтажный дом в глубине двора, прикоснусь к калитке, но какая-то неведомая сила словно ухватит меня за локоть и тянет назад.

Вот бросило. Утираю лоб платком. Не бывало еще у меня такой тяжелой работы, даже когда мы с отцом сажали деревца, и надо было и яму глубокую выкопать и подсыпать туда толстый слой глины с навозом.

Конечно, случай из ряда вон выходящий: иду к своему любимому поэту, стихами которого зачитывался еще в хрестоматиях<sup>1</sup>.

Сам не знаю, как мне взбрело в голову взять несколько своих стихотворений и вместе с письмом отправить по почте.

И вот однажды заходит в класс директор гимназии собственной персоной, торжественно несет синий конверт.

— Ученик такой-то, это вам. От поэта...

Сердце учащенно забилось. На меня уставился весь класс. Я густо покраснел. Прочел краткое послание. Поэт за что-то благодарит, приглашает зайти в воскресенье перед обедом.

И я у зеленых ворот.

Не так-то просто вступить в обитель муз. Знаю: столько поэтов погибло от нужды и голода; их высмеивали, унижали, травили; вероломно убивали на дуэлях, в хоромах вельмож и темницах. Но цари и вельможи, их мучители, давно сгнили в могилах. А многие из этих творцов поэзии живы и поныне — смерть отступилась от них.

И я должен прийти к маститому! Правда, он чудит: именуется ветрогоном, легкодумом, но мне понятна его ирония: это увесистая оплеуха всем, кто из кожи лезет вон, чтобы изобразить из себя «великих деятелей». Они-де «серьезные», а поэт — легкомысленный проказник, королевский шут...

<sup>1</sup> Автор вспоминает тут об известном поэте Казисе Бинкисе (1893—1942), оказавшем большое влияние на многих молодых ливонских литераторов.

*Ветер юный — конь мой верный:  
В буре вольной друга чужь,  
Средь пустынь небес безмерных  
Обогнать весну хочу я;  
Лебединый,  
Журавлиный  
Путь избрав сквозь гром и тучи,  
Мчись, могучий!*

Меня захватывает совершенная новизна его творчества. Нет другого такого поэта! Он заговорил радостно, приподнято, по-весеннему. Пospорил со старцем Донелайтисом («Радости весны») и с монументальным Майронисом («Весенние голоса»)<sup>1</sup> и щедро кинул нам целую сотню весен! Этот «ветрогон» все переворачивает вверх дном. Подставляет ножку почтенной старинной рухляди и потешается. Он принес нам бездну светлого настроения, иронии, беззаботного смеха, уверенности в человеческих силах. Принес огромную, бодрящую, залитую солнцем весну: Я за него. — обеими руками!

Погрузившись в свои мысли, я и не заметил, как по цементной дорожке подбежала к калитке женщина. Постукивание каблучков пробуждает меня от раздумья.

— Разрешите поинтересоваться, молодой человек, кого вы тут уже битый час поджидаете?

Переминаюсь с ноги на ногу, не рискуя ответить.

— Видите ли... я... написал поэту...

— Так чего ж вы тут стоите? Пожалуйста, он давно уже вас ждет. Заметил через окно, велел позвать.

Слава богу, конец моим терзаниям. Конец? А может, только начало?

Но теперь ничего иного не остается, как следовать за дамой в косынке, накинутой на плечи.

На пороге — высокий, стройный человек в сером пиджаке. Сердце мое колотится.

— Чего вы там стояли? — протягивает он мне руку.

— Не решался...

Он от души смеется.

— Поэт должен обладать львиной решительностью! А то его любой котенок походя загрызет...

Куда мне до льва! Вот он — настоящий лев; даже голос гулкий, грозный, металлический.

<sup>1</sup> «Радости весны» — название первой части поэмы К. Донелайтиса «Времена года». «Весенние голоса» — сборник стихов Майрониса.



Заходим к нему в кабинет. Полки книг, картины...

— Присаживайтесь,— указывает он на мягкое кресло.

А сам не садится, рассказывает по комнате.

— Значит, пишете... Читал присланные вами стихи, Это все?

— Нет, не все...

Потом долгая беседа. Между признанным крупнейшим талантом и начинающим, зеленым юнцом. Все такие беседы на один манер: допрос и исповедь...

Но через час мы закадычные друзья. Ему нравится моя страстная увлеченность. («Одумайтесь, пока не поздно. Тяжелый путь! Это не игрушки. Легко можно головы лишиться...») — «Нет, я твердо решил стать поэтом!» — «Как хотите. Трудно вам придется...» — «Будь что будет!») А меня поражает его неистощимый пыл — где это видано, чтобы именитый литератор, которого даже в хрестоматиях печатают, усаживал перед собой школьника и несколько часов подряд вдалбливал в неразумную голову юнца такие мудрые вещи!

— Стихи еще слабые... Придется учиться!

Он задумывается.

— Да, учиться. Прежде всего много читать. Притом не учебники, не теорию и критику. Скучища... Читайте поэзию! Самих поэтов. Вот и вся наука...

...Кое-кого из классиков вы проходите в гимназии. Ну, а слышали что-нибудь о таких: Маяковский, Есенин, Блок, Верлен, Тувим, Рильке?

— Почти ничего...

— А надо! Классическая бронза необходима, но свой сплав нужно отливать из металла поновее — скажем, из Маяковского, Есенина, Тувима, Верхарна...

Знаю, в его рабочей комнате всегда толпятся поэты. Он с ними запросто — и кофе пьет, и беседует, и спорит. А то даже ссорится. Вот и сейчас его любимцы один за другим подходят, что-то нашептывают ему на ухо. И происходит внезапная метаморфоза. Стареющий поэт, у которого уже мешки под глазами, а между бровей — от лба до носа — глубокая складка, вдруг скидывает маску. И передо мной — сверстник. Во весь рост. Вечно юный и прекрасный («...иду—красивый, двадцатидвухлетний...»).

— Ко всем чертям эти напевные ритмы! — жестикуют лирует он. — Ритм нужен стальной, ритм машины, марширующей армий. Читал?

*Канителият стариков бригады  
Канитель одну и ту ж.  
Товарищи!  
На баррикады! —  
баррикады сердец и души.*

Эх, как звучит! Сталь. Обрати внимание — Маяковский! А это знаешь?

*Дождик мокрыми метлами чистит  
Ивняковый помет по лугам.  
Плюйся, ветер, охапками листьев —  
Я такой же, как ты, хулиган...*

Какая естественная, непринужденная, свободная исповедь! А что за образ осени — новый, неожиданный, самобытный! А инструментовка-то — музыкальное звучание, аллитерации о-о-о, а рисунок ритмический! Или же, обрати внимание, Блок...

И читает длинный отрывок из «Двенадцати»...

Он завораживает меня силой поэзии. Боюсь его — сущий колдун! Дрожь по спине пробегает. Волосы дыбом. Вскочить бы, удрать за дверь! Но я, словно присох к креслу, не могу подняться.

Сижу, уставившись в белое пятно — его лицо. Он стоит в углу, в тени, за раскинувшейся пальмой.

И вдруг замечаю: он декламирует, а лицо застывает. Теперь уж совсем окаменело. Передо мной мраморный бюст. *Cor cordium*. Сердце сердец. Поэт.

И мраморные уста поэта мне шепчут:

*La lune blanche  
Luit dans les bois ;  
De chaque branche  
Part une voix  
Sous la ramèe...  
O bien-aimée*

*И месяц белый  
В лесу горит,  
И зов несмелый  
С ветвей летит,  
Нас достигаая...  
О дорогая!*

*L'étang reilète,  
Profond miroir.  
La silhouette  
Du saule noir  
Où le vent pleure...  
Rèvons, c'est l'heure*

*Там пруд сверкнет  
(Зеркальность вод!).  
Он отражает  
Весь хоровод  
Кустов прибрежных.  
Час сказок нежных...*

— Это музыка Верлена, трогательная, приглушенная, как морозящий осенний дождик... Или Рильке — «Der Dichter»:

*Du entfernst dich von mir, du Stunde,  
Wunden schlägt mir dein Flügelschlag.  
Allein: was soll ich mit meinem Munde?  
mit meiner Nacht? mit meinem Tag?*

*Ich habe keine Geliebte, kein Haus,  
keine Stelle, auf der ich lebe.  
Alle Dinge, an die ich mich gebe,  
werden reich und geben mich aus.*

*Миг, ты ранишь меня, улетаю,  
Этих крыльев пагубна тень.  
И замкнулись уста. Я не знаю,  
Что мне ночь теперь, что , не день.*

*Что любовь, что дом, что уют?  
Я один перед целым светом,  
И себя я дарю предметам,  
И они меня вновь раздают.*

Перевод с немецкого Т. СИЛЬМАН

По лицу поэта проскальзывает мягкая, детская, аполонова улыбка. В голосе тувнмовские перезвоны:

*Cieplutko w moim pokoiku.  
Milutko, jasno i wesoło.  
Chcę Cię abdarzyć najlaskawiej  
Sentymentalną epistolą.*

*Spod abazuru zielonego  
Przyćmionej lampy blask przyświeca.  
Samotnie siedzę, gorzki wdowiec,  
W miękkim fotelu koło pieca...*

*Тепло здесь, тихо и уютно...  
И вдруг рождается желание  
Сложить тебе, былой, далекой,  
Сентиментальное послание.*

*Струится из-под абажура,  
Глаза лаская, свет зеленый,  
В глубоком кресле у камина  
Сижу я, в мысли погруженный.*

Перевод с польского М. ЖИВОВА

— Поэзия не должна быть монотонной. В ней нужны тона и полутона, разнообразнейшие краски и оттенки...

В тени остается белый мраморный бюст поэта. Только губы шевелятся, и из них падают весомые, зрелые слова...

— Уж я пойду,— встаю я, наконец, напрягая все силы.— Очень вам признателен...

— Заходи еще. Кстати, хочу тебе подарить книжку. Гафиз. В немецком переводе. Изумительный персидский поэт. Поздно взялся за перо... А писал пламенно, как юноша...

Он кладет на мою ладонь тоненький томик в красной шелковой обложке.

Выхожу. В лицо плеснуло порывом весеннего воздуха. Будто обдало холодной водой.

Только теперь ощущаю, как я разгорячен. Утираю платком взмокший лоб, лицо.

Открываю калитку. Не могу идти: ноги подкашиваются. Совсем захмелел. Поэт, не скупясь, осыпал меня подлинными перлами. Покидаю его дом, а на моем сердце еще грустнее и страшнее, чем когда я переступал этот порог.

Меня победила, подавила и повергла в прах Великая Поэзия...

По аллее — сплошной поток<sup>1</sup>. Не видывала она еще такого наплыва людей. Скептику этот паводок толпы, наверно, покажется мутным. Но внешнее половодье, ломающее льды, всегда мутно. Как комок боли и ненависти в груди обездоленного. В неделимом сплаве слились пролетарии всех окраин города — парии, рабы, униженные и оскорбленные. В единой толпе сплотились суровые, грозные лица, железные мускулы. С самого утра к центру города устремлялись человеческие ручейки. Сбежали, сгрудились в одном течении все ручьи и речки. И теперь волнуется, кипит, бушует широкий и могучий внешний паводок во имя правды, воли и хлеба.

Да, они из трущоб. Да, они из пещер. Да, они со дна. Со дна поднимается человек и жадным взором ищет солнце. Тянется руками к лучам.

<sup>1</sup> В 1936 году сметоновское правительство расстреляло демонстрацию, шедшую за гробом трагически погибшего рабочего. В Литве была объявлена всеобщая забастовка.

Шагают покрытые копотью металлисты и ткачихи с увядшими лицами. Выбеленные мукой худые пекари и сапожники в дырявых башмаках. Забрызганные цементом и известью каменщики, маляры. Кое-где проплывает студенческая шапочка. Идут матери с худосочными младенцами.

И в пламени их глаз сверкает все та же ненависть и надежда восставших под водительством Спартака рабов, санкюлотов, воодушевляемых Бабефом, коммунаров Парижа. И горят на их лицах отблески зарниц Октября.

— Стыд-то какой... — лопочет дрожащими губами торгаш, выскочивший из своей лавки, чтобы поглазеть на демонстрацию.

Ложь! Нет здесь ничего стыдного. Стыдно милостыню просить. Стыдно тем, кто не дает людям воли и хлеба. И вовсе не стыдно своею собственной рукой бороться за право на хлеб насущный. За право трудиться и совершенствовать этот мир.

Пусть горят и сгорят со стыда те, кто лишил человека этих прав, воли и хлеба!

Свобода — это не абстракция. Человек только тогда свободен, когда может осуществить хотя бы долю своих творческих замыслов, выразить и утвердить себя как человека.

(Никогда не жалел я, что эта железная логика очень рано, еще в юности, привела меня на улицы, на демонстрации, на баррикады, на борьбу во имя человека. Элементарная, азбучная истина: человек имеет право на пищу, работу и творчество. Коротко и ясно. Вот и все.)

Труженики хоронили своего товарища. Рабочий с нашей окраины застрелил владельца лесопильного завода и сам пустил себе пулю в лоб.

«Седой, печальный, сидит дед Шимас на плоту, пыхтя трубкой, и рассказывает мне:

— Забастовала лесопилка. Заработки грошовые. Рабочие требуют прибавки. Собрались у конторы. Выходит сам хозяин. А они голодные. Оборванные... Голодный человек — что зверь. Такого не трожь. Хозяин-то раскормленный, круглопузый, чисто выбрит. Скалит зубы; измывается: «Не пойдете на работу — других сыщу. Ма-

ло ли на свете голодранцев?» Тогда тот рабочий подошел к хозяйчику. Выхватил пистолет, на месте уложил. Потом себе пистолет к виску и сам рядом свалился. Оставил жену, двоих детишек. Горе-то...

Шимас качает головой, сосет трубку.

— Давно я говорю: так уж свет устроен — на каждое дерево пила припасена, на каждого человека свинец отлит. Хорошо, коли мимо пронесет...

Зная, какие настроения на окраинах, полиция упрятала труп рабочего в прозекториум медицинского факультета. Чтобы похоронить тайком.

Рабочие узнали. Собралась толпа. Ворвалась в университетское здание, забрала тело товарища.

Руки у металлистов — железо, руки строителей — гранит! Высоко подняв, несут гроб, лица окаменели. Словно грозная туча нависла над гробом. Столкнется с враждебной тучей, скрестятся молнии — грянет гром.

Со вторых, третьих этажей на головы людей валяются кирпичи, куски железа, горшки от цветов. Это богатеи стараются. Стоят на балконах с ехидными ухмылками. Но понимают: и им не избежать той же участи, если это грозное половодье разольется еще шире.

Не остановишь такой поток скинутым вазончиком. Шумит, клокочет могучий, стремительный паводок.

Надрываются телефоны: «Господин министр, почему не принимаете мер? Нужны пули, пули, пули!»

Патроны уже в дулах карабинов. Ждут приказа. Тогда острое жало куснет капсуль. И свинец пчелиным роем облепит толпу.

Приказ получен. Один за другим подкатывают грузовики, тормозят, откидывают борта, из кузова сыплются синые полицейские мундиры.

Рявкают карабины. Залп...

Людской поток забурился. Крики женщин... Асфальт окрасился кровью. Гроб заколебался, выскользнул. Но его подхватывают другие железные ладони. И он снова выпрямляется, возносится над лесом рук.

Снова рявкают карабины. Залп...

Мы в этой погребальной процессии, наверно, самые юные. Значит, нам тут быть и самыми ловкими. Как Гаврош.

Подбираем с асфальта куски железа. Те, которыми в нас швыряли с балконов. Отдираем плиты с тротуара. Проворно пробираемся сквозь толпу. Потом подбегаем к синему мундиру и... Что поделать, такова логика борьбы, логика самосохранения. За свинцовый дождь расквитаться хотя бы камнем, хотя бы кирпичом, хотя бы куском железа, и то уже кое-что...

Синие мундиры защищаются, закрывают руками лица. Ага, отведайте и наших гостинцев. Натей! Получайте! Еще раз! Еще...

Рявкают карабины.

Удар — и я валюсь навзничь. Пытаюсь приподняться, сесть. Мимо кто-то мчится вихрем. Гудит асфальт. Поднимаю голову. По аллее прямо на меня скачут три всадника. Синие мундиры. Кивера с шишаками. В руках сабли. Лошади фыркают, роняют белую пену, не желают топтать людей. Но всадники острыми шпорами колют им бока. Кони ржут, взвиваются на дыбы, трясут гривой, бьют копытами о черный асфальт...

Три всадника, замахнувшись зловещими лучами, мчатся прямо на меня. Боюсь их... Пытаюсь встать. Но не могу. Болит нога. Опять опускаюсь. Пробую ползти к бульвару. Уже поздно...

Гудит подо мной асфальт. Сверху проносится страшный вихрь. Все кругом чернеет. Где моя деревянная башня? Где моя золотая скрипка? Где ты, моя русалка? Моя прекрасная Лорелей? Где ты, моя Поэзия?

Вихрь проносится со свистом, раскидывает, раздирает листы стихов. Клочки бумаги поднимаются в воздух и парят, как белые голуби...

...Где ты, моя прекрасная Иллюзия? Три всадника топчут, топчут, топчут копытами...

Прихожу в себя...

Не могу пошевелить ногой. В голове гудит.

Но ползу к бульвару. Опираюсь рукой о ствол каштана. Встаю. Озираюсь...

Лицо мокрое. Провожу ладонью — кровь...

Глубоко в груди кто-то будто дергает меня за веревочку. Раскидываю руки. Окровавленные губы раскрываются, в них, словно солнечный зайчик, сверкает улыбка. Жизнь... Борьба... Хорошо!

# СЕМЕЙНЫЕ ПОРТРЕТЫ

...Пыль стерев с полотен  
и окладов,  
дверь напротив  
обнимаю взглядом...

## ПОРТРЕТ МАТЕРИ

1

— ...Во имя бога, отца, и сына,  
и духа святого... Амен... —

Во имя отца и меня, сына,  
что здесь на земле, под руками,  
мать кланяется

и день открывает.  
один из листков желтоватых  
в молитвеннике...

Молока отливает  
и жарит оладьи  
на завтрак...

А утро встает, и поэтому тает  
туман беловатый над садом.  
И фабрика  
черную на небе ставит  
трубу вопросительным знаком.

Надув свои алые щеки, светило  
дерет себе горло гудками.  
И птиц приманило, себя осенило,  
как пеною, голубями.



Зевает окраина, стронута с места  
нагайкою —

черной трубою.

Шагает по улицам

рослый отец мой

и сына ведет за собою...

А мать розоватым платком повязалась

и, плача,

глядит на дорогу.

Она провожает нас,

ей показалось:

иду за отцом —

на Голгофу.

...Затем ли на землю спустила я сына,  
чтоб крест тяжкий нес вслед за нами!!

— ...Во имя бога, отца, и сына,

и духа святого. Амен...

## 2

Каморка невелика,

не больше строфы ямбической.

Но было наверняка

величие в ней космическое.

Здесь звездная благодать,

здесь, мирно склонившись в кресле,

мне вяжет седая мать

носки и бормочет песни.

Как звезды, дрожат слегка

глаза ее удивленные,

и волосы-облака

над ней плывут, убеленные.

Большой клубок шерстяной

лежит возле туфли матери

и вроде, как шар земной,

вращается, нить разматывая.

**И как бы ни был широк  
простор мироздания, все же  
мать — солнце! И, видит бог,  
без солнца мир быть не может.**

**С ямбическую строфу  
каморка; и мама, знаю,  
невелика наяву,  
но больше, чем мироздание.**

3

**Мама,**

ты дала мне два ока, два своих звездных ока,  
чтобы увидел за окнами землю, солнце и об-  
лако, голубя, белые вишни, понял всю  
радость жизни; но отнимают, мама, тянут из  
рук упрямо землю, солнце и небо, чтобы  
звучало нелепо первое слово жизни «жить»,  
чтобы стало сразу чуждым для слуха, глаза...  
зримое стало незримым, мир предо мной  
широкий, что же не видят мира два моих  
звездных ока?

**Мама,**

ты дала мне две длани, свои ветвистые длани,  
чтобы розы сажали, чтоб из камня и стали я  
созидал упрямо чуда труда и искусства; только  
сегодня, мама, длани сложил я грустно, с глав-  
ной сошел дороги, стал пылинкой убогой, вет-  
ром любим гонимый... длани, что делать с ни-  
ми... длани, что делать с вами... вы вцепились  
вьонками в жизнь, как в скалу; две длани жизнь  
накрывают волнами; куда же девать мне длани,  
две мускулистые длани?

**Мама,**

ты дала мне ноги, быстрые ходкие ноги, и, слов-  
но корни, ноги тянут из почвы соки; они креп-  
ки, мускулисты, для исполина годны; несут по  
полям и смело в гору вздымают здорово квад-  
рат моего тела и круглую мою голову; но теперь  
мне, мать, колени велют сгибать, и губы, кривясь











Лирические этюды.









Лирические этюды.

от гнева, просят краюху хлеба; но ничьему приказу не покорятся ноги и не споткнутся ни разу и не сойдут с дороги; что делать, если чудесны ноги мои — в мгновение выпрямляются, если ставят их на колени?

**Мама,**

ты дала мне сердце, свое алое сердце; в него, как в сосуд из глины, соками солнца полный, сладости полный любовной, з сердце — в алость рубина, мама, ты жизнь вселила; а теперь ты в него поставила, как ставят цветы в воду, — замученного властелина, Прометея, невольника мира — долг и творческую свободу вложила в сосуд — икс: тайну, загадку Сфинкса... и сердце разрезано болью, боль переполняет грудь, ветвится по жилам в теле, сгибает руки и ноги, и я, властелин, с опаской превращаюсь в раба, склоняюсь пред этим иксом, в чьей славе и в чьем величьи исчезну, точно пылинка...

**— А кто мне подскажет средство  
невольника выгнать из сердца,  
мама!..**

**4**

**Кто мне отдаст очи?**

**Кто мне отдаст длани?**

**Кто мне отдаст ноги!**

**Кто мне отдаст сердце!**

**Я хочу иметь очи.**

**Я хочу иметь длани.**

**Я хочу иметь ноги.**

**Я хочу иметь сердце.**

**Возвратите свободу, с которой пришел на землю,  
заберите все лишнее, чем меня наградили,  
возвратите то, что забрали, — хочу  
быть самим собой.**





Дятла он мне втискивает в руку.

— Ну, вколачивай! —

твердит он мне,

и рука,

поняв металл по звуку,

верно закаляется в огне.

Крутит мой отец свой ус овсяный,

зорко сквозь зеленые очки

смотрит

на работу мальчугана,

на нетвердый ход его руки.

А на лбу натруженном блистают

пот и копоть,

едко пахнет гарь,

а с усов отца

слова слетают:

— Ну, ударь! —

твердит отец. —

Ударь!

2

Выпрямить спешит рука отцова

руку сына,

что, крестьясь, застыла.

Слово «труд» —

священнейшее слово,

есть в нем выпрямляющая сила.

За ухо он карандаш запрятал,

над досками он в хлеву хлопочет,

сквозь усы

процеживая внятно:

скрипку, мол-де, смастерить мне хочет.

Добр отец.

Радущьем озарен.

Звонкую пилу дает мне он.

Стружки. Я вхожу в них по колено.

Мнится: это волн балтийских пена.

По волнам рубанок я пускаю,  
на доске пахучей —

пароходик.

Если, неумелый, застреваю —  
мой отец на выручку приходит.

Словно Страдивариус,

зазывно

пеньем наполняется доска...

Верно: прежде согнутая,

дивно

выпрямляется моя рука.

Карандаш отец берет.

Молчанье.

Метит, чертит, пишет — неспроста.

Вздыбились усы —

два восклицанья,

междометья рвутся изо рта.

(...Отец долго чертил, вырезал, тесал, сколачивал, шлифовал, клеил, сцеплял, сушил, полировал и, наконец, смастерил сверкающую лаком красавицу скрипку.

Смастерил скрипку, провел пальцем по желтоватым овсяным усам, ласково ее вручил мне, но добавил при этом, как мне тогда показалось, сердито: «Играй, да гляди, чтоб рука стала твердой, а сердце смягчилось».

Струн я коснулся тонкими пальцами, и скрипка внезапно в руках моих звонко запела, как порой запекает в руках моих голосом, полным мольбы, пойманная птица лесная...

Испугался я такой звонкой голосистости деревянной птицы, выпустил ее из рук, и она, нежданно взлетев, затрепетала в воздухе своими изжелта-бурыми глянцевоцветными крыльями.

Счастье, что отец подхватил ее своей верной железной рукой, — не то бы она за окно упорхнула, — подсунул сжатые ее крылья мне под подбородок и пригрозил сердито: «Говорю тебе — играй...»

Деревянная звонкая птица четырьмя голосами запела, но я был еще так мал, очень мал, и не мог одолеть четырех ее струн.

Не мог охватить четырех ее струн и, однако ж, играл, и деревянная птица заливалась тончайшим голосом — ведь играл я сперва на одной, самой тонкой струне.

Печально и скорбно, тоскливо и жалобно в руках моих деревянная птица, трепеща самой тонкой струною, рыдала, как ветер в трубе, стрекотала сверчком на печи.

Рыдала, пока не растрогала сердце отцово: он вернулся однажды вечером, подвыпивший, разволнованный до слез, он рванул деревянную птицу из моих рук...

Деревянная птица, оказавшись в железных тисках отцовых рук, закричала не своим голосом и безнадежно раскинула свои изжелта-бурые крылья.

Разозленный отец грубо свернул длинную, дивную, лебединую шею деревянной птицы, треснул ею об пол и сломал сверкающие крылья ее...

Моя единственная тончайшая струна оборвалась и повисла, взвизгнув жалобно, трепетно и — умерла.

Сказал отец: «Музыкантом ты не будешь и не надо, только сердце зря издержишь...»

Долго-долго я в снах своих видел голосистую, звонкую, солнцем сверкавшую деревянную птицу и слышал ее жалобу...)

### 3

Совестью своей отец снедаем:

в лес идем,

в колючие кусты,

грушу дикую мы прививаем,

рвем для нашей матери цветы.



— А когда умру я, суждено мне  
под корнями этими лежать,  
ты присядешь здесь  
в тени укромной,  
сможешь с этих веток плод сорвать.

Грушу мне к чему?  
С тоскою зоркой  
я в кусты ныряю —  
здесь мой дом,  
нахожу гнездо щегла с четверкой  
теплых голубых яичек в нем.

Осенью отдать спешим мы саду  
груши с яблоньками —  
целый строй.

В руки мне отец сует лопату:  
— На, копай!  
Поглубже, слышишь, рой!

Я для деревца копаю яму.  
Словно солнца луч —  
моя рука.

Одевает деревце ветвями  
голову мою легко, слегка.

Моему отцу даны судьбою  
редкие веселые часы:  
под его усами —  
гром прибора,  
знаки восклицания — усы.

(...Четыре струны было у скрипки моей, но разбилась она, и мне уже больше на них не играть...

Однако я духом не пал: год, он тоже имеет четыре струны: весну, лето, осень, зиму...

И теперь, лишенный скрипки, стал играть я на четырех струнах времен года...

Прикасаюсь к тончайшей струне весны, и — ах! — мгновенно на белом прибрежном песке, как печатная буква, след детской ножки остался, и тогда-то идет серебряный дождь: что ни капля — улейка...

Прикасаюсь я ко второй струне — лету, и — ах! — томительно-сладко пахнет красной малиною, а сосны бредут исполинами в белесом, густом океане тумана, бредут на песчаную гору, чтоб выручить девочку — ту, что уснула в гробу...

Прикасаюсь к третьей — осенней — струне, и — ах! — чудесно в орешнике откликается он, ксилофон рыжих сухих орешников, а ветер, словно красная белочка, бегаёт шустро — вверх и вниз — по стволам и прыгает с ветки на ветку...

Прикасаюсь к четвертой — зимней — струне, и — ах! — как хлестко режут белую ткань холста, вздымая облако снежной пыли, лыжи и саночки, а красногрудые снегири, как гроздь красных ягод, на кустах повисают...

Я играю, играю на всех четырех струнах времени года одну полнозвучную вечную симфонию, имя которой — Время...)

## 4

Пел отец,  
                                 работал,  
 ждал он мудро  
 теплого весеннего денька,  
 чтоб гудок,  
                                 зовущий каждым утром,  
 вырвался из труб под облака.  
 Восклицательные знаки — трубы  
 в небо шли  
                                 на песенном крыле,  
 а усы, налезшие на губы,  
 провисали  
                                 горестно к земле.  
 Груша привилась и повзрослела,  
 ветки книзу виснут от плодов.  
 Ощетинился отец  
                                 и смело  
 с палкой из дому  
                                 и — был таков.

В сад бредет он  
   в поисках ответа,  
 удалось (иль нет!)  
   наверняка  
 руку сына выпрямить,  
   и эта  
 будет ли ему служить рука!

(...И не только год имеет четыре струны времени, вся жизнь человека — это тоже четыре струны...)

...Сколько дней,  
   как отпылали ленты  
 на тяжелых траурных венках...  
 Груша поднялась в наряде летнем,  
 зелень листьев на ее ветвях.  
 И еще со мной,  
   при мне осталась  
 выпрямленная отцом рука,  
 что в работу —  
   в дерево —  
   вонзалась,  
 как в луну ракета  
   на века...

## ПОРТРЕТ СЕСТРЫ

С белым голубем схожа глазами.  
 Ты горло косой из льна  
 обмотаешь и вечерами  
 душишь юные дни у окна.

1

...Опьяняет душистый горошек.  
 Обстригают кузнечики тишь.  
 Вдоль разбитых бредут дорожек,  
 как лунатики, спины крыш.

И костлявые избы поселка  
 тонут в омуте серебра.

Закутавшись в лунном шелке,  
белеет в окне сестра.

Лунный свет, как фата, колеблется  
на девчачьих ее плечах...  
Сестра говорит

месяцу:

— Облегчи мне мою печаль...

А глаза голубиным подобны,  
такие праздничным днем  
сияли особенно скорбно  
в костеле над алтарем.

Из окна,

как с квадрата картины, —  
взгляд сестры их до дна испил —  
каплют краски ультрамарина.  
И, как крупные капли чернил  
остаются на промокашке,  
так остались

в ее очах

Рафаэлены эти краски.  
Жаль сестру, сидит при свечах...  
И сватов не видно, не слышно,  
счастья наобещали зря...  
Не придется

белою вишней.

зацвести ей у алтаря!..

Перелистывает страницы.  
И грусны над книгой глаза...  
Вижу:

вишне не распуститься,  
эта вишня промерзла вся...  
И, когда избенки поселка  
тонут в омуте серебра,  
закутавшись в лунном шелке,  
белеет в окне сестра.

Лунный свет, как фата, колеблется  
на плечах мадонны моей.  
...Друг ее единственный — месяц —  
повесился меж ветвей.

2

И, наверное, этот месяц  
заменить ей обязан я.  
Я сумею. Давно предместья  
называют луной меня.  
Верно, в профиле что-то общее:  
подбородок мой  
  загнут вверх,  
журавлиная шея тощая,  
и кадык у меня —  
  с орех...

Я — луна. А сестра любимая  
все читает, читает всерьез  
Льва Толстого  
  [он толст, как библия],  
до него-то я не дорос.

Но так славно к ней прислониться,  
так уютно, а вечер тих.  
И все гладит моя сестрица:  
лунный свет на прядях моих.

Я, как месяц,  
  гляжу в большие,  
в голубиные эти глаза.  
Словно звезды, из них голубые  
падают за слезой слеза.

3

...А в саду нашем юные груши  
стали выше меня везде...  
Сантиментами гешат душу,  
мне читают Альфонса Доде  
«La petite chose»...

  Видно, так решили:  
мол, малыш, невелик на вид.  
Что ж, в большой мировой машине  
я действительно малый винт.

И не тверд еще головою,  
невелик ее механизм,  
и рассудку не сдаст без боя  
в ней позиции агавизм.

## 4

Но сестре терпенья хватает.  
 Брат малыш мечтает взасос...  
 Снегом вишенье облетает...  
 Бог свидетель — растёт «питт шоз».

И растут головы-механизмы,  
 аппараты ее систем,  
 и изба становится низкой,  
 а семейный круг — все тесней.

И пытается вновь сестрица  
 регулировать «малый винт»,  
 но мальцу в избе не сидится,  
 все он вырваться норовит.

Видно, вместо любви сыновней  
 он исполнен иной любви:  
 прокламации  
     цвета крови  
 не выходят  
     из головы...

Вечерами молится часто  
 сестра за брата: ведь брат  
 воевать пошел против власти...  
 А вдруг не придет назад!..

А вдруг упадет, юный,  
 не испивши сока берез!..  
 И пологом отблеск лунный  
 коснется его волос...

...Спит на крышах свет месяца слабы  
 ...Точно в раме, в окне стоят  
 два романтика —  
     две сомнамбулы;  
 будто впрямь  $(a + b)^2$ ...

...С белым голубем схожа глазами.  
 Свое горло косой из льна  
 обмотает и вечерами  
 душит юные дни у окна.



... Он Мефистофель.  
Я Фауст.

Сегодня ночью мы подпишем договор.

Бредем оба легкой, небрежной походкой, чуть захмелев от студенческого бокала пива с горохом. Бредем по кривым и косым, но милым сердцу улочкам Старого города, где шибает в нос плесенью, крысами, селедкой и нафталином.

Над Неманом поднялся туман. За его пеленой еле мерцают фонари переулков. Из XX века мы держим путь в средневековье.

Со стороны украдкой поглядываю на попутчика. А он — на меня. Наверно, друг другу мы кажемся чуть-чуть смешными.

У моего спутника и вправду мефистофельский профиль: черные как смоль кудри, длинный, загнутый книзу горбатый нос и задранный вверх подбородок. А между ними — узкая ироническая прорезь рта. Он студент-химик, но еще посещает драматическую студию и пописывает в гоголевском духе хлесткие сатирические рассказы.

У меня, должно быть, тоже довольно потешный вид: пушистая прядь волос, вздернутый нос, выступающий

длинный подбородок, длинная тощая шея и беззаботные голубые глаза. Я тоже студент, юрист-первокурсник, студии не посещаю, но сочиняю стихи. У него черная бархатная студенческая шапочка, у меня белая бархатная, с зеленой каймой:

Он еще и Пан Тадеуш. В гимназии мы увлекались поэмой великого Мицкевича. И прозвали этим именем моего друга — юного революционера, протестанта.

Мы с ним старые приятели. Подружились еще в школьные времена. Только он окончил на три года раньше, а я в этом году. Знаю я его, по общепринятому выражению, как облупленного. А он меня. Мне понятно всякое биение его сердца. А ему моего. И сегодня мы кровью сердца скрепим вечный договор.

Подписание договора состоится в полночь, в таинственной мгле, среди покосившихся архаических стен Старого города.

Происходит следующий диалог.

ОН (Мефистофель).

*In diesem Sinne kannst du's wagen.  
Verbinde dich; du sollst in diesen Tagen  
Mit Freuden meine Künste sehn:  
Ich gebe' dir, was noch kein Mensch gesehen.*

*Тем легче будет при таком воззренье  
Тебе войти со мною в соглашение,  
За это положишься на мой обет,  
Я дам тебе, чего не видел свет.*

Я (Фауст).

*Was willst du armer Teufel geben?  
Ward eines Menschen Geist in seinem hohen Streben  
Von deinesgleichen je gefasst?*

*Что можешь ты пообещать, бедняга?  
Вам, близоруким, непонятна суть  
Стремлений к ускользящему благу...*

Подходим к Ауэрбахову погребку — грязной корчме старогородских подонков. Уже полночь, и двери закрыты. Но изнутри доносятся галдеж, хохот, похотливые запевки пьяных девок и сутенеров.



ОН (Мефистофель).

*Ich muss dich nun vor allen Dingen  
In lustige Gesellschaft bringen...*

*Мы входим, видишь, первым делом  
В кабак к гулякам очумелым...*

Я (Фауст), иронически кланяясь запертой двери притона.

*Seid uns gegrüsst, ihr Herrnt!*

*...Здорово, господа!*

ОН (Мефистофель).

*Es war einmal ein König  
Der hatt' einen grossen Floh...*

*Жил-был король державный  
С любимицей блохой.*

Попадаем в совершенно темную, ничем не освещенную подворотню. Кухня ведьмы! Мефистофель достает карманное зеркальце и протягивает мне. В черной ведьмовской берлоге оно источает таинственный трепетный свет. Заглядываю в него — о господи! — красавица...

Я (Фауст).

*Was seh' ich? Welch ein himmlisch Bild  
Zeigt sich in diesem Zauberspiegell  
O Liebe, leihe mir den schnellsten deiner Flügel,  
Und führe mich in ihr Gefild...*

*Кто этот облик неземной  
Волшебным зеркалом наводит?  
Любовь, слетай туда со мной,  
Откуда этот блеск исходит...*

(Я действительно словно вижу свою Маргариту. Русые косы и большие глаза синей птицы. Она еще гимназистка, окончит только через три года. Пока мы учились вместе, образ ее не очень преследовал меня. Теперь встречаемся куда реже. Потому все чаще передо мной встает ее лицо. Заметив мое замешательство, Мефистофель берет меня под руку и выводит из темного ведьминогo логова.)

Идем по пустынной набережной. Неман сверкает продолговатыми бликами фонарей и шелестит, будто

черный бархат. Нас торжественно встречает каркас моста, укутанный в белесый ночной туман. Сквозь густой полог — высоко, как звезды, мерцают маленькие робкие фонари. Это Алексотас<sup>1</sup>. Но сегодня да будет он нашим Гарцем, нашим Брокеном. Стало быть, Вальпургиева ночь!

На мосту.

ОН (Мефистофель).

*Verlangst du nicht nach einem Besenstiele?  
Ich wünsche nur den allerderbsten Bock.  
Auf diesem Weg sind wir noch weit vom Ziele.*

*Ты б не прельстился добрым  
метловищем?  
А я бы прокатился на козле.  
Нам далеко, и мы еще порыщем.*

Я (Фауст).

*So lang ich mir noch frisch auf meinen Beinen fühle,  
Genügt mir dieser Knotenstock.  
Was hilf's dass man den Weg verkürzt! —  
Im Labyrinth der Täler hinzuschleichen,  
Dann diesen Felsen zu ersteigen,  
Von dem der Quell sich ewig sprudelnd stürzt,  
Das ist die Lust, die solche Pfade würtzt!*

*Покамест ноги носят по земле,  
Еще я пешеход неутомимый.  
Уменьшив путь, пропустим много миль.  
В самой прогулке радость ходоку.  
Я для того пошел пешком по скалам  
И в руки взял дорожную клюку,  
Чтобы внимать лавинам и обвалам.*

Я и ОН (Фауст, Мефистофель).

*In die Traum- und Zaubersphäre  
Sind wir, scheint es, eingegangen.  
Führ' uns gut und mach die Ehre,  
Das wir vorwärts bald gelangen.  
In den weiten, öden Räumen.*

*Путь лежит по плоскогорью,  
Нас встречает неизвестность.  
Это край фантазмагорий,  
Очарованная местность.  
Глубже в горы, глубже в горы!*

Гёте. Фауст.  
Перевод Б. ПАСТЕРНАКА

<sup>1</sup> Предместье Каунаса на высоком берегу Немана.

По Алексотскому мосту сквозь гущу молочного тумана, прижавшись плечом к плечу, бредут две черные тени — эпикуреец Фауст и насмешливый скептик Мефистофель. Договор подписан кровью сердца. Теперь Мефистофелю остается только выполнить этот договор, и я попадаю в «Traum- und Zaubersphäre».

Старый город спит. Выставив из тьмы морды монстров, утопая по самую шею в туманном ложе, дремлет красная готика костела Витаутаса. Часы на Ратуше неторопливо вызывают средневековое время...

...Мефистофель — надежный компаньон. Договор соблюдается безупречно. Его младшая сестра — в одном классе с моей Маргаритой. Почта действует бесперебойно, письма из рук в руки доходят с точностью до одних суток.

...По тропинке старого парка, на Зеленой горе — Жалаякальнисе, идут Маргарита и Фауст. Теплый осенний вечер. Маргарита в летнем синем жакетике. Фауст сегодня повязал галстук, небрежно сдвинул на затылок белую студенческую шапочку...

Словно нарочно, как и подобает в таких случаях, разрезая острым лезвием узловатые сучья дубов, в парк wpłyвает круг луны. Шелестят пожелтевшие осины и старые липы. Дубы еще держатся героически. Зеленеют, стоят, не шелохнутся, надежно укрывают нас черными тенями. И если мы поцелуемся, никто этого не заметит, разве что застрявший в ветвях месяц. И белая скамейка под дубом соблазнительно манит в свои объятия. Маргарита моложе меня, но по-женски хитрее. Читает мои мысли и обороняется от искушений. Уводит меня к аллеям, где горят фонари. Выходим на площадку.

Перед нами распахивается панорама любимого города. Маргарита озябла. Она позволяет себе рискованный шаг — берет под руку своего спутника. И в такой позе, словно статуи, застывают два юных существа, зачарованных мечтами. Маргарита и Фауст. А внизу, будто гигантский костер, пламенея горящими угольями фонарей, гудит город. Фауст протягивает руку к морю огней и мечтательно, как бы про себя произносит:

— Остановись, мгновенье, ты прекрасно!

Маргарита недовольна:

— Не понимаю, чего ты целый вечер заладил этого

Гёте! Прочел бы лучше свои стихи, которых я еще не слышала.

Внутренне улыбаюсь. Конечно, ей не понять, почему я декламирую Гёте. Но я-то сам отлично знаю почему. Незримо сопутствующий нам лукавый Мефистофель ловко сблизил наши плечи (она тесно прижалась ко мне!) и увел в «Traum- und Zaubersphäre».

Может, еще не окончательно увел. Но уведет!  
— Остановись, мгновенье...

А мгновенье не хочет останавливаться.

— Что произошло в городе?<sup>1</sup>

На гору поднимаются и захлестывают влюбленных клики ликующей толпы. Потом скатываются вниз, минутку отхлынули, и опять, разбушевавшись во всю мощь, заливают весь старый парк. Даже деревья вздрагивают и пугливо шепчутся, словно спрашивая друг у друга: «Что? Что? Что?»

А призывные волны одна за другой взметаются на гору, захлестывают два юных существа морем звуков.

— Бежим... Я должен там быть... Демонстрация!

Тропинки парка, извиваясь по склону, сбегают ступеньками вниз. Фауст и Маргарита, оба молодые и быстрые, обнявшись, плавно, словно птицы в парении, спускаются по ним в город.

Мгновенье (теперь уже подлинное!) — и оба, он и она, оказываются у подножия горы. Здесь волнами ходит, тревожно кипит толпа. Больше всего рабочих, есть и служащие. Кто-то, взобравшись на возвышение, произносит речь. Он и она стоят слишком далеко от оратора. Доносятся только отдельные слова, обрывки фраз. Надо подойти поближе!

Обходя толпу, они пытаются пробраться к оратору с той стороны, где поменьше народа.

— Голос, как у нашей Казите,— говорит Маргарита.

На одном нелегальном собрании она слушала выступление подпольщика, называвшегося этим женским именем.

— И мне так кажется,— соглашается взволнованный Фауст.

<sup>1</sup> В октябре 1939 года СССР передал Литве ее древнюю столицу Вильнюс, отторгнутую у нее в 1920 году белополяками. В связи с этим событием в Каунасе происходили восторженные демонстрации трудящихся.

Внезапно Фауста сжимают железные тиски. Трое в штатском хватают его, вытаскивают из толпы, подальше от людей. Все ясно. Их привлекла особая приманка — белая студенческая шапочка. Всех рабочих не переловишь. А студента надо проверить! И теперь он, как утлая лодочка, оторванная от острова, плывет куда-то в противоположную сторону. Что же будет?

Но рабочие не дадут в обиду студента, своего неопытного, необстрелянного товарища. Ведь с ними осталась еще и Маргарита, А она тоже кое на что способна. Несколько заводских здоровяков кулаками отбивают студента от штатских, силой вталкивают юношу в глубь толпы:

— Скинь ты эту свою шапочку!

И он все же успевает услышать самое главное:

— Благодарим... за возвращенную древнюю столицу... Вильнюс...

Отрывки речи. Действительно выступает Казите. Стоя на скамейке, оратор кажется еще выше, крупнее, красивее.

— Предлагаю, — чеканит подпольщик, — идти к тюрьме и требовать освобождения политзаключенных. Одобряете?

— К тюрьме! — валом вскидывается толпа.

Оратор сходит со скамейки. Теперь один за другим выступают рабочие.

— От имени завода «Нерис» поддерживаем...

— От лица рабочих «Кауно аудиния» одобряем...

Маргарите не удается удержать своего Фауста.

Он отрывается от нее, взвизгивает в воздух, ногами упирается в скамейку.

— От имени... студентов... университета... присоединяюсь... — и спрыгивает на аллею.

— Кто тебя просил ввязываться? — укоряет Маргарита.

— А почему бы и нет?

— Ну, те, штатские, могли заметить. А кроме того...

— Остановись, мгновенье, ты прекрасно! — торжественно провозглашает он и тут же у подножия горы, никого не стесняясь, совершает то, на что не осмеливался там, на вершине: проводит ладошью по ее косе, нагибается и целует в губы.

— К тюрьме! — подает команду оратор.

— К тюрьме!

Толпа колышется! Вскипает прибоем и по просторам аллеи, которая сегодня кажется еще шире, медленно движется в сторону тюрьмы.

И внезапно прибой толпы — ж-ж! — ударяется о заставу рослых полицейских. Плотина верзил щетинится карабинами.

— Пусть только посмѣют стрелять! — прорывается в первые ряды оратор. — Они ответят за каждую каплю невинной крови. Без страха — вперед!

Эти слова еще более раскаляют толпу. И новый вал, грозно вздымаясь, заливают запруду. Действительно, карабины безмолвствуют. Видно, нет приказа открыть огонь. Но приказ избивать получен.

Застава верзил внезапно ершится резиновыми дубинками. Начинается кровавое побоище. Полицейские безжалостно «крестят» рабочих. Те тоже не остаются в долгу. Тогда полиция принимается гвоздить прикладами. Толпа демонстрантов тает. Оратор произносит:

— На соседние улицы! Соберемся у тюрьмы!

Но как попасть на эти улицы, если нас приперли к стене?

Он (Фауст) хватается за ручку ближайшего подъезда, и все гурьбой вкатываются внутрь. А через порог уже ломятся полицейские с карабинами и резиновыми «бананами». Приходится отступать на второй этаж, потом — на третий. Снизу крики и глухие удары дубинок: бум, бум, бум...

Оказывается, тут больница. Страшный переполох. Сестрицы в белых халатах не ожидали таких «пациентов». На третьем этаже — крики новорожденных и рожениц. Родильное отделение. Миловидная сестрица в белом подхватывает Фауста за руку.

— Так как же вы теперь? — улыбается она чудесной улыбкой.

— Мы? Будем рожать...

— Ну и рожайте, — смеется сестра милосердия. — Не падайте духом, за мной!

Она впускает молодых парней в темную комнату. Пахнет лекарствами и пригоревшим молоком.

— Что же, оставайтесь тут, — весело улыбается сестрица. — А я приду потом новорожденных пеленать...

Дверь закрывается, щелкает замок. Начинаются «родовые схватки». У каждого свои (Фауст тревожится за

судьбу Маргариты). А временами уши разрываются от криков, ударов, от звона разбитого стекла.

Потом все стихает.

Минуту спустя скрежещет ключ в дверях, и снова светится белый халат.

— Ну как? — Улыбка сменяется смехом.— Идем!

Сестрица ведет юношей через аптечку. Отпирает.

— Счастливо...

Не хочется расставаться с этой необыкновенной улыбкой. Но девушка грациозно машет рукой, и двери аптечки захлопываются.

Теперь небольшая группа по тротуарам вдоль аллеи спешит к условленному месту. Оказывается, запоздали. Рабочие уже ломятся в железные ворота темницы. А женщины кричат в маленькое окошко:

— Освободите заключенных!

— Отпустите наших мужей!

Тяжело кряхтя, прогибаются, трещат ворота тюрьмы — как и весь постылый старый режим. Трещат, но еще держатся, плюют нам в лицо свинцом. Приходится пока отступить: со стороны аллеи громяют выстрелы...

## **ПЛАКАТ. САТИРА. ГРОТЕСК**

Когда от громовых раскатов  
встревоженно рокошет лира,  
искусство говорит с планетов  
и в лад грозе трубит сатира.

### **КРАСНЫЙ ГРОБ**

**1.**

Приходит буря.  
Наводнение будет.  
Тревожится поэт...

**2**

Над неподвижным миром буря  
встает, как материнский силуэт,  
с костлявою рукой до небосклона,  
протянутой вперед,  
и в медный гонг сияющего солнца  
она внезапно бьет.

Сигнал потопу дан,  
а небо, как свинец,  
вот-вот и ураган.  
Конец...

**3**

Словно звуки скрипок Страдивария,  
льются слезы розового облака.  
Но прислушайся — услышишь: ария  
Демона кружится около.



Молния распластывает мрак,  
 словно рог рокочет,  
 а за нею грома черный марш  
 катится, грохочет.

Буря шутит:

— Эй, могильщик, рой,  
 рой могилу черную, сырую! —

Буря шутит:

— Это танец мой!  
 Я его танцую!

4

Начинается пляска.

Ее кости, как сучья, трещат,  
 порох кружится пылью.  
 Буря приходит и ставит тотчас  
 точку — пулю.

Первая пуля в сердце врага,  
 вторая в свое предсердье,  
 — Могильщик! Иль жизнь тебе не дорога! —  
 Могильщик — само усердие.

Диктаторский категоричен жест —  
 и наводнение.

Сцены похоронных торжеств...  
 ...Кончается вступление.

5

И начинается потоп,  
 клубятся тучи.

А в голосах восторг,  
 дыханье черной стужи.

Шумит людской поток,  
 а Ной кричит:

— Потоп!

Спасите наши души!

Плывут квадраты серого бетона,  
 мещанские окошки — нараспашку,  
 летят горшки, цветочные газоны,  
 ботинки и подтяжки.



Небо!

Сквозь солнечные очки,  
неизданные слова,  
кровью записанные,— прочти!  
Невысохшие слова...  
Звезды!

Читайте на площадях  
Апокалипсиса письма.  
Видите, как земля в городах  
кровью окроплена...

7

Ковчег диктатора  
Ноя бородатого  
качается на волнах.  
Ах!  
Плывет балкон,  
а за решеткой балкона  
хрюкает нечто розовое, как бекон,  
и дама цвета бекона.  
Министр с ушами ослиными рядом,  
вол в шкуре овечьей,  
медведь-философ  
с заспанным взглядом,  
обезьяна  
с маской человеческой.  
Тигр любезничает со змеей,  
попугай жарит речи:  
— О почтенный спаситель Ной,  
нет ли в корабле течи!  
Где же голубь,  
мудрейший Ной!  
Захлебнулся в луже кровавой.  
Видишь —  
смерть парит над кормой,  
стиснув косу рукой костлявой.  
Где же пристань?  
Где Арарат?  
SOS! Ковчег теченьем уносит.  
SOS! Увы, бесполезно орать:  
бог спасательный круг не бросит.  
{Да, представьте, что я аскет,  
Я люблю суровые речи.

Мне не нравится ваш поэт,  
отрицающий человеچه.  
Может быть, он что-то постиг,  
может быть, он достиг предела  
и уткнулся в предел — в инстинкт...  
Только для меня устарела  
эта формула, чтобы жить  
как угодно, любой ценою.  
Авель Каина победить,  
я уверен, сможет.)

А Ною  
погребальный венок из роз  
я сплету и навьючу старца...  
Я взглянул на балкон, как Гаврош,  
и — расхохотался!

8

Гниют, горят и рушатся мосты —  
гляжу с отрадой.

Иду гниющими мостами,  
иду горящими мостами,  
качающимися мостами,  
а буря мой вожатый.  
Бездумья своего не проклинаю,  
когда иду мостами,  
которые шататься начинают,  
воспламеняться начинают,  
разваливаться начинают,  
тогда я поднимаюсь, как восстанье.  
Своих причуд не осуждаю:  
я просто жду итога.  
Пусть они рухнут — заклинаю,  
пусть они вспыхнут — заклинаю,  
пусть новый мост, я заклинаю,  
поднимется высоко.

Своих причуд не проклинаю,  
мне не понять вовеки  
привязанности идиллической,  
привязанности архаической,  
удобной, будничной, практической,  
живущей в человеке.

А мне мосты другие нравятся:  
они, качнув крылами,  
как будто дети, просыпаются,  
и, как подростки, просыпаются,  
как великаны, просыпаются,  
потягиваются утрами.

Прощаюсь с черными мостами,  
другие контуры теснятся,  
прощаюсь с древними мостами,  
иду прекрасными мостами,  
иду в грядущее мостами,  
которые мне снятся.

Из пепла вставая вновь,  
я вновь живу и дышу,  
здесь нету вечных мостов —  
по новым мостам прохожу.

9

С сияющей звездой  
на человеческом лбу  
и с сердцем,  
не хранящимся на холоду,  
от боли плачу я,  
от горечи грущу  
и пламенем звезды  
вокруг себя свечу.  
Я не могу молчать  
от горя и потерь.  
Я не хочу молчать,  
мне в сердце впился червь.  
А сердце не возьмешь  
у мясника со льда...  
Высокое чело  
сияет, как звезда.

10

Слово предоставляется буре.  
Буре, потрясающей толпы.  
Страшный оратор стоит на трибуне,  
красный гроб раскачали волны.

**Выстрелы...**  
**Тысячи рук**  
**в единый кулак космический сжаты.**  
**Эта рука поднимается вдруг,**  
**размолочивая преграды.**  
**Словно хлеб заработанный**  
**на ладони ее,**  
**гроб багровый, как пламя...**

**11**

**Распахивается сердце мое,**  
**разворачивается,**  
**словно красное знамя!**

Оказывается, революция — прежде всего тяжкий труд...

Сегодня у меня единственное желание — упасть на студенческую койку и отоспаться. Две ночи без сна. Двое суток физического и духовного напряжения.

Вешаю на стул пиджак. Скидываю промощенные ботинки. Раздеваюсь — и под одеяло.

— Может, пану хербаты?<sup>1</sup> — слышится из соседней комнаты.

Это моя моложавая, миловидная, заботливая квартирная хозяйка.

— Спасибо.

Собственный голос мне самому кажется чужим. Выключаю свет. Но, несмотря на усталость, долго ворочаюсь без сна. Двое суток тяжелой работы, дробясь на бесчисленные волнующие мгновения, так и маячат перед глазами...

По правде говоря, ничего особенного не произошло. А все-таки...<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Может, пану чаю? (польск.)

<sup>2</sup> Ко времени описанных событий автор переехал в Вильнюс. Здесь фашиствующие элементы во главе с корпорацией «неолитуапов», посивших зеленые шапочки, устраивали шовинистические бесчинства в костелах (требуя богослужения только на литовском языке), на улицах и т. д.

На воскресном утреннем богослужении в вильнюсском кафедральном соборе передрались молящиеся различных национальностей. Из-за того, что-де проповедь читалась «не на том языке».

Беспорядки были устроены фашиствующими студентами-корпорантами. По-видимому, обдуманно и организовано.

И превратился собор в цирковую арену, в боксерский ринг. Спесивые корпоранты — здоровяки-хуторяне и лощеные городские щеголи применили кулачное право. Кулаком заткнули рот, из которого святая молитва исходила «не на том языке». Кулаком подровняли нос, не соответствовавший расовым требованиям. Кулаком заставили зажмуриться неодобрительно глядевшие глаза. Кулаком принудили улыбаться не имевшие на то никакого желания губы, а если не помогал кулак, то пощекотали головы железными прутьями...

Словом, по примеру близких соседей коричневорубашечников проводили шлифовку и отделку человека в духе национального искусства...

В понедельник в альма матер только и было разговоров, что об этом событии. Вся честная профессура и студенчество негодовали: опозорен университет! Героев вчерашней потасовки враждебными взглядами встретили в аудиториях прогрессивные студенты. А героини эти ходили гоголем и даже устроили по этому поводу пивопитие.

Было решено «щелкнуть» по зеленой корпорантской шапочке. Текст обращения поручили составить мне. Я заперся в своей полуподвальной комнатухе на Антакальнисе<sup>1</sup>, работал целый день, в поисках цитат и образцов обложился книгами. Написал злое, язвительное воззвание и вечером понес свой проект в условленное место.

Там его коллективно обсуждали, корректировали, исправляли.

— Утром пойдешь в Старый город по адресу... Получишь бумагу, все принадлежности для печатания. По дороге смотри в оба, не следят ли. заметишь что-нибудь подозрительное — вернись. Ясно?

— Ясно.

— Ну, ни пуха ни пера!

<sup>1</sup> Украина Вильнюса.



И действительно, все обошлось, как пожелали мне товарищи. В два приема доставил я из Старого города на Антакальнис гектограф и бумагу. Потом получил в указанном месте отпечатанные на машинке матрицы.

Жилье у меня скромное, неприметное, у самой реки Нерис. Сестра работает в санатории и выдает мне на расходы по литу в день. Могла бы из своих заработков уделить и побольше, но это кара за строптивость. А одного лита еле хватает на скудную порцию еды в студенческой столовой. Чем же платить за мой затхлый полу-подвал?

Правда, хозяева у меня не жадные, за комнату берут недорого. Но все равно эти деньги надо как-то добывать на стороне.

Есть в университете субъекты, для которых главное — матчи, фехтовальные турниры, выпивки, шикарные ужины и банкеты с шумными речами. На лекции и времени не остается. И выручаешь таких — напишешь им курсовую работу, а они, не торгуясь, сунут тебе пятилитовик. Вот и деньги за комнату. Даже на книги остается.

Так и живу.

На хозяев не жалею: люди обходительные, сердечные. Он сержант польской армии, воевал против немцев, попал в окружение, вырвался, и вот теперь — дома. Работает поденно на стройках, дрова пилит. Она необыкновенно мила: играет на гитаре, знает массу чувствительных песенок. С обоими я разговариваю исключительно по-польски: осваиваю язык. Читаю Мицкевича и Словацкого из библиотечки сержанта. А самое главное, ни он, ни она по-литовски ни в зуб! Я тут и устроил целый склад нелегальной литературы. Доставляют ее из Каунаса, но кто привозит, понятия не имею: конспирация! Часть литературы немедленно передаю приятелям в общежитие «Таурас». Остальное храню под койкой и сам распространяю в аудиториях.

Сейчас предстоит печатать первое воззвание, написанное мной же самим. Часик прохаживаюсь возле дома. Чтобы удостовериться, нет ли слежки. Больше всего опасений внушает трактир напротив моего жилья. Там с утра народ толчется. Но наметанным глазом сразу отличишь: где подозрительный тип, где подлинный трудолюб. Наш Антакальнис — рабочий район: в трактир за-

ходят погреться извозчики, древоколы, поденщики, приезжие крестьяне...

Нет, ничего тревожного. Иду к реке, с откоса незаметно пробираюсь к себе в полуподвал. Закуриваю папиросу и, засучив рукава, берусь за печатание. Подкладываю лист, притискиваю валиком...

Хотел закончить до вечера. Не получается! Уже полночь. Несколько раз умываюсь студеной водой. Надо довести до конца: завтра уговорились распространить листовки.

Утром напихиваю в карманы и за пазуху свеженькие прокламации, еще пахнувшие краской. Остальные складываю в портфель. Несу осторожно, как взрывчатку...

Университетский швейцар еще дремлет. Нигде ни души. Раздолье! Вихрем проношусь по коридорам и на всех подоконниках оставляю листовки. Пробегаю по аудиториям, рассылаю воззвания по скамьям.

Портфель опорожнен. Захожу в свою аудиторию. Собираются студенты. Является профессор, приступает к лекции. Сердится: его не слушают, все делятся впечатлениями. Из рук в руки передают листовки — «Прочтешь — передай другому»...

Студент, который сидит передо мной, оборачивается, сует мне листок.

— Читал?

— ?!

— Прочти. Щелкнули по зеленой шапочке.

Что поделаешь: раз дают, надо еще раз прочесть. А неплохо получилось!

«...Это позорит нашу альма матер, наш народ, нашу культуру... надо преградить путь... расизму и фашизму, насаждающим ненависть и презрение к другим народам...»

Я глубоко переживал эти слова и свято верил в них.

Перерыв. Корпоранты бродят с опущенными носами. На них устремлены гневные взгляды.

Вообще в университете кутерьма. Пылкие дискуссии в коридорах, в аудитории, в профессорском кабинете. Теперь, когда цель достигнута, пойду отдохнуть.

Захожу в столовую. Заказываю повышенного качества обед с мясом и бокалом пенистого пива. Ем и слышу казенный голос радиодиктора из репродуктора:

— Провокационные воззвания в Вильнюсском университете...

Вовсе не плохо!

Уплачиваю целый лит за трапезу и неторопливо возвращаюсь на Антакальнис, волоча отяжелевшие ноги. Возле библиотеки Врублевского мне подмигивает молодая накрашенная красотка. Здесь когда-то назначала тайные свидания будущему королю Сигизмунду Августу несравненная Варвара Радзивилл, а теперь тут ищут случайных встреч молодые и красивые вдовы павших на войне офицеров. Красотка улыбается мне. Я тоже отвечаю улыбкой. Просто из человеческой солидарности. И иду дальше, в свой полуподвал, который мне сегодня так дорог...

Засыпаю. В чутком, неглубоком сне память снова прокручивает кинолентку всего пережитого за эти дни.

Бум-бум-бум...— стук в ставню.

Что это?

Вскакиваю с постели. Неужели выследили?

— Кто там?

— Алексас.

— Какой Алексас?

Наверно, провокация.

— Не знаю никакого Алексаса... Проваливай!

Опять ложусь в постель. На дворе хрустит снег. Шепчутся. Снова стучатся.

— Впусти,— слышу женский голос.— Уже после двенадцати — патрули задержат.

Это голос Ирены, моей школьной приятельницы. Ей-то уж можно поверить.

— Ладно, могу и впустить,— бормочу словно про себя, натягивая башмаки.— Только никакого Алексаса я не знаю.

Открываю дверь. Ворота на запоре. Придется перелезть через довольно высокий забор. Помогаю ночному гостю. И оба мы со смеху покатываемся. Обнимаемся.

— Какой же ты Алексас? — треплю его по плечу.— Ведь ты Казите...

Мелькает в памяти демонстрация у каунасской тюрьмы...

— Конечно, я Казите. Но думал, ты знаешь и мое настоящее имя.

— Знать ничего не желаю, что меня не касается.

Я веду его в комнату.

— До свидания, ребята! — Это Ирена за оградой.

— Приятного сна, Ирен! А кстати, ты как дойдешь? Патрули...

— Не бойся, доберусь.

— Извозчик ждет,— поясняет Алексас.— Мы на пролетке приехали.

— Тьфу, напугали! — говорю я ему, зажигая свет.— Понимаешь... я сегодня малость... распространял... всякого можно было ожидать. Уж ты прости, что заставил померзнуть. Сам ведь учил меня конспирации.

Долго растолковывать нет надобности: он стреляный подпольщик. Все понимает с полуслова.

— Откуда ты взялся?

— Из Н-ского уезда. Ссылный я.

(После демонстрации у горы и возле тюремных ворот его арестовали и выслали — с обязательной явкой в полицию.)

— Чертовски надоело: ни работы, ни друзей! Улепетнул в Вильнюс на несколько дней. Зачеты в университете хочу сдать. И партийные поручения есть.

— Понятно. Прежде всего укладывайся. Постель нагрета. А я лягу в комнате у хозяев.

Гасим свет.

Опять я долго ворочаюсь. Нахлынули другие воспоминания. И снова вертится в памяти яркая киноплёнка — кадр за кадром.

...Года два назад в гимназическом зале, в субботу, после уроков шепот:

— Завтра все на Жалякальнис... адрес... в таком-то часу... Придет некая Казите... Даст указания. Запомни: Ка-зи-те...

Собираемся в назначенное время в назначенном месте. Нас десятеро. В гимназии мы организовали легальный кружок, привлекли туда чуть не всех старшеклассников. В кружке секции: историческая, природоведческая, литературная, географическая, физическая. Нам помогают прогрессивные учителя. Работа интересная, разнообразная: походы, экскурсии, дискуссии по вопросам истории, искусства и литературы.

Издаем журнал на ротаторе — наше собственное творчество, рисунки, статьи.

Но главные руководители кружка — мы, подпольщи-

ки, которые собрались сегодня послушать Казите. Нам самим нужно крепко подковаться. Основная цель — не дать закрепиться фашистским элементам в гимназии, сохранить прогрессивные настроения.

Министерство просвещения учуяло влияние кружка в школе. Старого директора уволили на пенсию, назначили нового — реакционера. И вице-директор с ним заодно. Но есть у нас передовые учителя. Идейная война за юные сердца идет в классе, на уроках, на собраниях кружка, на экскурсиях, вечеринках. Ведется борьба и в учительской. Словом, в гимназии царит боевая атмосфера.

На плоды этой борьбы не приходится сетовать. И самое главное — благодаря ей и мы растем, закаляемся.

Эта девушка, Казите, нам поможет. Посмотрим, какова она.

И вдруг входит рослый, плечистый, красивый мужчина. Лицо спокойное, сосредоточенное, глаза глубокие и умные. Говорит не торопясь, обдумывая слова.

— Составим календарный план рефератов...

— А может, эту Казите обождать?

— Казите? А я и есть Казите,— смеется он.

Ничего себе Казите!

...Толкуем с ним обо всем, что нас волнует. У него удивительно хороший вкус. Любит настоящее искусство, настоящую поэзию. Говорит о театре и музыке. Живой человек — не догматик.

— И сам пишу,— признается он.

Он и учил меня конспирации...

Засыпаю...

...Звонит телефон — беру трубку<sup>1</sup>.

— Алло! Ты? Вот отлично, застал! Знаешь, сегодня еду в Вильнюс. Хочется попрощаться...

Это Оскарас. Ничего не понимаю.

— Почему уезжаешь?

— Целая история! Приходи — расскажу. Придешь?

— Что за вопрос!..

Надо поскорее просмотреть, завизировать рукописи. Ими завален стол. И все сырые, недозрелые; каждую необходимо внимательно прочесть, выправить. Неопыт-

<sup>1</sup> Летом 1940 года, после установления Советской власти в Литве, автор переехал из Вильнюса в Каунас и был назначен редактором комсомольской газеты.

ные мы еще журналисты: газету выпускаем, а ошибок невпроворот, что ни день, влетает от руководства.

Над первой моей передовой товарищи весело потешались. Теперь мне и самому смешно. А тогда злость брала...

— Пишешь ты,— поучали меня,— что газета издается для истории. Мол, когда-нибудь, лет через сотню, кто-то там прочтет и увидит, как начиналась новая жизнь. Да пойми ты: через сто лет никому твои газеты не понадобятся. Другие будут выходить, пожалуй, почище твоей. А газета нужна нам сегодня, сейчас. Вот и призывай молодежь сотрудничать, писать, как кто работает.

Я опустил глаза.

— Спасибо на добром слове! Отродясь к газетному делу не прикасался. Сами вызвали, посадили: трудись! И зачем только? Не умею ведь я...

— Везде теперь так. Вся жизнь перевернулась. Вот и приходится людям браться за совершенно новые для них дела, и работать, и самим учиться. Ты понимаешь, что произошла революция?

— Понимаю. Только никогда в жизни редактировать газету не умел и сейчас не умею. Мне бы что-нибудь полегче, по способностям...

— Например?

— Например? Ума не приложу. По правде, никуда я пока не гожусь. Студент — и точка.

— Так что же все-таки ты умеешь делать? — допытываются они.

— Ровным счетом ничего,— отвечаю упавшим голодом.— Пробую... стихи сочинять.

— Кому они нужны, твои вирши? Надо, брат, поконкретнее. Чтобы своей революции послужить.

— Служить революции я очень хочу. Только как?

— В общем не унывай. Еще попытайся. Может, что и получится. А не получится — сменим. Направим на другую работу. Может, даже стихи писать. А пока...

А пока я сижу за письменным столом, заваленным рукописями, фото, рисунками, диаграммами. Ежедневно лавина писем. С предприятий, из школ. От вчерашних пастухов и батраков. От молодежи, не отведавшей учебы. На минутку оторвавшись от станка, от молота, плуга, они пишут. С патугой, с ошибками. Не умеют вразумительно рассказать про свою работу, изложить свои

мысли. Зато уж вкладывают всю душу. И в письме, корреспонденции, заметке, даже в грамматических ошибках я ощущаю живое биение сердца и пылкий ум. Чувствую человека, который пробуждается и растет. Сердце — все жарче, письма — все прямее, откровеннее.

С каждым днем революция глубже и глубже проникает на предприятия, в школы, в деревню, в семью. В каждое человеческое сердце.

Втягиваюсь в работу. Читаю, редактирую. Много разъезжаю и сам пописываю. Всего полгода, а уже кое-чему научился. Трудная эта учеба: правишь рукопись — порой приходится все наново переписывать. Собственно ручно. От первой строки до последней. А еще гранки, корректура... К полуночи сливается перед глазами текст, читанный уже несколько раз.

Здесь я работаю, здесь и живу и сплю. Сплю, впрочем, маловало. По нескольку часов на газетных подшивках. Потом, наконец, получаю великолепный дар — кожаный диван!

Утром приходит уборщица. Даю ей денег — она приносит лимонад «Гайва» и горячие сосиски. Позавтракал — и за работу. Начинаю с писем.

Трудно сосредоточиться. Окно распахнуто. Ветки каштана заглядывают в мой маленький кабинет. Они, как канделябры. Горят на них белые свечи и завораживают меня: так и тянет писать стихи. Кровь горячей волной растекается по всему телу, норовит вырваться из тесных вен и ровными строчками, мерными строфами лечь на бумагу. Кровь бурлит еще жарче, когда с улицы ласточками залетают слова:

— Остановись, мгновенье...

Отталкиваю рукописи, высовываюсь в окно. Внизу на тротуаре Маргарита. Одета по-весеннему, серое пальто нараспашку. Сверху вижу русые косы, перевязанные синей лентой, носик и два синих озера, с которых уже стал лед, и теперь на них играют солнечные блики.

«Остановись, мгновенье...» — наш тайный пароль. Когда она возвращается из гимназии, то, проходя мимо редакции, окликает меня. Для нас теперь это почти единственная возможность общаться. Я занят по горло. Она усердно готовится к выпускным экзаменам. Потом, может, поженится. Если только ей позволят...

— Что новенького? — кокетливо осведомляется Маргарита.

— Опять твоя мама звонила. Умоляла оставить тебя в покое.

— А ты? — смеются синие глаза.

— Я ей очень вежливо...

— Уж такая вежливость в твоих статьях сквозит. За статьи мама и сердится.

— Теперь не до учтивости. Когда приходится сметать с дороги груды старого хлама, не проявишь себя таким «комильфо»...

— Все понимаю. Только очень прошу: в газете пиши, что хочешь, а с мамой повежливее!

— Ладно, буду с ней отменно галантен.

— Очень прошу тебя. Ну, будь здоров. Я позвоню.

— Не застанешь меня. Иду к Оскарасу прощаться. Он переезжает в Вильнюс. И ты приходи. Ведь это наш лучший друг!

— Приду! — И она исчезает.

Читаю рукописи. На первом этаже монотонно жужжат линотипы и ротационка. Пахнет типографской краской, бензином и каштанами в цвету.

Оскарас приготовил скромное «отвальное» угощение. На столе бутылка вина, графинчик, закуска. Выпиваем по чарке.

— Что же все-таки стряслось? Почему ты уезжаешь?

Он отвечает не сразу.

— Появилась у нас в учреждении новая дощечка на дверях: «Отдел кадров». С того и загорелся сыр-бор. Сидит начальник — лицо деревянное, глаза оловянные. Я ему: «В революции самое главное — человек». А он исподлобья поглядывает: «Самое первое — бдительность!» Стал у всех рыться в биографиях. И давай увольнять...

Оскарас осушает чарку.

— Я ему: «Революция как на ладони раскрывает каждую душу. Один не выдержит — споткнется, покатится вниз. А другой, наоборот, на гребне волны со дна поднимется. Человек — это самое важное».

Оскарас умолкает.

— А он как окинет меня пронзительным взглядом: «А вы кто такой? Адвокат человек? Загляните-ка лучше в собственное нутро. Ваша прежняя профессия? Агент страховой компании». Я кулаком по столу: «Что вы хотите этим сказать?» — «А то, что не лучше ли нам распрощаться? Подыщите себе менее ответственную работу».



Нельзя доверять всяким, с позволения сказать, страховым агентам. Буржуазное сознание, оно, знаете ли, живуче...»

И в минуту, когда, казалось бы, ему приуныть и призадуматься, Оскарас разражается веселым смехом. Уж таков он — весь из добротного, полновесного металла. Будь он менее стоек, разъела бы Оскараса бюрократическая ржавчина, но его предохраняет революционная стойкость.

Другие обзаводились комфортабельными квартирами, а он по-прежнему оставался в скромной комнатенке, где старые воспоминания, согретые теплым дыханием друзей, да все та же книжная полка с томиками Горького, Драйзера, Бальзака, Ромена Роллана, Томаса Манна.

Под стать литературным вкусам и внешность Оскараса: наголо бритая голова античного философа, добрые простые глаза. Он удивительно, четко, диалектически излагает свои мысли. Это чуткий, прекрасный товарищ.

Сколько провел я у него чудесных часов! Он был мне как брат родной. Терпеливо обучал меня житейской и революционной мудрости.

Навещал я его чаще по воскресным дням. Сначала собираю пожертвования для политзаключенных. У заранее намеченных лиц.

Захожу, например, к одному художнику-карикатуристу. Тот уже успел пропустить рюмочку. Глаза прищурены. Пальцы, владеющие острым, обличительным карандашом, бегают по клавишам аккордеона.

— Эх,— скребет он свой «ежик»,— вчера вскочило в копеечку это самое... Бери пока десять литов. Зайдешь в будущее воскресенье — еще добавлю.

А вот я у известного писателя-публициста, редактора. Прямой как струна, тщательно причесан и дома при галстукке. Рука, еще вчера писавшая страстные слова в газете, протягивает мне банкнот. Сто литов!

— Мельче нет. Попрошу девяносто пять литов сдачи.

Где мне столько набрать? Весь «приход» пока не то пятнадцать, не то двадцать.

— Тогда придете в будущее воскресенье.— Он аккуратно убирает зеленую кредитку во внушительный бумажник.

Легко сказать — в будущее воскресенье! Опять столь-

ко домов обойти. И уроки готовить надо. И почитать. Что поделаешь — всякие люди водятся...

Собранную лепту приношу вечером Оскарасу. Он записывает итог. Теперь можно и пофантазировать. А все наши фантазии сводятся к одному вопросу:

— Когда произойдет мировая революция? И какой она будет?

— Революция, как весна, разгонит тучи, растопит льды, омоет землю, сметет всякую грязь. На красивой и молодой земле люди согреются, станут честнее и прекраснее.

Разве мог бы так рассуждать сухарь? Только мечтатель. Поэт. Этого строго логического романтика я любил, как родного. Свою железную волю, острый ум и пылкую душу он отдал делу борьбы. В глубоком подполье был верным и стойким солдатом, не раз доводилось ему понюхать порох. А теперь, когда революция вырвалась из подполья и охватила всю нашу жизнь, он стукнулся лбом о стену бездушной канцелярщины. В заязи здорового плода завелся червь бюрократизма.

Оскарас смеется, как всегда, откровенно, добродушно.

— У каждого дерева есть свой червяк. Придется обезвредить и этих короедов!

Пришла Маргарита. Чмокнула Оскараса в щеку. Для всех нас он — брат.

— Уезжаете? Где будете работать?

— Направили в Вильнюсский трест общественного питания.

Она пожимает плечами.

— Буду картошку чистить... варить... жарить... Поваром сделаюсь!

— Поваром вы могли стать и без революции, — недоуменно мигают ее глаза.

— Буду поваром революции... Ну, выпьем! Мне пора на вокзал.

Провожаем его к поезду. Возвращаемся через Зеленую гору — Жалякальнис. Взабираемся на тоннель. Жалобно аукаются паровозы. Заливаются соловьи.

...На второй день войны встречаю озабоченного Оскараса в Вильнюсе.

— Уезжаешь? — спрашивает он. — Подгоните свой автобус к столовой — отгружу вам консервов.

— Зачем?

— Пригодятся.

— А ты?

— Я — потом. Догоню вас...

Целуемся. Автобус петляет по узким вильнюсским улочкам, отыскивает дорогу на Восток.

Проезжаем мимо альма матер. Мелькает несколько фигур. Парни с белыми повязками на руках. Наверно, бывшие корпоранты — герои «зеленой шапочки». Теперь они смогут кулаками доказывать свое расовое превосходство. К ним на подмогу спешат их единомышленники — коричневые рубахи. Уже недалеко от Вильнюса...

Прикрываю глаза ладонью.

...Оскарас никуда не эвакуировался. Вернулся в подполье и погиб, как рядовой коммунист, как неизвестный солдат революции.

— Ты привез ценный материал<sup>1</sup>. Издадим брошюру, обвинительный акт палачам-фашистам. Только это должен сделать человек широкоизвестный, уважаемый, любимый. Кому бы поручить?

— Саломее,— предлагаю я после раздумья.

— Правильно. Это женская душа исключительной чуткости. Это сердце литовской матери!

С тем, что я привез, никак не вяжется слово «хороший». Я бы иначе сформулировал: страшный материал о человекоубийственном зле!

...Шла война. Мне поручили собрать в литовских детских домах данные о вражеских зверствах.

Я долго ехал в переполненных поездах через станции, кишевшие, как огромные муравейники,— меня несколько раз даже вышибали из вагона люди с большущими мешками. Но что поделаешь, всем трудно, каждый пытается свести концы с концами, как умеет...

Я плыл по великой русской реке, много километров шагал пешком, на плечах тяжелый рюкзак с подарками и книжками для сирот войны.

В русском приволжском селе меня обступила стая малышей, говоривших по-литовски.

Но, травмированные войной, они были неестественно сдержанны, замкнуты. Часто плакали. Их издерганные

---

<sup>1</sup> Во время Отечественной войны ЦК комсомола Литвы направил автора на сбор материалов о фашистских зверствах.

нервы задевала малейшая — даже мнимая — обида. Тень войны маячила перед ними. А самое главное — не хватало тепла материнских рук.

Я читал им стихи, описывал, что творится в захваченной гитлеровцами Литве. Раздавал книжки, подарки. Постепенно лед подозрительности таял. Раскрывались маленькие сердца, а вслед за ними — и уста.

Они рассказывали вздохом, а те, что постарше, уже «ученые», сами исписывали тетрадки страшными воспоминаниями о первых военных днях.

Чуть не все поголовно рисовали, изображая виденное, пережитое, врезавшееся в память. И что характерно: в этих детских набросках над разрывами снарядов и авиабомб, над силуэтами самолетов и фигурками убитых ряды мотыльки, распускались нарисованные цветы, щебетали птицы. Даже и тут детская душа рвалась к добру и красоте.

На этих детей обрушились первые снаряды фашистов. Они еще спали крепким сном в летнем лагере в курортном городке Паланге. Немецкие суда ночью подплыли к берегу, навели орудийные стволы. На заре был отдан приказ. Пушки стали изрыгать смерть. Янтарь приморских песков заалел от детской крови. Уцелевших взяли под свою опеку отступавшие советские воины. Литовские ребятишки нашли ласку и пристанище у русских людей в далеком приволжском селении.

Кипу детских рисунков, тетрадок, мои собственные записи я вручил Саломее.

...Такой я помнил ее еще по Каунасской гимназии<sup>1</sup>. Почти не изменилась! Неприятательное клетчатое платье. Гладкая прическа. Улыбается редко, зато уж как улыбнется — сразу появятся ямочки на щеках.

Теперь она живет отшельницей в Москве. Замечательная наша поэтесса могла бы устроить свой быт куда лучше. Но Саломея — редкий гость в учреждениях, не добивается никаких привилегий, в отличие от некоторых других. Разве только что-нибудь попросит для сына Баландиса.

Затворилась в своей скромной комнатке, словно улитка в раковине, будто спряталась от непрошенных взгля-

---

<sup>1</sup> Замечательная литовская поэтесса Саломея Нерис (1904—1945) преподавала литовскую литературу в Каунасской гимназии, где учился Э. Межелайтис.

дов, решила одна переболеть своими недугами — тоской и горем. И не видно, как рождаются выстраданные ею строки. Но почти каждую неделю появляются в печати ее стихотворения, раскрывающие большое сердце поэтессы.

— Садись,— приглашает Саломея, а сама берется за привезенные мною тетради.

Гляжу на ее трагическое, необыкновенное лицо, и в тишине наплывают воспоминания.

...Скинутый с клена желтый лист кружится, вертится под осенним ветром, липнет к оконному стеклу.

У окна наша учительница следит за странствием кленового листка.

Она у нас недавно — с этой осени. Но школьники уже полюбили ее, с большим почтением говорят о ней — прославленной поэтессе! И вообще Саломея очень хорошая. Не придерется, зря не станет бранить. Уж лучше второй и третий раз объяснит, чтоб только не ставить плохих отметок. Любит своих учеников, старается сблизить их с архаически звучащим Донелайтисом, водит по Аникшчяйскому бору, который воспет Баранаускасом, знакомит с доброй матушкой Жемайте<sup>1</sup>, по-крестьянски повязавшей платочком седую голову.

Преданно и изумленно смотрели мы на эту слабенькую, хрупкую женщину. Неужели она действительно объявила, что пойдет с теми, кто желает «опоясать бурями землю»? Откуда у нее столько решимости? Столько отваги? Героизма?

Глядит учительница на прилипший к стеклу рыжий лист. И, быть может, вспоминает свои стихи: «Еще не была я — сирень зацветала...»

Мы любим ее.

Но это вовсе не значит, что мы не злоупотребляем ее добротой. Пока мечтательная Саломея стоит у окна, мы подглядываем в тетрадку соседа, меняемся разной мелочью, строчим друг другу записки. На то и дети... Но она ничего не замечает. Блуждает в лабиринтах своего мира. Медленно возвращается оттуда, ходит между партами и приглушенным голосом рассказывает про несчастную любовь поэта Венажиндиса.

За окном осень. Кружится на ветру кленовый лист.

---

<sup>1</sup> Жемайте (1845—1921) — известная писательница, основоположник литовской реалистической прозы.

— ...Бедняжки, так малы, а столько уже успели пережить...— слышу я голос Саломеи и просыпаюсь.

Она смотрит на сына Баландиса. Маленький скульптор у подоконника мнет пластилин, лепит какие-то фигурки.

Глаза у Саломеи становятся влажными. Облокотившись о стол, она продолжает листать тетрадки.

...Две осени!

Вспоминаю прошлогодною — на родине Льва Толстого, в Ясной Поляне. Мы приехали в литовскую дивизию.

«Когда говорят пушки, музы молчат». Но разве может оружие заглушить пусть слабый, но могучий духом голос муз?

На полянке кругом расселись бойцы. Сквозь серебряные березки в бронзовой оправе пробиваются изломанные солнечные лучи. В середине круга — Саломея.

— ...Где храбрости ты набралась?..

— Ух! Ух! Ух! — стонет земля. Завыли, зарывкали зенитки. Что-то случилось! Бойцы вскакивают — им уже не до стихов. Команда:

— Сброшен десант. К бою.

Солдаты спешат за командиром.

Когда говорят пушки... Прислонившись к белой березке, Саломея засунула руки в карманы пальто. Тусклый осенний закат озаряет ее.

Смотрим, задравши головы. Глубокая небесная синь. С какой-то желтой каймой. В ней белые точки, будто кружки одуванчиков.

— Наверно, парашюты,— предполагает кто-то.

— Нет, это разрывы зенитных снарядов!

Задумчиво, тихо, грустно прислонилась муза к белой березке на земле творца «Войны и мира»...

— ...А ведь это твой почерк,— возвращает меня к действительности голос Саломеи.

— Да, мой. Самые маленькие писать еще не умеют и рассказывают бестолково.

— А ты бы взял да описал все это в стихах.

— Возьмитесь уж вы, учительница,— называю ее так по старой памяти,— у вас лучше получится!

— Не скромничай. Читала я в газетах твои последние стихи. Очень поэтично. Одно стихотворение красивое, но как будто зашифрованное. Надо яснее! Туманной поэзии

в Литве и так было предостаточно — целая эпоха... — Есть поэты, — продолжает она, помолчав, — которые зашифровывали стихию жизни. Помнишь, у Блока:

*Есть в дикой роще, у оврага,  
Зеленый холм. Там вечно тень.  
Вокруг — ручья живая влага  
Журчаньем нагоняет лень..*

Когда она декламирует эти, видно, запавшие ей в сердце строки, опять мысленно возвращаюсь на гимназическую скамью.

...Пока учительница стояла у окна, я сочинил весеннее стихотворение о сирени. Сложил листок, надписал имя и отправил по партам одной девочке, которая относила мои послания Маргарите.

Девочка эта была художница. Она рисовала фантастические акварели с многокрасочными радугами, парящими крыльями, неприступными башнями. Ей ничего не стоило проиллюстрировать стихотворение, в котором даже никакого сюжета нет. Одно только настроение.

Углубившись в полученные стихи, она не заметила, как подошла Саломея. Учительница увидела у школьницы записку, взяла, прочитала, улыбнулась, положила в свою сумочку и спросила:

— Кто тебе прислал?

Предателей мы в классе ненавидели и сурово карали. Девочка, потупилась, покраснела — боролась с собой.

— Один мальчик...

— Передай ему, чтобы продолжал писать!

Смахнула маленькая художница ладошкой слезы и тоже улыбнулась...

...Саломея читает про себя. Баландис лепит пластилиновые фигурки. Тикают часы. По комнате уже бродит поэтический сумрак. Опять вспоминаю...

...На другой день после того злополучного десанта, прервавшего чтение стихов Саломеи, мы попали в соседний батальон, в глухой, темный ельник.

Небо хмурилось. Бойцы собирались в маскхалатах, с автоматами в руках. Расселись на земле. Мы читали им стихи, стоя на открытом грузовике.

Зарядил дождь. Зашелестел в ветвях. Саломея начала тихим, мягким голосом:

— ...Я вернусь...

— Погромче! — попросил кто-то из кабины грузовика.

Саломея умолкла, вернулась на свое место. Села.

— Громче не могу. Голоса не хватает...

Голос действительно растекался по всему лесу и падал. Для фронтовых выступлений нужно крепкое мужское горло.

— Возьми,— протянула она мне свое стихотворение.—  
Дочитай до конца.

Но и я не сумел закончить. Пока она читала, крупные капли дождя падали на рукопись, чернила расплылись, слова стали неразборчивы. Я стоял перед солдатами и вглядывался в рукопись. Мне показалось, будто по бумаге текут слезы поэтессы...

— Ну, хорошо...— слышу голос Саломеи.— Я напишу.

— А когда? Важно поскорее разбросать эту брошюру над Литвой. С самолетов.

— Неделя понадобится. Если не больше...

С ней не поспоришь. Саломея пишет не мускулами рук, даже не мускулами сердца. Она, как птица,— вся во власти настроения. Саломея — стихийный талант, Саломея — частица природы. И обходиться с ней надо, как с природой: бережно, нежно, любовно. Многие теперь пишут нужные стихи, помогающие побеждать врага. Но Саломея не просто пишет стихи. Она — поэтесса. К этому нечего прибавить...

— Хорошо,— соглашаюсь я.— Если разрешите, зайду.

— Пожалуйста...

Мы прощаемся. Я протягиваю руку и маленькому Баландису.

Это несчастный, болезненный ребенок. Мать буквально вырвала его из пламени войны, из пекла фашистских бомбежек. («Ее повсюду вижу с ребенком на руках...» — вдруг вспомнились эти строки Саломеи.)

— Ну, что там вылепил?

Баландис показывает. Целая процессия пластилиновых человечков. Впереди пластилиновые лошади тянут повозку. На повозке четырехугольный ящичек. В ящичке — фигурка.

— Кто это?

— Маму хоронят,— лепечет больной мальчуган.



Становится не по себе. Саломея грустно усмехается. Война! В искусстве одна тема: жизнь и смерть. Кругом столько смертей. Гладит Саломея с материнской лаской светлую пушистую головку сына и улыбается...

...По Тверскому бульвару возвращаюсь на Арбат. На минутку останавливаюсь возле памятника Пушкину. Москва тонет во мраке. Где-то высоко блуждает вражеский самолет-разведчик. Длинными светлыми лентами, словно фантастическими щупальцами краба, ловят прожекторы крохотную точку. Взлаивают зенитки. Когда вытягивается длинная рука прожектора, потемневшее от времени бронзовое лицо памятника словно вздрагивает, чтобы вновь погрузиться в непроглядную тьму. Встрепенется под гром пушек, но не склонит чело Великая Поэзия...

...Неделю спустя...

— Написала я... Только не так, как ты говорил. Не получается у меня брошюры.

Подает рукопись. «Мама, где ты?..» Вместо брошюры Саломея создала поэму.

— Вставай, журналист, работа ждет,— слышу я голос полковника.— На работу пора...— Будто мне пора в поле или на фабрику.

Встаю, потягиваюсь, накидываю шинель и выхожу из землянки. В степи сразу заметишь, что земля выгнута. Солнце еще низко, не успело взобраться на вершину нашего глобуса. Лучи прямые, как прутья, они только касаются круглой земли, скользят по поверхности, взлетают и впиваются в белую вату облачка. Облачко сразу же розовеет нежным младенческим румянцем.

Там, на западе, уже началось светопреставление. Артиллерия заработала. Садимся с полковником на фронтового «козлика» и по размолотой дороге вприпрыжку направляемся к НП — наблюдательному пункту.

— Видишь? — показывает полковник на запад.— Людоеды развлекаются. Подожгли деревню и отплясывают вокруг огня танец смерти!

— Холодно им — греют руки у костра.

— Вот я сейчас их шлепну по рукам! Такого поддам жару — разбегутся в разные стороны, как клопы.

В каком-нибудь километре от шоссе в поднебесье черным змием извивается дым. Фашисты при отступлении

все начисто сметают, ничего не хотят нам оставлять. Разгулявшийся степной ветер раздувает пламя пожаров, горящие уголья летят трассирующими пулями. А змий, еще шире растопырив крылья, кружит над деревней. То выпятит жирное белесое брюхо, то припадет на зеленый бок, то выгнет черную спину.

Этот черный дракон опустошил сотни сел, превратил их в груды головней. Приходишь в деревню — не найдешь ни одной уцелевшей избы, где бы подогреть банку тушенки, подстелить на полу шинель и приклонить гудящую голову. Не найдешь колодца, чтобы утолить жажду. Кое-где встретишь человека в глубоком горе на пепелище родимой хаты. Раз только я увидел живую корову. Паслась на заминированном лугу и жалобно мычала — просила подоить. С большим риском подобрался я к ней, подставил солдатский котелок и облегчил одинокую буренушку.

Наш «козлик» забирается в кусты, прячется среди деревьев. Мы в небольшом леске. Еще двести-триста метров — и вражеские окопы.

— Тут заминировано. Ну, давай по-пластунски. Озирайся, гляди в оба!

Скатываемся в окоп НП. Два солдата. Один у перископа. Другой все время крутит ручку телефона, проверяет связь.

Полковник долго глядит в перископ. Устанавливает координаты, подсчитывает, пересчитывает. Потом уступает место мне. Смотрю в трубу.

Русское село Никольское. Огромное — тысяча дворов. Посреди белеет церковь. Мимо паперти длинная улица змеится, бежит через все село в даль полей. А с обеих сторон избы — палисаднички, сады. И огороды с подсолнечниками. Крупные золотистые головки поворачиваются на восток и впивают в себя солнечное тепло.

Третий день здесь кипит бой. Наши обходят, пытаются выбить противника. Но никак не захватят село. Враг сильно закрепился, закопался в землю, надо его выкурить, выжечь артиллерийским огнем.

Вокруг изб суетятся гитлеровцы. Мелькают, маячат ядовито-зеленые гномы. Машины подвозят боеприпасы, продовольствие.

Один конец села уже горит. Черный дымовой дракон изгибается по широкой улице, вертит острым треуголь-

ничком пламенеющего хвоста. Из пасти свисают багровые огненные языки.

Страшен этот дракон... Некогда Зигфрид вступил с ним в единоборство, одолел и искупался в его крови. Почему же Нибелунг теперь помирился с драконом и привел его сюда к нам? Вагнер не простит этого Зигфриду.

Задумываюсь.

И вдруг вижу: из огненной драконьей пасти выскакивают всадники — один, второй, третий. В воздухе плещутся зеленые покрывала плащей. Сверкают на солнце железные каски. На груди автоматы.

Три всадника торопятся. Рысью мчатся по сельской улице. В упор на трубу перископа. Прямо на мои зрачки. Мчатся, волоча за собой черное тело дракона. Еще скачок...

Отшатываюсь к стенке окопа. Мне на голову сыплется песок.

— Что случилось? — Полковник смотрит в перископ. — А, герр гауптман с адъютантами. С добрым утром! Сейчас угостим вас завтраком. Включим в меню мармелад.

Полковник закуривает и сосредоточенно кладет руку на полевой телефон.

— Надо поторапливаться. Чего-то они готовят. Не иначе, контратаку затевают. Опять спугают нам карты. Хотят прикрыть отход!

Он нервно курит. Отшвыривает окурок. Глядит на часы.

— Пора за работу. Покрути-ка нашу машинку.

Берет телефонную трубку.

— Меч? Я Щит. Готовы? Огонь!..

И в тот же миг степь с тяжелым вздохом просыпается. Ютившиеся ночью в орудийных жерлах, как в гнездах, вылетают оттуда красные петухи артогня. С шелестом, шумом и воем разрывают голубое прозрачное стекло небосвода. Их видимо-невидимо. Летят роями, стаями, косяками огненные петухи и садятся на село.

Голубое стекло небосвода все исчеркано, надтреснуто. И когда красные петухи садятся на кровли изб, от грохота это стекло окончательно раскалывается и рассыпается на множество черепков и осколков.

Нет больше неба! Нет неба! На нас сыплются осколки искрошенного небесного свода. Мы съеживаемся в око-

пе. Мы закрываем руками лицо, уши, голову, чтоб не поцарапаться, не порезаться. Черепки разбитой лазури хлещут по спине, вонзаются в серую шинель.

— Так им и надо,— цедит полковник сквозь стиснутые зубы.— Я бы из них всю душу по жилочке...

Он старый вояка. Тверд, как кремь. Помнит краткую и четкую формулу военной мудрости: убей врага!

Артиллерия умолкает. Нерешительно поднимаем головы, засыпанные песком и пеплом. Нет больше неба. Степь засыпана осколками лазоревого небесного стекла. С уцелевших кусков поднебесья каплет черная грязь, ломаются и оседают столбы земли, катятся черные глыбы дыма.

Полковник заглядывает в перископ.

— Ну, я свое дело сделал. Теперь очередь за пехотой!

Насмешливо твякают мины. Бьют в трещотку пулеметы. Как пила по дереву, автоматы короткими очередями скашивают свои жертвы.

Переползаем через минное поле обратно в лесок. Садимся на «козлика» и несемся в Никольское.

Бой идет на дальнем конце улицы. «Козлик» подпрыгивает, бежит мимо вражеских траншей. Роятся синие навозные мухи. Солнце уже пригрело. И трупы в окопах. Ничком и навзничь, в самых странных позах лежат те, кто недавно был живым. Амбразуры растерзаны снарядами, от пулеметов — искаженный металллом.

Ух!.. Разрыв. Возле речки образовалась страшная толчея машин. Наш «козлик» успел перемахнуть на тот берег. Но ехавший по пятам грузовик взлетел на воздух...

Мы в селе.

Упираем «козлика» рогами в белую церковную стену. Полковник с водителем спешат подыскать подходящую избу для КП артиллерии. А я иду по улице, заглядываю в хаты, собираю газеты, журналы, книги.

У ворот — убитая лошадь.

Сад вытоптан артиллерийскими орудиями — они уткнулись длинными носами в землю. Яблони расщеплены, без веток. Хочу напиться, но колодец забит мусором и кусками железа.

Двор будто снегом покрыт. Отступавшие гитлеровцы штыками выпотрошили пух из подушек. По белому двору раскиданы винные и водочные бутылки.

На подоконнике избы уснул навсегда вояка. Зеленая шинель растегнута, разодрана. Не хватило воздуха —

рванул ворот... Обвисшими руками никак не дотянется до травы, что растет под окном.

Дотрагиваюсь до двери, открываю и жду. Взрыва нет — значит не заминировано. Захожу внутрь. Останавливаюсь, откинувшись к стене.

Перебегаю взглядом с одной вещи на другую. На полу миномет, противотанковое ружье. Кругом рассыпаны патроны и пустые гильзы. Как крупные медные морковки.

В другой комнате стол. Недопитая бутылка водки. Несколько консервных банок. Недокуренная сигара. Опрокинутые стулья. Какой-нибудь час назад здесь завтракали и пили шнапс.

А в небольшой третьей комнатенке, вернее, в камерке, прислонившись к стене, сидит на табуретке голый человек. На нем только солдатские сапоги. Пячусь назад. Потом опять просовываю голову. Голый сидит неподвижно.

Мертвый. Наш боец. Широкие монгольские скулы, раскосые глаза.

Видно, взят в плен во время контратаки. Тут немцы ели и пили и пленного допрашивали. Допрашивали по всем правилам. Сначала, видно, беспощадно избивали. Выкручивали руки, ломали пальцы, сдирали ногти, поджаривали подошвы. Когда это не помогло, прикладом толкли большую и круглую, наголо подстриженную солдатскую голову. Не помогло и это — ножом срезали кончик носа и выбили зубы. Все лицо в сплошных синяках и кровоподтеках. А в конце концов, когда и это ни к чему не привело, взяли за самое болезненное место — половые органы... В заключение в грудь трижды вогнали штык. И конец... Меня затошнило, язык обволокло приторной слюной. Я выбежал из хаты...

...Полковник налил полный стакан водки:

— На, выпей! Легче станет.

Вечером в церкви мы настелили соломы. Упал я камнем и уснул.

Ночью над нами заревели артиллерийские снаряды. Церковь — отличный ориентир. Но снаряды давали перелет и падали в речку.

Всю ночь грохотала артиллерия. А мне во сне казалось, что дико ржут кони и под их копытами гудит земля. И я подумал: «Это безжалостно топчут мою голову вырвавшиеся из кровавой пасти дракона три всадника...»

## ГРАВЮРЫ НА ДЕРЕВЕ

Доски деревянные, полные мерцанья  
и явственно слышимого  
передвиженья:  
апокалипсические прорицанья  
ищут логического продолженья.

## КАРИНЫ СМЕРТИ

1

На самшитовых досках —  
тонкие сети  
и сплетенья теней  
и полутеней.  
То не Ганс Гольбейн,  
не «Картины смерти»!  
Нет, новее нечто. Из наших дней.  
Вот я белый лист на доску накладываю,  
как цветы на могилу кладут весной.  
И готово.  
Оттиск в руке.  
Разглядываю.  
Черный профиль Смерти передо мной.  
Сколько раз он являлся ко мне,  
измерьте  
этот путь из крови и из огня!  
Нет, не Ганс Гольбейн,  
не «Картины смерти»,—  
наяву посещала она меня...  
{Еще пахло душистым горошком.  
Дали  
были синими, редкими — облака.  
Но уже орудия грохотали.  
Поначалу тихо. Издалека.  
Был покой наш скуп —  
как на хлеб талоны.  
И того не стало.  
Вот так живи...  
Шли по рельсам серые эшелоны.  
Возвращались красные все. В крови.



Подымаю солдатский мешок.

В смятенье

ухожу. В неведомые края.

И за мною следом, неумолима,

эта тень — зови ее, не зови...

Эшелоны серые в клубах дыма.

Возвращаются красные все. В крови.]

## 2

В этой черной бешеной круговерти,

не в гравюрах Ганса Гольбейна, нет,

сам я видел воочию танец Смерти —  
развеселую пляску недавних лет.

Да, я видел, как она пляшет лихо

и в крови безумье вершит свое —

только слышно: потрескивают

тихо-тихо

у нее под шинелью

кости ее.

Генеральские у нее погоны —

не отстать чтоб от моды

{времени бег

с каждым днем стремительней —

в эти годы

свою моду вводит двадцатый век}.

Ее ленты орденские так ярки —

они светятся радужней хрустала

и сияют, словно газоны в парке

у Его Величества короля.

В золоченых рамах ее портреты,

и на всем пути ее, там и тут,

величальные оды и триолеты,

как на братской могиле цветы,

растут.

И она идет. И ликуют трубы.

И победой легкой окрылена,

через кровь дымящуюся и трупы

так легко перешагивает она!

И она идет. Ей легко в походе.

Лишь гремят подковки на сапогах.

И взамен косы, что давно не в моде,

автомат современный в ее руках.



Вот она приблизилась,  
   вот в кювете  
 притаилась рядом, шагах в пяти,  
 погостив недолго на этом свете,  
 из окопа нам уже не уйти...  
 Вот летает бабочка по-над лугом,  
 где цветы невиданной красоты,  
 но она подкрадется сейчас,  
   и мигом  
 почернеют и бабочка и цветы...  
 Вот у поля,  
   желтого поля хлеба,  
 вылетает ласточка из гнезда —  
 только выстрел грянул,  
   и птица с неба,  
 с неба наземь падает, как звезда...  
 Вот сидит солдат у того же поля,  
 он портянки снял в этот тихий час,  
 но в солдатское сердце  
   влетела пуля,  
 и упал он набок, и взгляд погас...  
 Так идет и пирует она, и, кроме,—  
 ничего ей не надо,  
   и, слыша бой,  
 Розамунда пьяная,  
   чашу крови  
 поднимает с хохотом над собой...  
 О как я ненавижу  
   твой наглый глянец,  
 и убогую суть,  
   и славу твою!

...Сам я видел  
   этот смертельный танец  
 у могильной ямы, там, на краю...

(...Она, само собою, каждого встретит у финиша, и нажмет хронометр, и точно зафиксирует время, за которое пройдена дистанция... Но бывает и так, что на половине дистанции подкашиваются ноги, и тогда уже финиша не достигнуть... Иногда она превращается в свинцового карлика, забирается в ствол автомата и, полная ненависти, глядит человеку в глаза... Уставившись в черное отверстие винтовочного ствола, я стоял под деревом, на котором распевала маленькая красная птица.

Мне показалось, что это, перемахивая с ветки на ветку, прыгает мое переполненное песнями сердце... И мои влажные глаза соскользнули с черного металлического отверстия и впились в утреннее солнце...)

3

Генеральский жест —

и над городами  
покачнулось небо, упала тьма,  
и полосками дыма, словно бинтами,  
перетянуты раненые дома.

Они корчатся

в черном дыму сраженья  
и глухими улочками бредут  
по ночам, как солдаты из окруженья.

...Но дома́

домой уже не придут.

Генеральский бас —

как труба —

во мраке:

— Разговоры!

— Залп! —

и — тра-та-та-та!..

И набиты лагерные бараки.

За колючей проволокой в три ряда.

Арестантские длинные эшелоны.

В темноте. Набитые, как скотом...

{Генерал виновен! Нет, миллионы —  
миллионы, они виноваты в том!}

Генеральская подпись —

и по приказу

твой родной язык

и родной дымок

над родимой крышей —

все это сразу

будет прочно заперто на замок.

И становится холодно человеку,

и глаза ему застилает мгла,

и несет по земле его, словно ветку,

дикой бурей отломленную от ствола...

Генеральский жест понимает свита...





## IV

### Диалог на развалинах.

Осеннее полнолуние. Огромный, тяжелый, багровый лунный диск. А на фоне кровавого круга — черные контуры развалин. Будто смертники, пригнанные на расстрел к могильному рву. Поникшие головы, связанные руки... Как на скульптуре Родена «Граждане Кале». Черные развалины с запавшими щеками, с провалившимися глазницами. Вынырнув из них, ворон с карканьем опускается на уцелевший обломок кровли. Черепа из кирпича и цемента. Ни носа, ни губ. Упираясь рукой в искрошенные цементные зубы скелета, стоит, затягиваясь сигаретой, Он. Рядом стройная женская фигура; из-под косынки выбивается непослушная прядь волос.

Он. Развалины... Кругом одни развалины...

Она. Ты спрашивал про свою маму? Я видела ее только в первый день войны... Ты в редакции жег архивы. А я побежала за город... к ней. Она ужасно убивалась и так плакала... Потом уложила в маленький чемоданчик твое белье, еще кое-что... перекрестила меня, поцеловала, велела тебе снести. Получил ты ее чемоданчик?

Он. Да. Неподалеку от Волги. Его передала твоя подруга. И сказала: тебя не отпустили из дому...

Она. Значит, получил...

Молчание. Где-то грохает одинокий выстрел. Трескотня автомата. И снова мертвенная осенняя тишина над развалинами.

О н. Кругом одни развалины...

О н а. Я думала, ты погиб. Траур носила. Перечитывала твои письма. Целовала каждую букву, каждую точку и запятую. Плакала... Через год вышла замуж.

О н. Кругом одни развалины...

О н а. Муж мой — скрипач в опере. Дочке три года. Вот и все.

О н. Да, все... Кругом одни развалины... Придется много поработать...

О н а. Придется...

О н. Что-то дрожь пробирает... Прохладно. Пошли. Выпьем рюмку водки...

...Как бьется сердце!

Вот моя деревянная башня!

Иллюзия моей юности!

Возвращаюсь как археолог. Чтобы раскопать забытую могилу. Здесь, под толстым пластом земли, покоится мой Человек. Я должен воскресить его.

Здесь до двадцати лет создавал я свой мир. Засучив рукава, перекачивал каменные глыбы, из гранита и мрамора высекал колонны и орнаменты, отливал из меди и бронзы статуи.

Только ближайшим друзьям показывал я порой свое незавершенное зодчество. В мансарде Иллюзии лежало несколько тетрадок с рукописями стихов, новелл, драм. И роман о Чудаке, писавшем философские поэмы и импровизировавшем за роялем.

Увы! Остались одни черепки, осколки, обломки. Разрозненные строфы поэзии, рассыпанные крохи прозы...

Нагнувшись, подбираю бранный прах моих рукописей. Ворох изодранных, грязных листков. Будто здесь рысью проскакали всадники. И все растоптали.

О руины моей Иллюзии!

(Через много лет под небом Италии меня утешила и обнадежила редчайшая находка на раскопках Помпеи — отпечаток человеческой фигуры в застывшей лаве. Нальешь туда расплавленный металл и получишь точное изображение того, кто погиб две тысячи лет назад. И я тоже решил: призвать на помощь верного друга — Память, — возродить мою маленькую Помпею — Иллюзию...)

В Дайнаве — крае песен-дайн — еще никто не поет...

Запеваает пока только студеной зимний ветер среди горбатов избушек, провалившихся в глубокий снег по самые соломенные стрехи. На заиндевелых верхушках деревьев каркают оголодавшие вороны. В белоснежных пустынях — ни души. Лишь голубые ленты дыма, вытканые трубами изб, цепляются за низкие сизые тучи. Всколыхнется воздух, и голубые полоски, прилипшие к жирным тушам-тучам, кружатся, полощутся на ветру.

В одно из множества дайнавских сел прислали меня — на завтрашние выборы. Тут словно затерянный остров. Кругом со всех сторон дремучие чащи, по ним алчными волками рыщут недобитые банды. Нагнали они страху на деревенских жителей — грозят смертью всякому, кто пойдет голосовать.

Я приехал на розвальнях ранним утром — еще ничего не было готово. И теперь в сельской школе вовсю хлопочем в поте лица мы: я и местный учитель — славный, порядочный человек.

Пилим доски, стучим молотками. Сколачиваем урны — одну большую и несколько переносных.

Жена учителя молча выметает стружки и опилки. После обеда классная комната уже прибрана и принаряжена.

Учитель уходит, потом на пороге долго отряхивает снег с сапог. Лицо озабоченно.

— Мы подготовились... — говорит он. — Они тоже.

— Откуда вы это знаете?

— Взгляните-ка на пригорок.

Вдали — горб холма в снежном тулупе. Торчат две березки, низко клонят окаймленные инеем ветки. Под деревьями копошатся две черные точки. И черное пятно.

— Пулемет, — поясняет учитель. — Нацелен на школу. Только придут избиратели — сразу: «Огонь!» Так они постановили и на селе о том объявили.

— А, по-вашему, придут люди голосовать?

Учитель качает головой.

— Что им, жить надоело?

Здесь бандитов побольше, чем в других местах. Есть где прятаться в чашобе. И жители здешние крепко запуганы.

После обеда прибывает охрана — два народных защитника. Один — высокий, красавец. Но совсем еще юнец — пороха не нюхал. А другой — щуплый, маленький старикан с высохшим, как прошлогодняя груша, лицом. Немногим выше своей винтовки. Перехватив мой скептический взгляд, еще пуще морщится. Обижается:

— Не бойся, со мной не пропадешь. Меня «лешие» как огня боятся: умею им баньку истопить. Неважно, что ростом не вышел: махонькая кочка большущую телегу опрокидывает... Вот оно как!

С народными защитниками — девушка из района. Проверяет списки избирателей. Тщательно заплетенные косы. Щурится сквозь стекла очков. Спокойная, веселая — все шутит. Держится — лучше не надо. С такой и в атаку не страшно.

Зимой рано смеркается. Оба защитника осматривают оружие, чистят, смазывают. С той стороны, откуда за нами подсматривает пулеметный ствол, они ставят два ящика с патронами, высыпают на пол «зеленые яички».

— Одно яичко сунь в карман! — Это мне старик говорит.

— А зачем?

— Не ровен час, налагаются самогону и пойдут куролесить. Мало что им в голову взбредет... Налетят — а нешто им живьем сдаваться? Мучить станут. Полосы со спины вырезать. Глаза выкальвать.

Повинуюсь. Сюю в карман гранату.

— Уже! — вернувшись со двора, объявляет старик.

Выхожу. Село спеленуто вечерними сумерками. Широкая снежная простыня — будто только из стирки. Поэтому видно очень далеко. С горки помаленьку спускаются три черные тени. Три всадника пробираются сквозь глубокие сугробы. Потом выезжают на дорогу и, погарцевав, сворачивают в село.

Все ближе конское фырканье. Три лошади сквозь вечернюю муть несут троих черных всадников. Разведчики! За ними, наверно, последуют и другие. Три конника подъезжают к околице, останавливаются, ждут. Лошади нетерпеливо бьют копытами. Но всадники не торопятся.



Вижу их отчетливо. Крепко сидят в седле, три ражих детины: таких сразу не вышибешь. Теплые полушубки, ушанки, на груди автоматы.

Три всадника...

Правда, теперь они уже загнаны в лес — их последний бастион. Но они дьявольски живучи. Под покровом ночи еще могут налететь из-за угла, растоптать, уничтожить. Клокочет у них в груди черный деготь мести. Зависть к жизни. Три ночных всадника ревниво сторожат оставленные войной развалины — чтобы не проникла туда жизнь с ломами и лопатами, с экскаваторами и подъемными кранами. О эти проклятые три всадника!..

Тьма, будто колпаком, накрывает село. Со всех четырех сторон чернеют стены леса. На околице в воздух взвиваются звездочки. Сначала зеленые... Потом красные...

— Сигналы подают, — стиснув зубы, цедит старик.

Три всадника сигналият. Вызывают из чащи свою свору. Мы гасим свет. Напряженные минуты ожидания. В тишине слышно хриплое дыхание старика. Одну за другой он крутит сигарки, курит без остановки.

На селе распоясалась гармонь с пьяными песнями.

— Веселятся, — брюзжит старик и, усмехаясь, обращается к очкастой секретарше: — Вашу милость на вальс приглашают.

Девушка громко хохочет:

— Я бы, дядюшка, им такой танец закатила, чтоб с земли не встали.

— Да уж и танцы у них — бесовские посиделки! Ступайте-ка все спать. Я подежурю.

Опять выхожу на улицу. Никто не стреляет — одни только деревья: стиснет стужа ствол железным обручем — дерево охает, жалуется, стонет и вдруг не выдержит. Трах — и треснет. Из леса к небу все взлетают звездочки ракет. Сигналы, сигналы, сигналы... Где-то вдали разгорается зарево. Верно, избирательный пункт подожгли.

С утра по задворкам, огородам тайком прокрадываются к урнам три старушки.

— Ушли из села веселые братцы? — острит наш дед.

— Ушли... — подтверждают бабки. — Под утро...

Больше никто не появляется. Густо дымят трубы избушек. Сегодня в поднебесье не вьются, не полощутся голубые ленточки. Дым винтами, сверлами буравит пласты туч. Ветер не сильный. Поднимется снежный столбик, покрутится каруселью и сползает белыми простынками. Метет...

Дед запрягает.

— Забирайте маленькие урны,— говорит он.— Придется самим.

Парня оставляем в школе. Дед кладет в сани автомат, ящик с патронами, берет вожжи.

— Н-нооо!..

От избы к избе.

В одной из них молится седой старец.

— Дедушка, видно, позабыл,— шутливо журю его.— Выборы! Голосовать надо.

Старик крестится широкой ладонью, целует распятие, ставит на стол.

— Говоришь, голосовать? А за кого, дитятко?

— За жизнь!

— Немного уж мне ее осталось. Весь свой век за нее голос подавал... Горе мыкал и лучшего житья дожидался. А оно все не приходило.

— Попробуй еще разок.

— Говоришь, еще разочек? Чтоб только, за жизнь голосуючи, смерти не выбрать... Видали небось, какие здесь волчищи стаями ходят...

— Видали.

— То-то. Нагрянут, избыют всех, избы обчистят. Последний кусок изо рта вырвут. А то и пристрелят.— Помолчав, продолжает: — Сердца у них нет. А без сердца — какой же это человек? Такому в тебя пулю пустить — раз плюнуть. Завидует он, что у другого сердце в груди.— Старик сухо закашлялся.— Не хотят со своим недавним богатством прощаться. А оно нашим горбом нажито, нам его и возвращают. Лесным это, ох, не по душе! Вот и грозят.

— Руки короткие,— говорю я,— не дотянутся. Голосуй, отец, за перемену жизни.

— Весь свой век голосовал. Могу и еще попробовать. Только смерть выбирать не согласен. А жизнь — сколько угодно.

На всякий случай, чтоб не видели ребятишки, мушиным роем облепившие стол, он выводит меня в сени, скла-

дывает бюллетень и сует в отверстие моего «скворечника».

— Стало быть, все.

— Все, отец. Спасибо. Будь здоров, живи счастливо! Старик глубоко вздыхает и крестится.

Розвальни легко скользят по дорожным колеям, Лошадь трусит неторопливой рысцей. Наша секретарша вся обмоталась толстым шерстяным платком — торчат только очки и красный кончик носа. Я крепко сжимаю «скворечник». У деда нашего в одной руке вожжи, в другой — автомат. Он давится сухим кашлем.

Скрипят сани по свежим отпечаткам копыт. Здесь недавно проскакали три всадника. Весело скользя, розвальни заравнивают на снегу их следы...

...Выхожу из зала.

А за мною гонятся брошенные с трибуны злобные слова:

— Тоже, с позволения сказать, поэт...

Слова жужжат в ушах, как назойливый комар.

Никак не пойму: почему «с позволения сказать»?

...С сердцем, обливающимся кровью, сказал я в первый день войны «прости» родным нивам и ушел на восток. Помнится, у местечка Сморгонь в последний раз обернулся на запад. Каким кровавым и страшным показалось мне заходящее солнце! И стало тоскливо на душе. Как никогда.

Значит, уже в первый день войны захворал я тяжким недугом — тоской по родине. Лечился работой. В эвакуации пошел на стекольный завод, потом писал, ездил на фронт. А недуг ностальгии все не проходил.

Тягостная тоска привела меня в ширь русских степей, где литовцы в общем строят бойцов пролагали дорогу на запад.<sup>3</sup>

И тут по велению судьбы довелось нам, литовцам, освободить у годуновских Кром маленькую русскую деревеньку. Звалась она Литвой. Со слезами на глазах сквозь огненный шквал ворвались мы в это дымившееся пожаром селение.

И вдруг я почувствовал себя в родном краю. Путь от деревушки Литва до настоящей Литвы сократился вдвое. Рассогнания — это не только география. Это также и уверенность!

В деревне Литва нашел я целебный бальзам от тоски по родине. С фронта привез мою первую, хоть и тонень-

кую, книжку лирики. С сердцем, наполненным лирической тоской, возвратился я и в освобожденный родимый край.

Но тут уже одной тоски оказалось недостаточно. На развалинах закипела большая стройка. И каждому надо было срочно занять на ней свое место. Жизнь не ждет! И поэт, выражаясь армейским языком, должен был протянуть линию связи к весьма разнородной аудитории. Война оставила руины не только на поверхности земли. Немало оказалось сердец, из которых торчали скорбные обломки развалин.

Нелегко было завести с читателем разговор по душам. Мешали всякие твердолобые догмы и схемы в литературе. Подыскивая более надежные поэтические «средства связи», я проверял свой голос, готовил новую книгу.

И вот...

Вспомнился мне покойный Оскарас — он умел так добродушно смеяться, но больно расшибся о бюрократический канцелярский стол...

Спускаюсь к вешалке. Знакомые расходятся, рассеиваются — вокруг меня постепенно образуется пустота. Стою одиноко. И подходит она. Единственная. Зеленое пальто, зеленая шляпа, прозрачные янтарные зрачки и женственно успокаивающая улыбка.

— Кончилось? — спрашивает.

— Кончилось...

— Раскритиковали?

— Раскритиковали... Теперь и ты меня бросишь?

— Не брошу. Чего ты вдруг?

— Да так... Люди, верно, всякое болтают.

— Болтают, — тревожно подтверждает она. — Все равно буду с тобой.

Мы вышли на улицу.

Электричество у нас вечером не горело. И свечей не было. Вытащили мы на кухню небольшой столик. Она накрыла его белой скатеркой, приготовила скромный ужин.

Потом мы затопили плиту, а дверцу не прикрывали. Дрова весело шипят и потрескивают. Весело бегают по ним огненные язычки. И струится на нас розоватый свет и ласковое материнское тепло. Домашний очаг...

Стук в дверь. Заходит Феликсас. И так...

## ИНТИМНЫЕ АКВАРЕЛИ

Вот  
акварели,  
эфемерные, как райский  
парк отдыха,— бесплатно вход  
открыт,  
и легкие, как вздох во мгле  
убежищ!  
тревога кончена, налет отбит!

## ТРЕВОГА ПТИЦ

Вдруг  
я тревогой птиц  
объят.

У моего порога  
весна.

И неясна  
воздушная тревога.  
Ночь мучат соловьи,—  
сирена их все хлеще.  
На вышки,  
на скворечники свои  
вскарабкались пожарники-скворцы, оповещая о  
пожаре в роще.

И впрямь  
пожар весны бушует в чаще,  
и этой ночью все светло как днем.  
Черемухи блестяще и томяще  
зеленоватым светятся огнем.

Клубится,  
кувыркается огонь,  
а дым все ослепительней и гуще.

Пожар зеленый, красный, голубой  
 объял кусты, деревья, рощи, пущи.

Пылает  
 синяя сосна,  
 нагретый песок корнями уминая.  
 Зигзагом белым в небо взметена голубка-молния.  
 Над омутом, бледна, дрожит черемуха, Офелия  
 лесная.

Офелия!  
 Ее несусь я в сердце,  
 как кровь свою, как боль, как все, что не изжить,  
 как дольку синевы мадонны Рафаэля,  
 как монолог героя старой драмы — классическое:  
 быть или не быть!

И тут  
 каскадами своей высокой  
 колоратуры гасят соловьи  
 лесное пламя.  
 Именно за это им, соловьям, и возвели поэты  
 блестящий монумент, чей колоссальный цоколь  
 вознесся над пучиною глубокой превыше всех утесов  
 всей  
 земли.

И по лесам  
 мечусь и я, охвачен  
 панической тревогой соловьев,  
 и от гуденья их оркестров кровь, как будто от  
 Бетховена,  
 вскипает, и вновь поэзия в права вступает, в тревогу  
 певчих  
 птиц меня ввергая вновь.

Я голосом ее  
 тушу горящий лес.  
 Пока тревожно сердце — я не сдамся.  
 Я буду жить!

Офелия, я здесь!  
 По песне соловьиной — а она тебе, Офелия,  
 посвящена,—  
 по песне соловья учусь я ассонансам!

## ЭТО СЕРДЦЕ ШИРОКО РАСКРЫТО

Это сердце широко раскрыто  
для тебя,  
как для дождя весною  
вся земля...

Вошла ты — и ракиты  
и поля вошли вместе с тобою  
в сердце мне (агрессию такую  
принимаю)...

Ты вошла — и пламя  
мака огненного с белыми дымками  
мотыльков, и жаворонка выстрел, и ржаную золотую  
пулю  
в сердце мне вонзила (принимаю  
кару я такую)...

Ты явилась  
и с цветком ромашки желтоватым  
солнечный мне подарила атом  
и раскрыла при весеннем громе,  
как стихов уйтменовских томик,  
луг зеленый (принимаю  
я такое чтение)...

Ты явилась  
и явила мне с тобою вместе  
рафаэлевское поднебесье,  
гения дары. И сонм летучий  
облаков плывущих, как могучий,  
ветрами всклокоченный Бетховен,  
в сердце мне ворвался (принимаю  
ношу я такую)...

Ты явилась,  
и возникшая с тобою вместе  
полумесяца соха вонзилась  
в дол вечерний. Струны сосен медных,  
величаво отвечая ветру,  
в сердце зазвучали (принимаю  
музыку такую)...

Ты явилась,  
и с тобою вместе расстелилась  
вся капроновая сеть созвездий,  
густовязаная, та, что в мае

здесь во всех орешниках все ночи  
ловит все сердца, всех соловьев.  
Всю эту добычу подарила  
моему ты сердцу (принимаю  
я такой улов)...

Явилась ты,  
и взглянуло солнце с высоты,  
чтобы вместе с нами путь держать.  
Ты, единственная для меня на свете,  
ты,  
как хлеб, входящий в плоть и кровь,  
входишь в сердце! (Принимаю  
хлеб такой)...

Цветите в сердце, маки,  
рожь, ромашка, ель с сосной, ракиты!  
В сердце у меня весна.  
Ты, необходимая поэту,  
этот свет весенний принесла.

Это сердце широко раскрыто  
для тебя,  
как распахивается весной  
вся земля для теплого дождя!

## ПИТОМЦЫ ЛЕТА

Кто это там шипы крыжовника  
блестящею росой усеял!  
Всем ясно:

это дождь-садовник  
полз на коленках по аллеям.

Он, плечи яблонь обволакивая,  
жемчужную им придал прелесть.  
И снова солнечные факелы  
в янтарных сливах загорелись.

И вишня, как рубин, зажглась,  
заполучив от солнца дозу  
фотонов... Дождь-энтузиаст  
на арфах солнечных лучей разыгрывает Берлиоза.



Лучится дождь по мостовой,  
и блещет солнцем вся терраса  
для нас с тобой —  
питомцев лета, голубых, словно классический

Пикассо.

А у террасы расстилается  
асфальтовая кинолента,  
и в лужицах на ней пытается  
запечатлеться это лето.

Это лето в нашем теннисе, в наших темах,  
в наших коктейлях и в нашем кофе.  
И струится сонетами в наших венах  
шекспировских драм любовь.

И нарушают наш отдых, лениво делящийся,  
только ласточки, всегда гнездящиеся под сенью террас.  
И спуют эти две ласточки суетящиеся,  
как два амура, над головами у нас.

## ПОД СЕНЬЮ ДРЕВА ПОЗНАНИЯ

О,  
какое красное яблоко!  
Пора ему сорваться с древа!  
Я, на лугу лежащий навзничь,  
смотрю, как юность зреет зрело,  
и размышляю

о Прародителе,  
едва не сбросившем оковы  
земного притяжения губительного,  
не будь бы яблока такого.  
Тогда бы  $E=MC^2$   
мы не считали догмой, нам преподаваемой.  
Вращается круг безысходный...

...Дорого на этом колесе платим

за грех первородный.

Что ж!

Пусть мы жертва!

Но тем не менее

те,

кто действительно растут,  
 освобождаются и тут  
 от пут земного притяжения...

Любимая!  
 Взгляни на землю эту!  
 Плоды земные вызревают сладко.  
 Их бремя тяжело.

Но прекрасно лето,  
 и мы ни в чем не терпим недостатка.

Травинки ластятся к лицу, щекотятся.  
 Но счастья ключ искать не будем,—  
 лишь в поте лица  
 земное счастье достается людям.

Таков и будет мир!  
 И пусть! Чего же лучше!

...Звенит река. Благоухает тмин. Пьянит аир,  
 и льется полуденный мед пахучий.  
 И мы с тобою, два творенья солнца,  
 формуемся во вмятинах травы,  
 подобно изваяниям из бронзы...  
 И скульптор Солнце нас обоих опутывает с ног до головы,  
 как будто в холст, в дыханье меда, хлеба,  
 и яблок, и парного молока...

Парящий аист нам курлычет с неба,  
 где зелены, как травы, облака  
 и голуби воркуют колыбельно,  
 и к исполнению скрипичных пьес  
 кузнечики готовятся среди зелени,  
 и репетирует сосновый лес  
 Чюрлёниса.

И плохо исполняет  
 свою извечную обязанность Земля,  
 и притяжение ее ослабеваает...  
 Мечта несет нас ввысь.

И, листья шевеля,  
 на ветке дерева качается все пуще,  
 как маятник какой-то часовой,  
 тяжелый зрелый плод, скворцов на пир зовущий,—  
 все то же яблоко над головой.

И упоительное утомленье  
все тело сковывает.

Но не я  
слабею, а земное притяженье.  
Оно не выдерживает, и выпускает меня  
из своих рук Земля.

Ни времени и ни пространства! Взят  
курс на сон.

И две строфы звучат.  
Две строфы одной песни бывают тождественны:  
мы — единое вечное тело вечного мужчины и вечной  
женщины.

Мы — вечный муж и вечная жена.  
Мы — плоть единовечная одна.  
Так, видно, захотела Ева,  
когда однажды в полдень жаркий.  
косматая, как у льва,  
голова Адама, единственного мужчины на свете,  
тяжело опустилась ей на руки.

...Итак, входит Феликсас — молодой, веселый и бодрый. Стискивает мою руку своей крупной, сильной ладонью.

Хорошо знакомо мне железо этого рукопожатия — во тьме крошечной от тысяч других я сразу бы отличил эту жесткую ладонь.

Рука многое может рассказать о человеке.

Она все та же — ладонь столяра. Феликсас закалял ее, строгая доски, обтесывая топором дубовые плахи. Не утратила она своей железной твердости и в тюремной камере.

Потом свобода, ответственная работа. Затем — фронт.

А руки не изменились. Добротные руки, которые, даже сменивши рубанок на перо, остаются крепкими, без всякой дряблости.

Часто язвит он, называя меня мягкотелым мечтателем, но делает это беззлобно и бережно. Уж он-то прошел отличную житейскую школу и чужд романтической восторженности. Старается и меня обратить в свою веру.

А я не хочу покидать своей «деревянной башни Иллюзии» (которой, увы, уже и в помине нет). И порою мы спорим. Он заменил мне погибшего Оскараса — насущно нуждаюсь в его трезвой, реалистической критике, чтоб не оторваться от твердой почвы.

— Покрепче упрись обеими ногами в землю. Работы — хоть отбавляй. Кругом развалины...

Чтобы воскресить к жизни руины, нужны такие руки, как у него, — широкие, сильные рабочие руки. Да, в наше время и стихи надо писать такой же крепкой рукой...

...В школе Юозас был моим любимым учителем. Выделялся среди своих коллег — одет скромно, даже не-

брежно, никогда не носит шляпу — только обыкновенную серую кепку. На занятия частенько приходит без галстука. Со старшекласниками беседует запросто, — бывало, и папироску с ними выкурит.

Глубоко начитанный, он и сам «грешил» литературой — опубликовал роман и собственноручно сжег его в печке. Потом взялся за музыку. Но время от времени в одном из альманахов появлялись его мрачноватые новеллы, выдержанные в каком-то темно-пепельном «колере». Юозас играл на виолончели Дебюсси и увлекался Хемингуэем.

А я впервые столкнулся с вопросом: «быть или не быть?» В беспросветное отчаяние приводила меня царившая кругом несправедливость. Не помогали сентенции гимназического капеллана <sup>1</sup>: «Суета сует», — и назойливые внушения эпикурейца — преподавателя литературы, порой зазывавшего старшекласников на чарку вина: «Хоть день, да твой!» Я слонялся как тень по гимназическим коридорам и чувствовал себя акробатом на проволоке — в каждой ладони по тяжелейшему грузу: в одной — гиря «быть», в другой — «не быть». Так и качало меня из стороны в сторону. И я знал: вот-вот неизбежно сорвусь в бездну.

И достаточно было однажды начистоту во всем признаться любимому учителю. Краткая исповедь, масса выкуренных папирос и скупые слова Юозаса:

— Есенин перед смертью написал: «...В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей...» А Маяковский в ответ: «Сделать жизнь значительно трудней...»

После этого перевесила ладонь с гирей «быть».

Минуло столько лет, и снова шел я над пропастью по тонкой проволочке. И опять подоспел на выручку Юозас. Он занимал высокий пост, но прежде всего был мне другом. Как и тогда.

— Без работы ходишь? Загляни ко мне — хочу тебе кое-что поручить. Или будешь прозябать?

— Как прозябать? Влачить существование? Я для всех — лишний!

— А помнишь, когда было особенно трудно — в годы войны, — Саломея писала: «Пой, сердце!.. Припомни все свои мечты. Пой в несмолкаемой тревоге. А смолкнешь — станешь камнем ты, тебя затопчут на дороге!»

<sup>1</sup> Преподаватель «закона божия».

Мы шли по улице. Красная готика Вильнюса влетала в прядку солнечных лучей. Ворковали голуби. На крышах дотаивал серый снег, и крупная капля протачивала мостовую. Капля за каплей...

Слово за словом западает в душу. Сердце распахивается. Весне достаточно проникнуть туда хотя бы через малейшую щелку — она сразу разгонит болезненный чад, выметет сор и грязь. И сердце — снова юное и радостное.

Улыбается мой учитель, как и в те годы, когда играл на виолончели «Проказы Фавна» и зачитывался Хемингуэем.

### Весна. Капель...

...Необозримые водные просторы. В белесом тумане горизонта узкая синяя полоса леса. Беззаботно резвятся белые чайки. Озеро Дрисвяты. На перешейке озерной цепи старая, истлевшая, позеленевшая от тины мельница. Неторопливой, ровной струей ниспадает ручеек, широкой голубой лентой обвивает мельничное колесо. И старое колесо лениво, натужно скрипя, движется, вращается. И однозвучно стучат жернова.

Сажу на краю запруды, закинув удочку. Изредка плотвичка дернет красный поплавок и опять отпустит. Полдень. Рыба осовела. Над водой прозрачными стрекозиными крылышками подрагивает летний зной, напоенный запахом сена...

Смотрю на мельничное колесо. Оно напоминает мне гигантские часы. Длинные зеленые спицы — словно стрелки. Еле двигаясь, чуть скрипит колесо, будто огромный циферблат. Кажется, что вращаются только стрелки — зеленые спицы. А часовой круг почти неподвижен. Время остановилось и томительно застыло на месте.

На перешейке пыхтит движок. Обеденная пора — отдыхают трактор и экскаватор. Здесь сооружают ГЭС.

С одной стороны озера — уголок Латвии, с другой — Белоруссия, с третьей — Литва. Латышские, литовские и белорусские крестьяне решили обуздать водяного исполина — Дрисвяты и общими усилиями построить гидроэлектростанцию. Говоря по правде, предложил это председатель колхоза, названного именем великого Адама Мицкевича. Он тут новый человек. Полон больших замыслов. Долгие годы проработал на транспорте. Но началась

в Литве коллективизация. Требовались люди. Он оставил железную магистраль и перешел работать в деревню.

Вгрызаются в землю скреперы и экскаваторы. Копают котлован. Тракторы тащат камни. По озеру гонят плоты. Здесь работают люди разных национальностей из всех соседних колхозов.

Здесь у меня рождаются идеи новых произведений. Лежу на траве и обдумываю сюжеты и детали. В них откладывается материал из самой жизни. На страницы будущей книги приходят подлинные, реальные люди.

...Меняются самые основы бытия. Запах дома, где мы родились и выросли, навсегда остается близким и дорогим. Но из этого вовсе не следует, что необходимо запреться в нем и никого туда не пускать. И потом, можно ведь построить жилье и получше, удобнее, красивее?

Да и в конце концов не те нынче времена, чтобы отгораживаться от всех и замыкаться в собственной скорлупке. История бушует, как океан. Надо научиться простой вещи — дружить с соседями, их приглашать да и к ним заглядывать. Гуманизм нашего века — нарождающееся всеобщее братство.

...Я пишу поэму об этом братском чувстве, все крепнущем в людях. Здесь, на стройке, я и сам прежде всего ощущаю такое чувство к тем, кто еще трудно живет, тяжело работает, но уже стремится к свету. С председателем толкуем, как родные братья.

Он садится рядышком, на краю плотины, свешивает ноги, впивается глазами в мельничное колесо, которое медленно вращается, словно старинный циферблат. Председатель задумывается. Время как бы остановилось.

— Знаю, — говорит он, — очень нелегко людям. Земли плохие. Доходы малые. А надо строиться, что-то предпринимать. Иначе никогда не выкарабкаешься из темноты и нужды.

Лицо у него исхудало, почернело, заросло седеющей бородой. С самого утра до позднего вечера он в поле и на стройке.

Чего ему не хватало? Зачем понадобилось бросать удобную городскую квартиру и ехать в темное, богом забытое захолустье?

Ищу ответа. Хочу понять человека. Его привели сюда вера, долг, любовь к людям. Он тут переменялся — уже ничем не отличается от других деревенских жителей. Ложится и встает с одной думой: работа!

— Не беда,— говорит он,— годик-другой понатужимся. Зато будет электричество. И новое зернохранилище. И новые хлева. Начинать приходилось на пустом месте. Ничего тут не было.

Красный поплавок ныряет. Подсекаю рыбку. Председатель встает.

— Поеду-ка я на постройку зернохранилища. А как твои труды? Пишешь?

— Пишу...

Он уходит. Слышу отдаляющийся конский топот. Носится председатель — со стройки на стройку: вот как люди работают!

А я? Нет, я еще не пишу. Только вынашиваю в себе будущую поэму. Но... буду писать. Снова жилы мои обжигает знакомое пламя.

По ночам долго ворочаюсь на сене. Сон не идет. Каких только оправданий не придумываю: стебли колются, жучок в ухо заполз... Но себя не проведешь: сам отлично знаю, кто не даёт мне уснуть.

Моя Прекрасная Дама, моя Поэзия днем и ночью бодрствует рядом со мной. Чую в жилах радостный избыток сил. Ах, как хочется писать!..

В полночь встаю, выхожу на берег. По всему озеру протянута белая, будто песком посыпанная, лунная дорожка. Побрел бы, кажется, по ней к лесному домику, где обитает моя Поэзия...

О, как брызжет лучистыми трелями и лунным серебром, как беспокойно заливается серый соловушка в прибрежных зарослях! Весь день потрудившись бок о бок с пахарем, не может уснуть, хотя люди давно отдыхают после страды. Словно обдумывая все сделанное за день, овеает напевами свое гнездышко. Бесхитростно, но из самого сердца льется его славословие родимой земле, своему гнезду и маленькой семье.

Стою на берегу и прислушиваюсь. Долетевшие созвучия по извилистым лабиринтам груди просачиваются, просачиваются; просачиваются к сердцу. И сердце набухает, набухает и трепещет отзвуками соловьиных ассонансов.

О Поэзия! Мне кажется, тебе предназначено пробуждать в человеке одно большое чувство, слагающееся из единства двух полюсов, двух желаний — разрушить в самом себе черное капище злобы и воздвигнуть солнечный чертог добра.



Много пережито плохого. И теперь тянет писать о хорошем.

Писать!

...Окончился обеденный перерыв. На перешейке зычно взревели моторы, вздрагивает разрываема машинами земля, тархтят тракторы, гудят вколачиваемые сваи и гремят сбрасываемые глыбы камней. Работа кипит. Ах, как тянет писать!..

Старое мельничное колесо, словно большие старинные часы, натужно скрипя, брызгаясь, все-таки вращается, не дает времени застыть.

(«...упрекаешь меня,— почему я не сберегла твоих рукописей, но ты не можешь себе представить, что мы с мамой пережили после твоего отъезда... Раз ворвались в дом вооруженные белоповязочники<sup>1</sup>... вытолкали маму за дверь... все перевернули вверх дном... тебя разыскивали... Больная мама не выдержала. Слегла. Через несколько месяцев скончалась. Я похоронила ее на краю кладбища. Тебе покажут — где... Посади на могиле цветы. А после того, как ты стал по радио выступать из Москвы, пришли за мной — хотели угнать на работу в Германию... Я убежала из дому... поселилась с моим нынешним мужем. Когда армия отступала, нас погнали рыть окопы. Потом угоняли все дальше, на Запад. Я теперь сестра милосердия в частной клинике. Муж работает в конторе. Концы с концами сводим, но истосковались по дому, по близким, по родной земле. На каждом шагу здесь чувствуешь, что все не твое, все другим принадлежит. Пожалуй, мы тут, на Западе,— обуза для чужой земли и ее людей. Можно бы и не обижаться: те суровые годы у каждого что-нибудь отняли — жизнь, здоровье, родителей, детей, счастье, дом, родной край... И теперь много нужно потрудиться, чтобы возместить эти утраты... Я думаю, у тебя хватит сил написать такие книги, которые заполнят образовавшуюся в сердцах у людей пустоту...») Из письма сестры.

Радио сообщило:  
«УМЕР... СТАЛИН»...

---

<sup>1</sup> Белые повязки в Литве в самом начале оккупации носили организованные пособники гитлеровцев.

## **АВТОПОРТРЕТ**

Мне помогли  
Рембрандт, Ван-Гог, Сислей  
Непроизвольно  
Смысл постигнуть вещей:  
Чем на лице небесный свет сильнее,  
Тем интенсивней тьма  
И тени -- резче.

...Теперь я допишу автопортрет...

1

Давным-давно  
Под фонарем в мансарде  
Поставил я мольберт и белый холст,  
Подрамником квадратным обведенный.  
Давным-давно  
Собрался написать  
Автопортрет...

Но отвлекало время,  
Которое вспахало мне лицо  
И серой краской  
Черноту волос  
Переписало медленно, но верно.  
Мешали книги, вставшие на полках,  
Как очередь за хлебом,  
В долгий ряд...  
Рассказывали о метаморфозе  
Седеющего доктора...

Желтел

Мой белый холст.

Потом земная пыль

Его покрыла,

И паук горбатый

Капроновыми нитями сплел

В углу прямом

суровую поверхность.

Холст ждал руки,

Которая смахнет

Хитросплетенье тонкой паутины





Там ничто,  
Там пустота, —  
Но я уже в пространстве существую,  
Во времени живу.

3

Я ставлю свой треножник и беру  
Палитру.

Для лица нужна основа,  
Необходимы  
розовый и серый —  
Пропорции известны —

цвет земли.

Земли той самой, из которой вырос,  
Которую вспахать сначала должен,  
Потом засеять,  
Чтобы прокормила,  
Которая опорой служит мне,  
Когда дивлюсь на звезды...

Хлеб насущный —  
Поджаристая корка каравая  
Вкруг мякоти мякинной —  
цвет земли.

Цвет глиняной коры вокруг планеты,  
И серой повседневности разводы,  
И сок земли,

в который кисть макая,

Пишу автопортрет...

И пепел серый —

Да, серый пепел,

потому что все,

Что из земли растет,

Обратно в землю

Извечно возвращается.

Извечный

Круговорот, и серый цвет земли.

Пригоршней горстку пепла подниму,  
Остывшую,

бесплотную,

сухую,



Кроваво-красной краской  
воссоздам

Тот цвет земли,  
которого немало  
Мне довелось увидеть на веку.  
И пусть она исходит красным криком,  
Когда свинец впивается в телá.

4

К землисто-серой краске  
примешаю

Густую синеву  
и осторожно  
Два яблока вложу белесоватых  
В орбиты глаз,  
И две звезды затеплю  
В стальных зрачках голубизны защитной.

Сквозь голубую сталь моих зрачков,  
Которая, как прочная броня,  
Оберегает сердце от коварства  
И черной лжи,  
От мести и от града  
Камней и стрел,  
Которая хранит  
Надежней, чем броня, в походе дальнем  
От ярости слепой,  
Когда гроза  
Мечами молний крестится над полем;  
Которая защитой служит мне  
От сора повседневности,  
от серых

Ничтожных мелочей,  
от суеверья

И суеты,  
Сквозь голубую сталь,  
Из-под брони моих зрачков защитных  
Фиалкой синей проросла звезда, —  
И сердцу, вырвавшемуся на волю,  
Дарует цвет —  
И на странице белой,  
На чистом поле этого листа

Пирует сердце,  
намечаая кровью  
Дорогу строк...

О, если бы глаза  
Не затаили под броней доспехов  
Космического проблеска мечты,  
Они бы только серыми

и только

Глазами были, —

и лишь только серым

Был этот мир.  
И потому вложу  
По голубой звезде в зрачки стальные.

Руками загрубелыми сгребу

Для черной краски

Месиво окраин,

Завода черный дым

И сажу труб,

Пролом в стене

И пепелище крова,

Разрушенного бомбами.

Сгребу

Чернейшую из красок

Цвета трупов,

Кремированных заживо.

Сгребу

Наросты черной краски цвета муки,

Непрощеной тоски моей и боли,

И черный мрак бессонницы

сгребу.

И чем иным изобразить морщину,

Глубокую и черную бразду,

Которая все глубже с каждым годом

Прорезывает лоб, —

И чем иным

Точнее воссоздать на полотне

Ночей бессонных черные подглазья,

Зияющие ямины глазниц,

Края которых

так близки по тону

Осенней, жухлой, вянущей траве,

Как брустверы траншей!..

И чем иным





Вторгается оно...  
 Вот почему  
 Мне для лица необходимо солнце...  
 В его косых лучах

земля землей

Останется,  
 но цвет землисто-серый  
 Начнет светиться, —  
 И заговорят  
 Все краски на холсте моем суровом.

И все цвета земли:  
 Землисто-серый,  
 Землисто-красный  
 И землисто-черный —  
 По воле солнца  
 Голос обретут.

И всходами космической мечты  
 Из-под стальных зрачков  
 пробьется пламя

Двух звезд,  
 двух зерен неба и земли.

Все эти краски существуют въяве,  
 Они реальны.  
 Никаким приказом  
 Не властен уничтожить их никто.  
 Они возникли из земли,  
 И только  
 Одно лишь солнце  
 Дать способно цвету  
 Звучанье жизни

или заглушить...

Вот почему таким я и пишу  
 Автопортрет:  
 С холста гляжу на землю  
 Такой же, как с земли на этот холст.  
 А над холстом —  
 Циклон, включенный в космос,  
 Светило дня,  
 Которое с боков  
 В седых кудрях Эйнштейна,  
 В белых космах  
 Летящих над планетой облаков...



**С** площадки космодрома человек заглядывает в глубь Вселенной. Он хочет сделать поэтические звезды реальностью.

Но вот глаза его обращаются к земле. Под ногами у него сквозь бетонные плиты пробились первые зеленые стрелки травы — ими земля приветствует весну, приходящую из космоса.

Весна на земле, на звездах, в человеке...

Первый космонавт скоро воспарит к небесным светилам.

...По ночам за рабочим столом пишу новую книгу стихов «У подножья звезд». Начинается она с цикла о Человеке. По этому поводу я испещрил свой дневник различными пометками. Хочу сам понять, почему пишу эту книгу.

И в дневнике появляются примерно такие разрозненные мысли.

О, как вырос человек! Не пора ли писать его имя с большой буквы?

Нет, еще не пора. Но, пожалуй, мы уже вступаем в эту эру.

Конечная цель — это человек. Вернее, совершенная гармоническая личность. И прежде всего для нее надо создать материальную базу: попросту — хорошую жизнь.

Ощувив твердую материальную основу, человек пожелает избавиться от гнетущих земных забот, а тем самым будет непрестанно совершенствоваться.

Люди искусства призваны совершить большое дело — во имя «человека в человеке».

В каждом из нас вырастает новый человек и требует, чтобы искусство, поэзия, музыка росли вместе с ним. И помогали ему расти.

Он заставляет нас устремить на него пронизательный, пытливый взгляд.

Кто он, этот сегодняшний? И чем отличается от вчерашнего?

Насколько он успел вырасти и в чем еще нуждается?

Все это серьезнейшие вопросы для каждого современного художника.

Кое для кого человек — всего лишь маленькая обособленная клеточка, наполненная скорбью, мукой, одиночеством, рабски покорная врожденным, неистребимым инстинктам. И видящая свою конечную цель в смерти.

А для некоторых художников-традиционалистов, различающих только внешнюю оболочку, человек — это серенькая, безответная частичка безликой массы, лишенная внутреннего содержания.

Если поверить тем или другим, человек — раб изначальных сил, далеко превосходящих его своим могуществом, антигерой.

В большом и сложном человеческом эпосе главное действующее лицо, конечно, человек, и его усилия увенчиваются в конце концов победой над злом.

Если мы станем на путь дегероизации, придется выкинуть из лексиконов слово «гуманизм». И человек окажется рабом истории. И эгоизма. Тогда нормативы жизни — ненависть, убийства, унижения, подъяремный труд.

Но в таком случае нет выхода из проклятого круга, нет смысла бороться за очеловечивание человека.

И остается только капитулировать и, покорясь судьбе, затянуть заупокойный псалом.

Но ведь человек живет и хочет жить!

В наше время земной шар словно съезжился, сплю-

щился, а род людской раскинулся вширь и ввысь. Диаметральные противоположности в глобальном масштабе!

И надо крепить чувство человеческой близости и братства, космическое чувство.

Надо заново пересмотреть много истин, возвещавшихся прежде о человеке. И чем скорее, тем лучше для всего рода людского.

В перспективе космического века ненависть и волчьи законы становятся особенно крупной угрозой.

Время, история должны сделать свое: заровнять пропасти, возникшие в человеческом роде в процессе распадов. Быть может, в космический век произойдут обратные процессы — сближения и исчезнут эти бездны.

Я — за экспериментальный способ познания человека. Ищу новые элементы этой удивительной материи. Хочу познать ее структуру. Навожу на человека сфокусированный пучок (кванту) светящихся элементарных поэтических частиц.

И теперь мне уже куда более отчетливо видна каждая деталь в нем. Оказывается, его круглая голова похожа на солнце или на земной шар. Глаза — как два солнца. Все это очень просто и естественно.

Почему же я раньше этого не замечал? Потребовалось создание в атомной физике пучка — кванты элементарных световых частиц. Б следует за А. А не наоборот.

Я взглянул на обнаженное мускулистое человеческое тело. Что может быть прекраснее? Никакие покровы одежд не прибавят ему красоты. Это понимали уже древние греки. И художники других эпох.

А как прекрасно человеческое тело в ритмической пляске, в скульптуре! На полотне и в поэзии!

Человек очень красив, когда трудится. Когда каждый его мускул напряжен.

Но тело — еще не все. Человек в человеке — вот главное. И может, тот внутренний облик и есть самый достоверный портрет человека.

Облегчая свою художественную задачу, мы уделяем большое внимание внешности, телесной оболочке. И человек становится простым и понятным — до скуки...

Заглянув сквозь оболочку тела в человеческое нутро, увидишь в нем подлинное человеческое, увидишь подлинного человека — гораздо более сложного, глубокого, а самое главное, более интересного.

Сложна и трудна не поэзия. Сложен и труден сам человек. Разве мыслимо изобразить его предельно простыми средствами?

Начинать надо не со стиля — это было бы формализмом, — а с первоосновы, с материи, предписывающей и стиль, и манеру, и жанр.

Чем глубже мы заглядываем в человека, тем более сложным предстает он перед нами. И чем глубже обращенный в человека взгляд, тем сложнее произведение о нем — сложность надо отличать от путаности.

Мне кажется, легче всего быть лишь тем, кем ты родился.

Гораздо труднее — мыслить. Чтобы стать еще чем-то большим, чтобы увидеть брата в другом человеке.

Человеком быть трудно. Стать человеком — большая работа. Надо многое продумать, прочувствовать, пережить.

Опасны крайние — модернистские — воззрения на человека. Не менее опасен и чисто традиционный подход к нему.

Традиционалист также представляет себе человека неизменным, духовно косным.

Подобный человек неполноценен, он в плену у латаргии.

Уже древние римляне знали: «Времена меняются, и мы изменяемся вместе с ними». А в творчестве часто властвует застывший каменный сфинкс — желание на все времена законсервировать нечто локально ценное, но чрезвычайно косное.

Если поверить таким крайним взглядам, земля стоит на месте. Обе эти крайности схожи, они основываются на прирожденных инстинктах. Но инстинкт — всего лишь грубая видимость. Изменения в человеке замечает только чрезвычайно изощренный глаз.

Мыслящему художнику следует погрузиться в человеческую душу, как опускается на дно морское водолаз, чтобы увидеть там труднодоступные, еле уловимые переходы, изучить все сведения о морском дне. Совершенно не обязательно это дно должно кишеть одними отвратительными пресмыкающимися и злыми чудовищами.

Но не будем обольщаться: таких чудищ на дне все-таки хватает.

И если мы хотим бороться со злыми обитателями морских недр, то должны их узнать, изучить.

В морских глубинах немало также и чудес красоты, немало жемчужин, которых достигает солнечный луч.

Будем смелее.

Пытаясь сконструировать модель грядущего человека, не будем бояться взглянуть правде в глаза. Нечего пугаться злых призраков, ползающих по дну. Не будем обеднять теорию познания человека. Поищем в нем самую суть.

Попробуем создать более объективный портрет человеческой души. Может, за тысячелетия она все же стала несколько иной?

Когда меняется конфигурация материи, ее геометрия, разве прогресс происходит только в материи?

Разве в более тонкой субстанции — человеческой душе — все остается без перемен?

Наконец, почему мы постоянно аргументируем примером старого мира?

Ведь новый уже родился. И выполняет свои функции.

Каким бы я хотел изобразить человека: большим? маленьким? героическим? драматическим? трагическим?

В жизни не существует только маленьких и только больших людей.

Я вижу человека одновременно большим и малым, сильным и слабым, оптимистическим и трагическим, веселым и скорбным. Как в жизни.

Мне всегда хотелось, чтобы стихи мои дышали мукой и радостью человека, его болью и победой, трагичностью и героикой.

Только направляя кормило своего корабля между этими островами и рифами, между Сциллой и Харибдой, Одиссей совершил свой героический подвиг.

В наше время необходим поэтический культ рядового человека, чтобы он не посерел, чтобы больше его уважать!

Да. Каин убил Авеля.

У кого больше шансов уцелеть: у темного Каина или у светлого Авеля?

Если предположить, что, по существу, ничего не изменилось: Каин остается Каином, Абель — Авелем, — тогда напрашиваются катастрофические выводы.

Но если все же кое-что изменилось, мы можем допустить: в силу превосходства своего интеллекта Абель разгадает вероломные замыслы Каина, научится распозна-

вать его инстинкты и вовремя остановит занесенную братоубийственную руку.

Было время, когда поэта больше интересовала судьба массы.

Ныне взор художника все чаще устремляется на каждого отдельного человека.

Неизбежно по мере развития общества на общем фоне все отчетливее виден каждый человек в отдельности. Искусство должно все ярче и полнее изображать самобытного, неповторимого человека.

Я пишу книгу о себе и вместе с тем о тебе, читатель.

Разве я — это не ты?

Разве ты — это не я?

«Человек» — слово чрезвычайно объемное, слово космической величины. Все мы в нем отлично уместимся.

Я пишу в одно и то же время о человеке настоящего, прошедшего и будущего. Кажется, смещены перспективы рисунка.

Но разве это важно? Не будем педантами. Педантизм — тормоз, мешающий объять человека в целом, во всей его сложности.

Достаточно мне произнести слово «человек» — и сразу же рядом с ним встает другое высокое слово. Оно вращается вокруг имени человеческого столько веков и тысячелетий, сколько живет на своей планете человек.

Слово это — «труд».

Как справедливо, что человека создает труд! Не будь труда — не было бы человека.

Поэтому и дорога идея реконструкции жизни, краеугольный камень которой — труд людской. Анализировать и познавать человека нужно в творческом акте. Трудовым творчеством порождается и художественное творчество.

Человек непрестанно своими руками преобразует и творит свою среду, тем самым — и самого себя. Поэтому он постоянно омолаживается, как Фауст. Его непрерывное омоложение — вместе с тем и его совершенствование.

...Заканчиваю книгу о человеке. Но не хватает одного стихотворения.

...А человек уже стоит на площадке космодрома и ждет сигнала. Силою поэтического наития за несколько тысяч километров я улавливаю его взволнованный трепет,



тепло его дыхания, ритмические удары его здорового сердца. Это биологическая радиосвязь. Мы оба стоим на одной параллели века.

Тысячелетия тому назад человек так не дышал. И не функционировал столь интенсивно аппарат его мысли.

Перед глазами этого человека раскрывается новый путь к звездам. Звезды будут его Сциллами и Харибдами. Героически направит кормило космического корабля он — Одиссей новой песни эпоса человечества.

...На пульте палец нажимает кнопку. Ракета окутывается тучей дыма. Соскальзывает с железных каркасов и врезается в бесконечный звездный космос.

...Я — в редакции газеты. Запираюсь в кабинете товарища. И пишу заключительное стихотворение для своей новой книги — «Икар».

Пишу «Икара». И первая буква в слове «Человек» становится все выше. Как и сам человек. В будущем это слово станет нераздельным с прописной буквой. И навряд ли кто пожелает, чтобы имя его писалось с маленьким «ч».

Перекатываясь по белой гальке, зеленоватые волны озера Ория полощут пологий берег. Накаленный солнцем воздух так и звенит от юных голосов, птичьего гама, гула моторов. Старик с лодки удит окуней.

Из камыша вынырнули лебеди. Две белоснежные птицы ведут за собой шесть сереньких, еще не оперившихся малюток. Они величаво близятся к берегу. Заметили толпу ребятишек и плывут прямо к ним. Знают лебеди добро, без червоточки, щедрое-детское сердце.

И лебеди не ошиблись.

Мальчуганы, уплетавшие на берегу хлеб, с резвым криком бегут навстречу белым птицам. Отламывают корочки и на ладошках подают лебедям. Лебедь, вытянув длинную шею, берет черным клювом хлебушко из детской руки. Завязывается искренняя дружба между птицами и детьми.

— Не бойтесь, я вам плохого не сделаю,— уговаривает один малыш.— А хлеба хватит. Мой папа его много вырастил. Нате, берите...

Ласковыми глазами смотрит он на маленьких потешных лебедят. Безоблачны эти глаза. И вправду нег в них

никаких дурных помыслов — только сверкают лучи из самой глубины сердца.

Ребенок хочет помириться и с птицами, и с рыбами, что ныряют в озере, и с зайцем, выставившим длинные уши из ржаной копны, и с порхающим желтым мотыльком. Хочет восстановить приятельские отношения человека с природой, когда-то нарушенные стихией зла...

Но мальчуган расстроен — лебедята недоверчивы, лебедята видят в нем большого человека и боятся его.

— Не унывай, — глажу я выгоревшую на солнце головушку своего маленького приятеля. — Первым долгом поделись с лебедятами хлебцем, а уж в другой раз они сами приплывут и есть попросят.

Мальчуган кидает горбушку. Лебедята сражаются друг с другом, проглатывают угощение и теперь уже, подплыв поближе, просят прибавки. Малыш улыбается мне:

— Они еще хотят!

— А ты им дай.

— Нету больше. Ничего, сбегая — принесу...

Тарахтя подкатывает мотоцикл. Двое парней примчались с молотильного тока искупаться. Потные, усталые. Но там, где пахнет потом, пахнет и хлебом.

Два серых запыленных лица. На каждом — два ряда здоровых, белых зубов.

— По радио передавали — в космос летит...

Сквозь треск мотора ловлю отдельные слова парней.

Эти чудесные слова колышутся, перекачиваются у озера, будто зрелые колосья под ветром. И все сплетается в одно: озерные волны, хлеб на ладонях ребятишек, лебеди, копны ржи, космос...

Лежу на траве и впиваюсь взором в лазурное поднебесье. Сейчас там, на высоте в триста километров, летит человек.

Чего он там ищет? Куда стремится его беспокойное сердце? Его острый взгляд?

Глаз человеческий подобен солнцу. И поэтому вечно рвется к нему.

Человек в непрерывном устремлении. Некогда он расстался со средой зверей, похитил у богов огонь, воздвиг Хеопсову пирамиду, висячие сады Семирамиды, Акрополь, Колизей, запечатлел Монну Лизу, открыл новые материки, создал Фауста и Девятую симфонию, изобрел

паровой двигатель, зажег электрическую лампочку, взметнул бури революции, запустил ракеты...

Глаз человека глядит на пламенеющее око небес и по примеру солнца жаждет создать на земле космические количества тепла. Если желаешь добиться чего-то очень большого, нужно прежде всего проникнуть в самое малое. И человек проникает — в крохотном атоме материи ищет солнце космических масштабов.

На своем пути он никогда не останавливался.

Вспоминаю литовскую сказку. Охотился король и увидел белую лебедушку. Опустилась она на землю, обернулась красной девицей, оставила крылья и пошла, как люди, трудиться. А король сжег лебяжьи крылья, похитил деву, женился на ней и к земле приковал.

Не примирилась со своей долей лебедушка. Ее родичи, пролетая, сбросили ей пару крыльев. И прекрасная дева-лебедь, покинув землю и своих детей, вернулась в поднебесье.

Лебедь—извечная человеческая мечта. Все неведомое, незримое, таинственное эта мечта хочет превратить в земное, видимое, реальное.

Античные греки высмеяли в Аристофановых комедиях людские пороки и вместе с тем создали миф об Икаре. Они умели видеть и низменное в человеке, и сияние солнца.

Леонардо да Винчи написал портрет земной женщины необычайной красоты. И украсил ее уста чуть заметной иронической усмешкой. Он же сконструировал первую модель летательной машины.

С помощью электроники человек стократно, тысячекратно усилил зоркость глаза и отыскал новый неисследованный континент в клеточке живого организма...

...Вчера председатель колхоза предложил:

— Поехали бы вы в Сангруду, на мельницу. Там в пруду форели преогромные!

— Может, и вы со мной?

— Недосуг... Самая страда — косовица ржи...

В крохотный зеленый клочок исполинского земного шара, именуемый коллективным хозяйством, вложено немало людских усилий. Помню, как свозили с поля рожь, украсив коней венком из первых колхозных колосьев. Тогда с гектара снималось по семь центнеров. Теперь осушили пахотные угодья, удобрили их, на под-

могу к людям пришли машины. И в этом году выращен уже двойной урожай.

Человек питается хлебом. Но сначала нива питается потом и мудростью его. Сам собой хлеб не приходит. Как и все прочее на свете.

— Земли тут неплохие,— говорит крестьянин.— Можно бы и вдвое против нынешнего снять.

Вдвое больше! Обязательно так и следует сделать!

Людам становится ясно, что они должны победить природу.

Эту мысль лучшие умы человечества давно сформулировали очень точно. Природа кажется людям огромной, могучей и до тех пор властвует над ними — маленькими, немощными, пока они чувствуют себя такими. Но она сразу же покоряется человеку, если он любит ее и вместе с тем научился ей приказывать.

Человек повелевает природой при помощи орудий труда. Важно преодолеть в себе чувство раба великой природы, ее покорного данника. Важно взрастить в себе сознание ее свободного и независимого властелина.

До нас долетела звездная весть. Человек пытается высоко воспарить над природой.

Детской руке, без колебания отдавшей хлеб лебедям и помахавшей космонавту в полете, суждено взмыть еще выше.

И в душе человека, в его сознании, в этом величайшем космическом просторе, отвоевана у атавистических инстинктов себялюбия и пессимизма трехсоткилометровая высота.

Этого никогда бы не случилось, если бы мысль человека не устремлялась вперед быстрее его тела, если бы не было у него лебединых крыльев. Чем выше воспарят крылья, тем тверже обопрется человек ногами о земной шар.

Звездоплавателю в кабине ракеты испытал совершенно новое чувство, никем из нас еще не изведенное, совершенно иными глазами увидел Землю, светила, ночь мировых пространств. Наша планета предстала перед ним, какой мы еще не видели ее: синим, розовым, фиолетовым шаром. И он услышал звуки, которых мы еще не извлекали из музыкальных инструментов, и почуял ритм, в каком еще не скандировалась ни одна поэма.

Но завтра мы все увидим его глазами, услышим его

слухом, ощутим его сердцем. Ибо в груди его уже бьется три миллиарда сердец.

Счастливого вам пути, Колумбы космических звездных континентов!

Зеленоватые волны озера Ория полощут пологий берег. И белые лебеди подплывают ко мне, словно проникновенные строфы о человеке.

...Когда позже под сводами кремлевских палат познакомился я с Первым Космонавтом, то прежде всего заглянул ему в глаза. И они показались мне необычайно добрыми, младенчески простодушными и совершенно синими, словно два кусочка небосвода, принесенных из космических пространств. И они напомнили мне глаза мальчугана, кормившего хлебом белых лебедей. И в синеве его взора я не видел ни малейшего мутного облячка.

Возникло в памяти репинское полотно: затравленные, понурые, всклоченные бурлаки с лицами, изможденными голодом, недугом, алкоголем, с бечевою на плечах, тащат баржу. Мутные, страдальческие, суровые глаза.

Какой проделан скачок — от взгляда, запечатленного Репиным, до светлого взора космонавта!

Скачок через бездны мрака и пламенные вулканы революции, через чудовищные взрывы, сотрясавшие землю; и багровые моря крови. От телеги, трясущейся по ухабам пыльной дороги, до длинного корпуса ракеты, плывущей по космической трассе.

Немало еще на земле горя и тьмы, крови и лжи, коварства и муки. Но на вопрос, какой предстала перед ним Земля, космонавт отвечает:

— Земля прекрасна!

И, конечно, он прав...

...По-моему, Юрас Пожела похож на отца.

Опять вспоминаю заиндевелый квадрат окна, красные огоньки снегирей на белых сугробах... Потом мой отец, измученный, печальный, входит со словами:

— Сейм разогнан... Переворот! Расстрелян Каролис Пожела...

...Рдяные огоньки снегирей пылают на снежной простыне под моим низким окошком. Глубоко в памяти отцовские слова — как зерно в закромах...

Каролис Пожела погиб, но оставил юную поросль — своего сына Юраса. И вырос сын, мне кажется, поразительно похожим на отца.

Отец был революционером, движущим жизнь вперед. И сын — революционер. И он движет жизнь.

Юрас — молодой ученый, физик. Углубившись в строение материи, он исследует тайны ее элементарных частиц.

Склонившись над сложной аппаратурой, Юрас экспериментирует. В крошечном кристалле сосредоточивает фантастические количества тепла. В ячейке решетки атома под воздействием электрического поля электроны накаляются до десятков тысяч градусов и выше. Концентрация тепла длится ничтожную долю секунды, кратчайшую дробь времени. Кристалл не плавится и, выдержав неслыханный жар, остается холодным. Молодой ученый упорно изучает действие горячих электронов. Пять его изобретений уже осуществлены. С головой ушел он в электронику полупроводников. Вместе с целым коллективом молодых исследователей.

Юный и гибкий ум вторгается все глубже в структуру вещества. Новаторы науки, поэты науки нашего века, стойко и терпеливо, бессонными ночами пишут новую Илиаду человечества. Ее широкие гексаметры начертаны письменами сложнейших математических формул. Формулы объединяются в строфы, которые никогда еще не были столь прекрасны, столь поэтически звучны. Словно музыка стихов слепого певца Эллады. Да и коллективный автор этой Илиады формул незряч — он не видит воочию микромира, таящегося в недрах Великой Природы и восплаемого звучным гексаметром математических символов. Но глазами сердца и разума созерцает этот тайный мир и строфами сложнейших формул начертал уже первые песни поэмы, имя которой Э р а А т о м а.

...Счастливейшее путешествие в жизни человека — возвращение на школьную скамью. Частенько захоживаю к одному талантливому художнику, моему доброму другу, и всякий раз мы вспоминаем какую-нибудь деталь давнего прошлого: забредем в наш старый класс, помечтаем в тихой задумчивости, пылко поспорим, как подобает двум приятелям-одноклассникам.

— А помнишь, как ты раскритиковал мою поэму? — спрашивает Августинас.

Холодно у него в мастерской. За окном, в сосновой роще белеют заплаты еще не стаявшего снега. Весна в этом году запаздывает. Аугустинас накидывает синий халат, покрытый густыми пятнами масляной краски. Держит кисть и палитру и обаятельно улыбается.

— Погоди,— откликаюсь я,— какую поэму?.. Хорошо помню твой трактат — как преобразовать общество по принципам социальной справедливости. Твою утопию. Но поэму?..

— О Гималаях.

— А, вспомнил! — восклицаю я.— Читал ее на уроке математики. Там разочарованный человек отправляется в горы искать nirвану. И ведет философские беседы с горным духом...

Вот, вот,— смеется Аугустинас.— А я зато громил твои рисунки...

Дружно хохочем. Вышло все наоборот: он стал художником, а я писателем.

— Пишу новый триптих «Расстрел»,— говорит Аугустинас, устанавливая большой холст в раме.— Но еще не закончил. Это только фрагмент.

Трагическим реквиемом звучат на полотне яркие гаммы сочно-зеленых, черных, красных красок. Холст словно кипит звуками величавой, широкой, строгой органной музыки. Люди — у могильной ямы. Еще мгновение — и разразятся автоматные очереди. И весь мир станет алым, а потом траурно-черным. «Почему? За что?» — без слов вопрошают лица мучеников.

Идея этого триптиха родилась у него в Берлине — там он выступал свидетелем по делу матерого военного преступника. В годы войны трагически погибли мать Аугустинаса и его брат, тоже художник. Их расстреляли вместе с тысячами других...

Аугустинас передвигает обрамленные холсты.

— Работаю одновременно над тремя циклами: народным, лирическим и космическим.

Для народного цикла Аугустинас использует старинные деревянные статуи безымянных народных умельцев. Стены мастерской увешаны потрескавшимися фигурками из серого, почерневшего дерева. Их красоту он переносит в пластическую плоскость, краски оживляют мертвую древесину. Конструктивно группируемые скульптурные линии придают краскам ритмическое звучание.

А тут начат лирический цикл «Детский сон». Из романтического вечера нечетко выплывают две мечтательные головки. Ввысь поднимаются фантастические стебельки одуванчиков с голубыми венчиками.

Где-то вдали неясные очертания проплывающего судна, морские волны, тонущее солнце и силуэт матери, ведущей ребенка за руку. Благословенный покой синего вечера, мгновенье чудесных мечтаний. Детской душе снятся доброта и красота.

...Сквозь пелену красок передо мной маячат класс, черная парта, головы двух мальчуганов, прижавшихся друг к другу узкими плечиками. Один — темноволосый, кудрявый, другой — посветлее, но тоже с кудрями. Два крупных черных глаза как сливы. И пара других крупных глаз, но синих. И тем и другим привиделось вдали море с плывущим кораблем. Они томятся по дальним странствиям. Это мы с Аугустином.

— А тут космический цикл. Первая часть: бог одолевает человека. Часть вторая будет: человек одолевает бога — победа науки.

На полотне художник возрождает первобытные представления о мироздании. Космос — гайна, царство неведомого. И, низко склоняясь перед сокровенным, примитивный человек творит искусство, посвященное незримо-му богу.

На холсте головы древних небожителей. Деревянный литовский божок. Слева — фрагмент гармонической византийской иконы. Ниже — фрагмент ориентальный, — по разрезу таинственных глаз узнаем Будду. А где-то вдали возникает хаос: стихийное неистовство непокоренного океана вздымает зеленые острова, кидает хрупкие суденышки, ловит языками волн пролетающих птиц. Из хаоса слагаются порядок, мысль, закономерность: встает из морской глубины каменная скала, вырастает гора, твердая и разумная, как человеческая логика, мысль, познание.

Логика, мысль, познание должны преодолеть наивные видения первобытных людей, раскрыть тайну, облечь в формы бушующую стихию хаоса.

Жду второй части цикла, в которой новыми глазами взглянет на Вселенную человек.

Художник берет палитру, кисть и направляется к мольберту...



..Путь извилистый, длинный от А до Ž, от аš до Žmogus<sup>1</sup>.

В книге «Человек» мне ничего не пришлось изобретать. Сама жизнь нацелила мысль. Долго шел я к этой цели. И подвел итог всему виденному, испытанному, пережитому. И названия долго искать не понадобилось: оно выплавилось в моем сердце и помыслах...

Одно время, правда, все это заслонял пресловутый культ. Когда культ был развенчан, на передний план выдвинулся Человек. Во всем своем величии и размахе, во всей красоте своего здорового тела и духа.

Я писал своего рода декларацию Человека. Теперь в разных аспектах и вариантах, уже детальнее и глубже всматриваясь, стараюсь углубить эту важнейшую тему искусства.

Ведь когда мы вернулись к простому человеку и вгляделись в него, то сперва показалось, будто мы заново открыли его. А то, что открыто заново, всегда бесконечно прекрасно, пленительно, величаво. Эта книга и была плодом увлечения человеком, любви к человеку.

Правда, от такой увлеченности герой книги получился несколько преувеличенным, гиперболичным. Меня спросил один читатель:

— Вы изображаете прекрасного и большого человека. Но разве такой уже существует? Не человек ли это будущего?

Считаю себя безусловным реалистом. В каждом из нас такой человек — в разной мере — уже родился. И ничто не остановит его роста. Иначе, наверно, и не удалось бы написать о нем книгу. До сих пор еще получаю немало откликов от читателей. Их письма подсказывают вывод: если человек иногда еще не чувствует себя прекрасным и подлинным, то обязательно хочет стать таким.

Наконец, пусть человек пока и не обладает подобным обликом. Но разрешите поэту испытать своего рода предчувствие матери. Какая мать, питая грудью новорожденного, не представляет его себе в будущем большим, красивым, счастливым? Это священное материнское предвидение сродни писательскому, он тоже создает и любит героев своей книги.

<sup>1</sup> «Аš» — по-литовски «я», «Žmogus» — «человек».

Я взглянул на человека в перспективе грядущего. А в этой перспективе нельзя не видеть, каким исполином он вырастет и как далеко шагнет.

В недалеком будущем собираюсь свести счеты с его антиподом. Но в этой книге я хотел крепко поспорить со старой концепцией человека, с мнимо извечным и мнимо неразрешенным конфликтом между Каином и Авелем, с концепцией «минус-человека». Боюсь измельчавшего, противоречивого, пугливого, пассивного антигероя, расколотой, раздвоенной личности, которая не в силах бороться против своего «минуса».

Человек, разумеется, сложен и противоречив. Он отнюдь не «винтик», но и далеко не всегда сказочный витязь, все преодолевающий без труда. Он гораздо более сложный и богатый механизм, чем мы порой себе представляем. Пессимистическим взором труднее всего в человеке увидеть человека. Пессимистическое воззрение архаично. Это лишь бессильная капитуляция перед злом. Не существует «минус-человека» и «плюс-человека», — это ложь! Существует реальный человек с плюсами и минусами, расстояние меж которыми зачастую не так уж велико. И на этой узкой полоске «ничейной земли» ежедневно разыгрываются ожесточенные сражения. Когда одерживает верх одна из сторон, другая вынуждена отступать, оставляя клочок нейтрального пространства своей сопернице.

Нельзя применять к человеку арифметического знака вычитания: чем больше отнимем у него врожденных или завоеванных добрых качеств (плюсов), тем вернее приблизимся к нулю. Это математическая логика. Человек вовсе не заинтересован в том, чтобы его отрицали, превращали в нуль. Его нужно утверждать!

Если у художников противостоящего нам лагеря выпадает из рук великое знамя гуманизма, если они уже не способны освободиться от пессимизма и отчаяния, то мы, художники нового мира, призваны высоко поднять стяг, на котором начертано: «Все для человека!» Род людской нельзя оставить на произвол судьбы. Ему угрожает катастрофа.

— Человек человеку — волк, — слышим мы там столетиями повторяемую в различных философских вариантах, затасканную капитулянтскую формулу.

— Человек человеку — брат! — раздастся здесь смелый, оптимистический, полный великой надежды призыв.

Чего за тысячи лет не смогли или не сумели осуществить многие гуманистические течения, то взвалили на свои плечи коммунисты — эти гуманисты XX века. И хотя нам приходится нелегко, но идеал прекрасен, борьба глубоко осмысленна, и поэтому не жаль никаких жертв.

Разве не во имя этих идей мы с юности дали клятву жить и бороться? Братское чувство нужно долго и терпеливо возвращать в сердце человека. И что же лучше возбуждает и воспитает это чувство, как не искусство, музыка, поэзия?

Мы никогда не должны забывать основной цели — воспитывать человека для служения высшему идеалу. А такой человек уже не «человек в себе», а «человек для людей». В этом наш гуманизм. Такой человек — большой, сосредоточенной внутренней культуры, высокого эстетического вкуса — сумеет должным образом служить обществу и в то же время раскрывать все индивидуальные способности, свою собственную частицу человеческого гения. И поэтам, художникам, музыкантам стоит бороться за ренессанс человека, за гармоническую, прекрасную и совершенную личность. Душой человека овладевает теперь искусство, эстетика становится этикой.

Я избрал более обобщенный вариант человека. Но навряд ли кому нужна философия как цель в себе. Философские раздумья необходимы человеку, чтобы преобразовать самого себя и окружающий мир, как бы переходя в «новое качество» в своей повседневной практической деятельности.

Да простят меня за то, что я как бы вознес человека на пьедестал, сделал его больше, рельефнее! Культ человека? Возможно. Но я всем сердцем за такой культ.

С каждым днем все более зримо и осязаемо чувствуем мы духовное освобождение человека. Душа его на наших глазах преодолевает долго сковывавший ее эгоизм и рабскую покорность.

Когда поэт говорит о человеке, в его голосе порой еще слышится трагическая нота, суровое предостережение, тревога... Человеку еще угрожает большая опасность.

Но все сильнее звучит и нота любви, изумления и гордости. Радостно видеть, как с каждым днем все шире раскрываются глаза людей, как, пробуждаясь от сна истории, распрямляется прекрасно сложенный, сильный телом и духом свободный человек.

Человек — моя первая и самая постоянная любовь. Человек — брат. Это идеал, ради которого стоит отдать свою жизнь.

...И еще небольшая *Arg poetica*.

Разумеется, в дискуссионном порядке.

Литературная форма прогрессирует так же, как и человеческая мысль. Всякий раз, услышав разговоры о непреложных, незыблемых законах формы произведения, я листаю историю литературы. И эта история свидетельствует, что и в искусстве «все течет, все изменяется». Нет вечных канонов. Формы художественной выразительности, жанры и стили, манеры и направления нарождаются и отмирают, вырастают друг из друга, порой скрещиваются, образуя гибриды, соревнуются между собой, исчезают или заново рождаются уже в виде синтеза. Сменяющиеся эпохи избирают и свои цвета, звуки, ритмы, эстетические принципы.

Когда в обиходе творческой практики появилось слово «искания», на него обрушили сокрушительный град булыжников. А ведь сама жизнь доказала, что не только в сфере культуры, но и в других областях лучшая традиция — это постоянное революционное обновление. В искусстве родилась хорошая традиция исканий. Однако, конечно, и поиск не поиск, если любую находку немедленно подвергать канонизации. Нивелировка в свое время нанесла основательный ущерб художественному творчеству. Только многоцветность картины приносит радость, ощущение красоты. Сила исканий, их прелесть и заключается в том, что они пролагают путь многообразию, широчайшей шкале, безграничным возможностям.

Я люблю детище нашего века — космическую ракету. И по-прежнему храню любовь к серому земному соловушке. Слушая соловьиные песни, человек поднимает глаза к звездным просторам и следит за светилом, которого, возможно, когда-нибудь достигнет ракета. Но и под гул ракет он будет тосковать по ассонансам невзрачного с виду певца лесов.

Кстати, еще одна «соловьиная» деталь. Бывает, лесная пташка так залетится своими руладами, что от разрыва сердца — от инфаркта! — замертво падает с ветки. Нам, рыболовам, вдосталь бродяжившим ночной и утренней порой по звонким речным прибрежьям, не раз до-

водилось прикасаться удилицем к окоченелому птичьему тельцу на траве. Так и поэт. Он должен прочувствовать «все впечатленья бытия», воспринять радость и скорбь мира сего. Но если он побаивается за свое сердце, то никого не сможет увлечь. Искусство требует полной самоотдачи.

Теперь об исканиях можно уже говорить не только абстрактно. Они успели принести неплохие плоды в зодчестве, в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, в театре, кино, в литературе.

Без горения и тревоги нет подлинного творчества. Искания — это не нигилизм, не пренебрежение к лучшим традициям. Искания — это, выражаясь космически, поиски новых пространств, новой связи между Человеком и Историей. Человеком и Эпохой.

Было бы странным взирать на сегодняшний мир очами художника XIX века. Все глубже в суть бытия проникает биология. Наука позволила человеку электронным глазом заглянуть в живую клеточку организма — в самую первооснову, — увидеть под стеклом микроскопа необычайно сложную и пеструю «биокарту». Наука раскрыла перед человеком элементарные частицы материи. Все шире разведываются космические просторы и земные недра. А что говорить об изменениях в общественной жизни! Человек необычайно вырос, взгляд у него стал строже, критичнее. А увидев мир новыми глазами, он, конечно, уже не может, да и не желает возвращаться к старому, немного наивному взгляду на природу и окружающую среду.

Взволновать и потрясти в состоянии только большая жизненная правда, глубокая мысль, высокий эмоциональный накал. Писатель все глубже, все зорче вторгается в свой материал — в содержание жизни и человеческую душу.

В поэзии появилось больше синтетических средств, аллегорий, гиперболизации, обобщений и аналитической мысли. Ныне писатель чаще ищет в житейских буднях необычайное и романтическое, поэт создает из повседневности художественные конструкции, возбуждающие воображение своей особенной красотой. Уже никого не волнует серая фотография — натурализм, старательное копирование природы.

Читатель хочет найти в книге жизнь, прочувствованную и глубоко продуманную художником. А потому у ли-

тературы, как и у науки, должно быть право на эксперимент. Допустим, запускают космический корабль на Луну. Иной раз ракета и не оторвется от Земли. Но в конце концов она поднимается ввысь. А боязнь искать и не обрести заранее сковывает инициативу и творческие силы поэта.

Художник подобен алхимику. Он должен обладать ему одному ведомой тайной, с помощью которой любое явление жизни претворяется в факт искусства. Он сам находит свои художественные средства, соответствующие веку. Здесь не может быть общеобязательных рекомендаций. Ясно одно: слово поэта должно быть абсолютным, многозначным, не одноцветным, а многокрасочным. Разумеется, настолько овладеть словом куда сложнее, чем покориться стихии его двух измерений.

Азам поэзии все мы без особого труда обучаемся у других поэтов и по каноническим учебникам. Гораздо труднее заговорить собственным голосом, в ритме собственного сердца.

Постепенно ощущаешь, что нельзя уже традиционным, гладким ямбом, рожденным в кабинетной тиши, писать о гуле заводских станков. Мне казалось, что ямб подавляет музыку станка. И стихийная мощь такой музыки, как весенняя река, беспощадно крушила сковывающий ее лед. Стих понемногу становился более свободным и асимметричным. Это шаг не от формулы к жизни, а наоборот.

Если теперь рождается стихотворение, скажем, даже о ручье, то и его трудно завернуть в пеленки ямба: ямб сковывает живую струю. А ручей в стихе, по-моему, должен кипеть, клокотать, переливаться всеми цветами радуги, звучать разнообразнейшими ритмами, как и в самой природе. Когда хочешь выразить ее подлинные звуки, стихам недостаточно напевности книжного канона, а требуется естественный, более богатый, более разнообразный ритм. В природе ритм многообразнее, хаотичнее, а гармония значительно сложнее, чем в учебнике. В природе и гамма красок куда изобильнее, чем на нашей поэтической палитре.

Ритм природы уже не вмещается в четверостишие — он бьет ключом, низвергается водопадом, переклестывая берега. И жаль этот драгоценный материал, который разбрызгивается во все стороны, выливается через край. Горстями подбираю каждую каплю, каждую крошку и

ищу для них место в стихе. Пусть уж деформируется графический вид стихотворения — важно, чтобы в нем полнее отражались природа, жизнь, Человек.

Я стремлюсь к естественному течению, вольному, натуральному ритму, к поэтической импровизации. Мне самому кажется, что это гораздо труднее. Это рождается из чрезвычайно близкого соприкосновения с Великой Природой и вовсе не означает бесформенной массы слов. Это форма необычайно сложной гармонии. Часто она приходит вместе с жизненным содержанием, которое само для себя избирает и диктует лучшую форму. Здесь отнюдь не механический процесс. Нелегко он потому, что трудно овладеть избытком слов, которое, чего доброго, может сшибить поэта с ног. И все же радостно ощущать сопротивление материала и преодолевать, побеждать эту аморфную массу, чтобы потом услышать в каждой строке адекватный ритм живого ручья, естественные ритмы природы.

Здесь надо не быть догматиком. Если это диктуется содержанием — писать в самой общепринятой форме. Наряду со стихами стихийного ритма и поэтической импровизацией рождаются и сонеты и ямбические строфы. Различны темы, материалы, цель, а потому — и художественные средства. Начинает казаться, что нужно стремиться к некоему равновесию — синтезу формы.

Атомная физика занимается не только расщеплением ядер на элементарные частицы. В ней, как известно, проводится и совершенно обратный эксперимент: объединение ядер легких атомов для получения качественно нового, более тяжелого элемента. Это реакция синтеза. Если успешно решить проблему, человечество получит вечный источник энергии, запасы которой на нашей планете неисчерпаемы.

Фанатизм и пуризм могут дать искусству лишь самые скудные плоды. Нельзя отметить ничего из того, что за тысячелетия создано и ныне создается руками, умом и сердцем человека. И хочется попытаться обрести такой синтез поэтических форм, где бы в едином сплаве слились прошлое, настоящее, грядущее, канонический белый стих, проза и диалог, репортаж и раздумья, мысль и чувство, музыка и пластика... Все пригодится, все ценно, все необходимо в большом поэтическом хозяйстве. Соединяя отдельные поэтические элементы, искать качественно новый элемент — такова «реакция синтеза» в поэзии.

Когда-то на школьной скамье не было у меня интереса к физике и математике. Жизнь мне отомстила. Ныне эти науки поощряют мысль, учат чуду анализа, учат добиваться логических выводов и по-новому, гораздо глубже проникать не только в структуру материи, но — по аналогии — и в строение поэзии. Конечно, различны призвания и средства у науки и поэзии. Но и здесь есть взаимосвязь. Параллели науки и поэзии координируют свое направление, и, наконец, обе ведут в грядущее. Обе как бы дополняют друг друга, помогая совершенствовать художественный и научный метод познания. Сегодняшней науке — атомной физике, теории вероятностей, кибернетике, космогонии — необходима большая поэтическая отвага, фантазия, мечта. А поэзии наших дней нужны научные знания, научный поиск, аналитическое мышление и конкретность.

...В детстве, когда только начинаешь писать свои первые стихи, страшно хочется стать поэтом: разве есть что-нибудь выше и благороднее? Жизнь, труд, усилия и жажда нового помогают познать тайну ремесла. И наконец становишься поэтом!

Но наступает день, когда это звание уже не кажется таким большим.

Гораздо труднее стать человеком, который, говоря словами Уолта Уитмена, никогда не умещается «между сапогами и шляпой»...



## **ФРЕСКИ. ЭСКИЗЫ. ЭПИЛОГ**

Видится издалека  
Мне рисунок черно-белым.  
К фреске будущей  
Пока  
Ни один эскиз не сделан.

Но зато она вместит  
Человена и пространство,  
Музыку и колорит,  
Временность и постоянство.

Все, чем дорог мне и мил  
Свет, немислимый без тени,—  
Микрокосмос, макромир  
И земли круговращенье.

Прямота железных лет,  
Смутных поисгов окольность,  
Прозаический сюжет,  
Поэтическая вольность,

†

Пять пальцев  
Разжимаю не спеша, —  
И тает яркий воск карандаша,  
Упавшего на стол.  
Итак, к итогу  
Подходит эта книга понемногу.

Необходима точка!  
Точка —  
Пять  
Усталых пальцев,  
Пятерня, которой  
Мне эту книгу довелось писать,  
Свершить мой труд нелегкий и нескорый.  
Пять пальцев.  
Завершен извечный труд.  
Неужто же последняя страница!  
И, выразив себя, они умрут!..

Но шар земной по-прежнему вертится  
Вокруг своей оси...

Но на земле остаются: квадраты камня, бетона, алюминия и стекла, этими пальцами воздвигнутые когда-то; полотна, ноты, дерево и квадраты лирических строф, громады эпоса, колоннады, мускулы кариатид, этими пальцами изваянные когда-то; микроскопы и телескопы, циклотроны, электроны и пи-мезоны, этими пальцами разведанные бессонно; воздушные лайнеры и многоступенчатые ракеты, только что начатые предметы, несорванные плоды; остаются следы — детали, иероглифы, которыми летопись пальцев руки на земле начертана, как на сжижали.

Пальцы умирают —

иероглифы живут, остаются.

Вместе с ними, в них остается жить человек.

Пальцы не умирают,

значит не умирает

Простой смертный... неумирающий человек.

Человек начинается с пальцев.

[Когда к неведомым звездам я поднимаю руки, они антеннами пальцев улавливают в пространстве сигналы жизни.]

Человек начинается с пальцев и заканчивается ими.

[Когда антенны пальцев Антея заземлены, земля пронизывает меня токами жизни.]

Вот они: пять извечных борозд на пашне, мыслящих и прекрасных, мозолистых, твердых, прямых; они предназначены для молота и для скрипки, для пульта реактора и штурвала ракеты, для пера и для кисти, рисующей автопортреты, — пять моих пальцев.

Пять пальцев сжимаю

В один, единый, единственный

Земной шар.

Шар земли.

## 2

Рука.

Пять пальцев.

### 1. З р е н ь е

(небольшой пристальный шарик, именуемый глазом, бесстрашно набрасывается на свое огромное подобие, именуемое солнцем, и сквозь еле заметную щель поглощает его целиком, с быстротой света усваивает, передает и рассеивает по всему космосу тела; одно-

временно с солнцем в глазной шар попадает извне все, что находилось за его пределами, и все то, что ему не принадлежало, отныне принадлежит ему: земля, яблоня, дом, небо; отныне маленький пристальный шарик превратился в огромный солнечный шар и обрел способность сверхэлектронным оком созерцать во времени и пространстве неразличимую точку, завязь жизни моей; отныне я вижу все, я постиг, что все это действительно существует и что мои пять пальцев могут собрать все это воедино).

## II. С л у х

(морская раковина сводит в звуковом фокусе и разумно располагает в пространстве и времени кристаллы разрозненных голосов моря и насыщается услышанным, собирает в одну точку и впитывает тарыхтенье трактора, ауканье поездов, свист скошенных крыльев самолета, приливы и отливы клавиатуры, длинноты скрипичных струн и певчий восторг утренней птицы; море звуков извне просачивается в меня, переполняет голосами земли, и я становлюсь музыкой, постигая, что все услышанное мной действительно существует, — и по законам гармонии мои пять пальцев способны собрать все это воедино).

## III. О б о н я н ь е

(извне проникающие в меня запахи земли, хлеба, яблока, морской соли; переполненный ими, ведаю, что все это действительно существует и что мои пять пальцев могут собрать все это воедино).

## IV. В к у с

(губы мои чутко фиксируют все поступающие сигналы: черный сигнал — хлеб, белый сигнал — молоко, золотой — мед, красный — губы твои; и я доподлинно убедился в том, что все эти сигналы существуют в природе, а значит, пять пальцев моих властны все это собрать и сплотить воедино).

## V. О с я з а н ь е

(к щеке прикасается влажный ветер, леденящая стужа, знойный солнечный луч, лист осеннего клена и снова губы твои; сознаю, осязаю — все это действительно существует вовне, как эпос, во мне, как лирическое начало; существованием всего, что воистину существует, во времени и пространстве обусловлено место мое).

Итак, я сжимаю пять пальцев руки воедино, пять собственных чувств итожу и округляю в шар головы.

Шар земли.

### 3

**Рука.**

**Пять пальцев.**

#### I. А з и я

(...я отдыхал с дороги над желтым Гангом; желтый человек на волах желтую землю пахал; пять желтых пальцев туго сжимали рукоять плуга; пять желтых пальцев к губам поднесли черного хлеба ломоть; напилсь желтым солнцем глаза человека и стали зеркалами, в которых я увидел самого себя; с губ моих сорвалось и прозвучало нездешнее слово, но человек не остался к нему глухим, воспринял его на слух и в открытое сердце бережно положил; и мы вместе вкушали одно и то же тело земли, нареченное именем хлеб, и были оба плоть от плоти земли).

#### II. А ф р и к а

(...ночь была нестерпимо душной и черной, как тушь; черен был человек, как графическое изображение; в пятерне он, как другу, протягивал мне с пальмы сорванный круглый орех; и мерцали отверстые очи его синим пламенем впитанных звезд; слух фиксировал чутко сигналы мельчайших колибри; обонянье — запах цветущего манго; на лице у него, на блестящем от пота челе, как в зеркальном овале, я увидел себя; мы вдвоем пили черный кофе, питались единым телом земли нашей, оба плоть от плоти земли).

#### III. А м е р и к а

(...на согбренных плечах у меня громоздился железобетонный квадрат стоэтажного небоскреба, а рядом стоял человек, пять пальцев руки простирая к сотому этажу; свет медовый, из окон струясь, вытекал, как из сотов; человек исторгал из груди громовые слова песнопенья, посвященные этой гордой громаде; на квадратной стене небоскреба загорались и гасли квадратики окон, бесконечные шахматные квадраты для игры непростой; грохот города рвал барабанные перепонки и продолжался внутри человека, как водородные взрывы в отсеках подземного полигона; и в неоновых вспышках ~~истощных~~ реклам, шарящих, как

прожекторы противовоздушной обороны, в блестящей булавочной головке на синтетическом галстуке человека я снова увидел свое печальное лицо; мы произносили вместе слова лирических песнопений, питались единым телом земли и были оба плоть от плоти земли).

#### **IV. Австралия**

(...недавно из Сиднея пришло письмо, которое написали пять пальцев незнакомого мне человека, — пять пальцев, водивших пером по бумаге и отдыхавших от вибрирующего движения ткацких станков; но, читая это письмо, я увидел — свой собственный почерк, свое слово и обнаружил свои мысли; и мне показалось тогда, что письмо незнакомого мне человека написано мной самим, и я понял, что мой корреспондент из Сиднея питается тем же телом земли, что и я питаюсь; и я, и он — и мы оба плоть от плоти земли).

#### **V. Европа**

(...на парижском бульваре падали листья платанов и моросил дождик; красивый и стройный художник, в косматых облаках бороды и волос, возвышаясь, как Эйфелева башня, держал пятью пальцами кисть и палитру и на бесстрастном квадрате холста повторял отрешенно пятна неба и пятна земли; и в его глазах отражался черный кусок асфальта, окропленный черным дождем и мертвенно-белым неонем; его слуховой аппарат был занят иронией Превера; мы пили вино и питались единым телом той же самой земли и были оба плоть от плоти земли).

Я сжимаю пять пальцев руки — и сближаются материки, все пять континентов (Азия, Африка, Америка, Австралия и Европа) в один-единственный шар.

Шар земли.

#### **4**

**Рука.**

**Пять пальцев.**

**Звезда.**

**Пять лучей —**

**прямые, ровные, как пять накатанных дорог,  
пять магистралей, облитых солнцем.**

**Ко всем пяти материкам земного шара...**

**Все пять материков планеты, как росу,  
пьют звездные лучи,**

**И начинает сама земля лучиться,  
как светлейшая звезда,**

**Когда же шар земной начнет светить пятью лучами  
своих материков, сама земля звездю о  
пяти лучах, звездю станет.**

**Когда же сблизится со звездами она — изменится  
пространство, разделяющее их, и время,  
которым сонмы звезд разделены...**

(«Слова, которые тебе хотел сказать я, в звезды превратились», — так за себя и за меня одновременно сказал Гийом Аполлинер. И ничего не остается к этому прибавить.)



# НОЧНЫЕ БАБОЧКИ

*Монолог*



Перевод Б. ЗАЛЕССКОЙ и Г. ГЕРАСИМОВА  
Стихи в переводе Д. САМОЙЛОВА  
Эпилог в переводе Ю. ЛЕВИТАНСКОГО



## К ЧИТАТЕЛЮ

В жизни человека бывают события, которые определяют всю его дальнейшую судьбу. Таким событием было для меня одно памятное писательское собрание, со времени которого прошло уже два десятилетия. Оттуда начинается настоящий мой путь в литературе, оттуда берут начало все раздумья о писательском труде. Тогда-то примерно и принялся я писать эти заметки. В них отразился неровный, трудный, сложный путь поисков. Немало воды утекло с той поры. Многие уже давно всеми забыты, да и самому мне кажется сегодня иным. Однако, отобрав кое-что из многолетних своих записей, размышлений, выводов, рискнул я познакомить с ними читателя.

Если он следит за путем поэта, они будут ему интересны и нужны. Поэт — не робот, не механизм. Вы встретите здесь много спорных, отрывочных и зачастую противоречивых мыслей (путь к истине не прям), найдете и повторения (мысли кружат, как ворон Эдгара По, и вместе с тем стремятся вверх, влекут их звездные выси)... Тут нет поучений, просто внутренний монолог поэта, искренний разговор с самим собой и с товарищами. Итак, вручаю читателю эти заметки в надежде, что книги, как и люди, *habent sua fata*.

**АВТОР**

**У**важасмый! Вы усадили меня на скамью подсудимых и зачитали обвинительный приговор, который, по вашим словам, я сам себе подписал... Вы уполномочены обвинять именем закона, такое дано вам право. Мое положение куда скромнее — я могу защищаться лишь от своего собственного имени. За мной сохраняется единственная привилегия — право на последнее слово. Честно говоря, это не очень большая привилегия. Но почему бы не воспользоваться ею, если страх не перехватил мне горла, если я смею говорить, защищать себя, чтобы оставить будущему честное и чистое, как слеза, слово? Если грядущее тоже сочтет меня неправым, вы ничем не рискуете и ничего не теряете. Если же оно все-таки примет к сведению некоторые мои аргументы (а вдруг в те времена вменяемые мне в вину деяния уже не будут считаться преступлениями?!), тогда на свете будет хоть одним «преступником» меньше. Поэт, как я понял, усложняет и затрудняет вам жизнь. Без его поэзии, по вашим представлениям, жить было бы куда спокойнее и приятнее. Именно в этом заключается пафос вашей обвинительной речи. Разрешу себе процитировать строки одного моего доброго товарища:

*Не губите вы поэтов,—  
ведь безвредных не карают.  
Камни в них и так на свете  
все, кому не лень, швыряют.*

Чудак этот мой товарищ: взывает к чувствам, полагая, что это поможет. Я думаю иначе: по-моему, вас меньше всего волнует судьба поэтов. И потому прошу верить — я таких нелепостей не сочиняю... В своей обвинительной речи вы назвали меня «с позволения сказать поэтом»... Мне были инкриминированы такие проступки, коих я и во сне-то не собирался совершать. Но защищать самого себя трудно. Попробуй-ка, докажи, что ты — поэт. Попробуй докажи, что ты сделал для общества нечто полезное. Как докажешь? Свидетели тут едва ли помогут. Деятельность моя совершенно не похожа ни на какую другую. Дела многих, работу других можно проверить, призвав на помощь определенные законы, формулы или научный эксперимент. Вред или пользу моих дел может определить только время. Я понимаю — ждать доказательств слишком долго. Оружие выбито у меня из рук, мне нечем больше защищаться. Я могу лишь использовать данное мне право — произнести последнее слово. Что ж, воспользуюсь этим правом. Весельчак Эпикур некогда утверждал, что «в философском споре выигрывает побежденный» — в том смысле, что ему приходится приводить значительно больше аргументов. Итак, если мнение этого с почтением относившегося к вину мудрого грека, высказанное, как известно, очень давно и нынче уже утратившее силу, вас не страшит, я готов и могу начать свое слово...

(Страницы прошлого)

## **РАЗДУМЬЕ**

1

Я миновал божественную мету,  
я подошел к Зевесу, к монументу.

Я снял шинель и каску снял стальную.  
— Теперь, — сказал, — немного отдохну я...

Я сжал руками голову. Когда-то  
была красива голова солдата.

И вдруг услышал я: под небосклоном  
течет покой и отдается звоном.

Ведь тот, кто был в окопах, тот не знает,  
как жутко уши тишина терзает.

Повсюду тишина... Но гром металла,  
всю сумму взрывов тишина впитала,

огромность гулов, звонов — в ней скопилась...  
...И в тишине мне страшно становилось...

{Я голову хотел разбить о стену,  
чтоб усмирить гремящую геенну...}

2

...Настало утро — серо и убого,  
банально, как цементный профиль бога...

...Гудели паровозы. И вагоны  
стояли, строясь в смертные колонны...

...Зевс не отдаст огня!.. Но я добуду  
его обманом... Пусть мне будет худо...

...Я украду его... И будь что будет —  
тому, кто это пламя раздобудет...

— Эй, монумент! Карай меня за это!..  
(В глазах его светилась кровь рассвета...)

## БЛИЖНИЕ ГОРИЗОНТЫ

Истинный художник выражает то, что думает, не страшась столкновения с вековыми предрассудками.

*Огюст Роден.*

...Пишу? Нет. Каждый раз, садясь писать, стараюсь узнать что-то новое. До сих пор только учусь... Вот вчера вечером прочел небольшую книгу стихотворений одного поэта. Красиво пишет. Великолепно умеет упрятать между строк мысль, идею, чтобы ребра ее не торчали наружу, как в исхудавшем за годы военных лишений теле, чтобы не дразнила она глаз читателя, не вызывала бы тошноты своей голой определенностью. Но — боже мой! — как же поверхностны и плоски эти его мысли! Как незначительны и мелки темы! Война. Принесшие огромную боль катаклизмы... Величайшие события. А искусство, отражающее их, так мелкотравчато... Нет переднего — крупного — плана. Никто не выходит к рампе. Суеتمدимся у задника, а то и за кулисами жизни.

Просматриваю, готовя к печати, свои стихи — получил возможность проанализировать собственный не очень еще продолжительный творческий путь. Ой-ой-ой! Сколько же написано мелкого, ненужного, плоского!.. Разве такая лирика может разбередить чувства человека, за-

ставить их бушевать океанской стихией? Черкаю и отправляю в корзину лист за листом. И никакого сожаления: нету хорошего — не нужно и дряни... Я никогда и не вспомню этих стихов. А вы требовали... А вы давили, пока не выдавили. И вот — результат. Поэзия богата лишь тогда, когда насыщена она реалиями своего века, идеями своей эпохи. Вот гётевский «Фауст» (рождение человека новой общественной формации), или сатиры Гейне (змеями жалящие старье), или «Дон Жуан» Байрона (романтический протест!), или Маяковский... (Можно принимать или не принимать его «форму», но отбросить, зачеркнуть его поэзию нельзя, ибо в ней звучит голос времени. Высочайшими идеями насыщена его поэзия. В ней живая душа его революционной эпохи. Великая честь такому поэту!) Хочу понять: откуда явилось это измельчание? Разве наши дни не предлагают поэту орлиных крыльев, которые подняли бы его выше всех этих «темочек» и унесли на гималайские высоты поэзии?.. Кажется, что поэт нынче припал к земле, точно перепуганный заяц, только о том и может писать, что видят его глаза с этой далеко не возвышенной точки зрения. Боязливо и настороженно осматривается кругом — не дай бог, кто-нибудь шуганет его с «завоеванных позиций». Почему это? Ветра, больше живительного ветра всем нам! Плоские берега не влекут. Как там говорил Поль Валери? «Не манит меня морская пена — лишь глубь морская манит». Присоединяюсь.

Поэзия — не архаическая рухлядь, подведомственная комиссии по охране исторических памятников. О, нет... Она возвышает человека, подымает его над повседневностью, облагораживает чувства, очищает душу. Называть поэзией творчество, которое сминает, корежит, как ржавую жечь, человеческую душу, — нельзя. Это не поэзия. И если хочешь через свои произведения передать людям частицу собственной личности, прежде всего должен быть благороден сам! Творцом настоящей поэзии может стать лишь кристально чистая личность. Как прозрачно ясна лирика Лермонтова! А Пушкин! В каждой строфе скрыта романтика наивной и мудрой, детской и многоопытной, серьезной и лукавой души... Люблю Саломею Нерис. Думается, мало у кого отыщешь в поэзии столько алмазного блеска, столько прозрачности, столько света, как в ее стихах...

Читаю о Рабиндранате Тагоре. Неудачная книжонка. Написана бесхитростным и беспомощным либералом. В ней хорошо лишь то, что от самого Тагора,— его мысли. Вот где цельная личность подлинного поэта и философа! Гуманиста. Основная цель поэзии, по Тагору,— высветлить до белизны лотоса душу человека (выявить в человеке человека), отыскать в нем «внутреннего человека» — *человеческую* личность, высоко поднять ее, показать ей солнце и, прижав к груди, словно младенца, передать ей свои думы... В этом призвание истинных поэтов. Если будем копать в мелочах, ни сами не взлетим вверх, ни своего читателя не возвысим. А читатель — это твое дитя, поэт. И ты должен показывать ему солнце — воспитывать. (Не нравится слово? Но именно так — воспитывать. По-другому не скажешь. Давать ту или иную пищу — уже так или иначе воспитывать...) В поэзии между строками все время должен пробиваться студеный, чистый ручей, какие весной бегут под талыми снегами,— сама душа поэта... Кстати, небольшая интермедия. Письмо редактора некоей газеты: «Мы хотели бы получить Ваше стихотворение...» И на полях этого листка черновой набросок ответа:

*Не хочешь поэту  
Отдыха дать?  
Желания нету  
Сейчас рифмовать.*

Правильно. Зачем заказывать стихи? Поэт сам напишет, когда пойдет рифма, и отправит свое рифмованное слово на газетную полосу. Не следует «ловить» первые попавшиеся строфы. А газетчик делает это, точно мстит поэту («Ага, а мы все же получили... Нашелся желающий...»). Так предают поэзию. И поэтому ничего удивительного, если рядом с настоящим стихотворением находишь вдруг такую не слишком вежливую приписку:

*Поэзия.  
Как ее понять?  
Ответьте  
без всхлипов  
и вздохов,  
Если берется  
стихи  
сочинять  
Любой пройдоха...*

...Готовлю в печать книгу стихов. Много приходится редактировать, а то и полностью переделывать. И остается от прежнего стихотворения лишь тема. Написано немало: кое-что приемлемо, но хватает и дряни. Поэтому без особой жалости отбрасываю ненужное, не имеющее ценности... Труднее всего править свою раннюю лирику. Не работа, а мука. Несовершенств (подчас чисто технических) масса, приходится заполнять ухабы щебенкой, выравнивать... Начинаешь править рифму, разваливается строка, фраза, образ, а затем и вся строфа. А разрушать образ не хочется, стараешься сохранить лирическое настроение... От некоторых вещей приходится отказываться: не нахожу средств для их исправления. А превращать в макулатуру не желаю. Мне дорог их теплый, лирический подтекст. Скверно, что в этих стихах преобладает абстрактная символика, отвлеченная условность... Порой не хватает какой-то детали, мелочи — найдешь ее, и стихотворение органично опустится из «безвоздушного пространства» на землю. Много в этих стихах и характерной для «идиллической поэзии» эфемерности. Плоти! Мускулов! Больше ренессансного восхищения человеческим телом! Я чувствую, что слишком далеко ушел от «тех светлых дней»: душевно очерствел, душа заскорузла, пока писал, откликаясь на злобу дня... И так трудно теперь прикасаться к прежним, таким «переполненным чувствами» стихотворениям: тронешь огрубевшими пальцами «нежную, золотую ткань поэзии», и она расползется... Нельзя. Оказывается, править надо очень осторожно. Тут-то и уразумел я весь трагизм положения поэта... Болит сердце... Мне долго доказывали, как плохи мои первые опыты. Ложь! Сегодня я пишу куда хуже. А те стихотворения... Да, не глубоки, наивны, но в них зернышки подлинной поэзии. Чувствую, выбили меня из седла. А жаль... Только-только начала зреть во мне Поэзия...

...Вся беда, что ползаем мы по поверхности жизни... Те, ранние, стихотворения заключают в себе романтическое ядрышко, настроение, более глубокий подтекст, что ли. А в нынешних (во многих!) подтекст этот испаряется. Нет вдумчивости, нет мечты. Исчезли поиски смысла жизни, трагическое ощущение непреодолимости ее трудностей. Сузился философский охват бытия (ох, эти будни!), пропали философский синтез, поэтическое отраже-



ние мира, все то, что будто в фокусе линзы концентрировалось в метафоре стиха. Словом, не осталось того, что волнует человеческую душу. Мы ползаем по поверхности, выбирая более плоские берега, и морская пена залепляет нам очи. А надо бы в глубины... В глубь моря!..

...Раньше мысль моя алкала этих глубин. Теперь она, как улитка, путешествует по поверхности земли. А эта плоскость все время меняет свой вид, появляются и пропадают разные реалии — то травинка, то камешек на пути. От того же, кто проползал по этой поверхности, не остается и следа. Каждая новая форма обладает новым содержанием, память снимает и выбрасывает все оставшееся позади. Что же сохраняется? Сохраняется лишь то, что вечно, что живет внутри человека, — его душа, его чувства. Сюда, в эти «морские глубины», и должна была бы погружаться поэзия. Раз уж ты решился «посвятить себя» ей, отдаешь этому все свои силы, — следует хорошенько поразмыслить о характере творчества...

...Чувствую, что творчество мое — на перепутье... Писать так, как писал раньше, уже не могу — ожесточилось сердце. И балласт сочинять тоже не могу, пальцы правды сжимают горло. Куда же? Туда, где обобщения шире, решения глубже. И поэтому прежде всего — учиться... Ежедневно учиться... Что я, положив руку на сердце, знаю? Фактически ничего не знаю. Нужно очистить дорогу от всех препятствий и на долгое-долгое время погрузиться в «морскую глубь». А что там? Может, именно там и высечено: *Lasciate ogni speranza voi ch'entrate?* (Данте). И все-таки, что бы там ни было, — глубина... В глубь морскую!..

...Перечитал Омара Хаяма и Бедия... Думаете, поэзия — это золотой век детства человечества и серебряный век его юности? Думаете, проза — железный век человеческой возмужалости? Неужели поэзия — признак несовершеннолетия общества? Разве зрелому человечеству поэзия уже не нужна? Не верю... Проза — дальнейшее развитие той же поэзии. Поэтому настоящая, добротная проза всегда звучит поэтично. И каждое художественное произведение можно именовать поэзией. Поэзия — подпочва любого словесного творчества... Некогда поэзия требовала сугубо ясного, четкого, я бы сказал, рельеф-

ного ритма, ассонансной или консонансной рифмы. Это диктовалось конкретно-утилитарным назначением поэзии — обряд, любовный танец или песня, сопровождаемые игрой на музыкальном инструменте. Тогда сфера «литературного» в поэзии была, по-видимому, значительно уже. Четче выступали ритмические контуры танца или музыки. Но со временем необходимость все высказывать песней исчезла. И начались попытки выразить мысль только словами, без помощи телодвижений и мелодий. Кое-что для памяти стали записывать. Рифмованные строки песен запоминались куда легче! Так, верно, и появились первые поэтические произведения, написанные разговорным языком, в которых повествовалось о жизни и судьбах отдельных людей (роман); о каких-то эпизодах из этой жизни, об отдельных приключениях и случаях (повести, новеллы, рассказы, анекдоты). Позже — даже фактографическое описание реальных событий (газетная проза). В таком повествовании рифмы стали ненужными, они естественным образом атрофировались, осыпались. Однако ритм остался и в прозе. Напрасно кое-кто считает, что прозе ни к чему этот рудимент ее поэтического детства. Ритм создает музыкальную атмосферу произведения, особым образом воздействует на чувства читателя. Ритм — это биение пульса поэта, его живой темперамент, тепло его крови. Образ, настроение, подтекст — все то, что считается необходимой принадлежностью поэзии, — осталось и в прозаическом повествовании... Беда лишь в том, что с ростом материальных возможностей цивилизации проза оторвалась и отдалилась от своей родной матери — поэзии. Однако это «отпочковывание» прозы отнюдь не идет ей на пользу. Серийная, массовая, стереотипная проза вырождается, стирается, теряет очарование своего поэтического первоинства.

...Не знаю, решусь ли когда-либо поведать прозой то, что теперь, консервативно придерживаясь старой доброй привычки, пытаюсь рассказать в канонических стихах. Не умею писать прозу... Для меня великая мука сочинить обыкновеннейшую статью. Меня всегда удивляет, как легко дается некоторым это дело: «тяп-ляп» — и спекся блин. Быстро, просто... А мне кажется, что и в статье я должен говорить с читателем так же, как в стихах. Какая разница — зарифмованы мои мысли или вы-

сказаны прозаическими строками? Стихотворение отличается от новеллы лишь тем, что в нем мысль поэта выражена через образ более концентрированно. Все, что пишешь, должно быть творчеством. Без скидок... Любое послабление себе — преступление против основного принципа искусства. Я не принимаю прозы, лишенной поэтического очарования. Это плохая проза. Подлинное искусство поэтично. Ибо оно родилось из поэзии, стало ее правопреемником и остается той же поэзией, лишь поставленной в новые условия. Необозримо широк нынче разлив литературы. Но разве не видим мы, как на наших глазах рождается и на наших глазах умирает она, словно бабочка-поденка? И умирает потому, что отсутствует у нее общность, нарушена необходимая связь с питающим ее живыми соками материнским стволом — Поэзией.

...Поэта часто обвиняют в том, что он-де романтически поэтизирует действительность, все на свете изображает поэтичнее, нежели оно есть на самом деле... Мол, творения его — плод фантазии. Наконец просто ложь... Что ж, не согласиться с тем, что отношение поэта к действительности зачастую романтично, — нельзя. Отсюда и поэзия его... Но если мы будем рассматривать действительность лишь как большую или меньшую сумму явлений, то не будет ли это чистейшей воды натурализмом? Зачем тогда искусство? Разве лишь для того, чтобы отражать действительность? Или еще и для того, чтобы куда-то звать, расчищать человеку путь? Давать ему крылья для полета? Разве искусство — это лишь «совершенное изображение жизни»? В «Шарунасе» Винцаса Крeve находим такой любопытный диалог:

«Ш а р у н а с (стоит около Вайдулиса, сложив руки за спиной). Песни?.. В твоей песне что ни слово, то ложь. Знаешь ли ты это?»

В а й д у л и с (весело). Да не услышат боги твоих речей! Песни давно сложены; отцы наши так пели, и мы так поем... Не все ли равно, ложь в них или правда; к чему это знать?»

Действительно, зачем обязательно все надо знать (воспринимать, анализировать)? Искусство предназначено для того, чтобы человек не только разумом понял себя в исторической ситуации. Искусство создается для того, чтобы человек верил и шел... Искусство толкает нас к мечте, к добру и злу. Тяжко человеку, не умеющему меч-

татъ. Такого человека может вконец замучить назойливая мысль о его месте в современной исторической реальности. Эта мысль надоедлива и зовёт лишь к отражению, к натурализму

Значит, что же? Миф? А почему бы и нет? «Миф — это вымысел. Вымыслить — значит извлечь из суммы реально данного основной его смысл и воплотить в образ, — из реально данного добавить-домыслить, по логике гипотезы, — получим тот романтизм, который лежит в основе мифа и высоко полезен тем, что способствует возбуждению революционного отношения к действительности, — отношения, практически изменяющего мир». (М. Горький.)

...Мы часто говорим, однако чаще забываем, что у искусства вообще и у литературы, в частности, есть своя специфика. Искусство — не иллюстрация жизни, необходимая лишь в качестве наглядного пособия для вящего усвоения какой-либо истины. Искусство — не копия жизни. Чисто утилитарный взгляд на искусство не может повести дальше беспомощного натурализма или анемичной дидактики. Искусство в нашем вещном мире существует точно так же, как хлеб, как воздух, как вода — как любая другая находящаяся во взаимодействии и вместе с тем не зависящая от других компонентов реалитя. Мы говорим «искусство» — и сразу представляем его себе. Мы почти реально осязаем искусство — как любой существующий предмет. Искусство живет и само по себе... Мы часто заменяем это понятие совершенно непригодным словом — «мастерство» (оценка работы ремесленника!) и очень часто забываем слово «красота». А следовало бы помнить... Красота произведения! Вот где тайна искусства, его чары, его магия... Вне его, отдельно от него красота существовать не может. Красота воплощена в искусстве и благодаря этому — материальна. Плоть красоты — образ, слово, звук... Плоть красоты — жизнь. Однако, может быть, жизнь, возведенная в квадрат или куб.

...Слово в поэзии должно быть трепетным. Если уложишь пласт тяжелых, каменных слов, они не станут строкою стихотворения... Если при чтении поэтической строки не чувствуешь магической вибрации слов, какой-то живой пульсации, — произведение, по-моему, мертво.

А трепетны лишь те слова, которые рождаются в сердце, над которыми мерцает нимб души. Поэтическая сила слова, житие слова — в его музыкальном звучании. Живое и прекрасное поэтическое слово подобно младенцу, которого несет миру Сикстинская мадонна. Как наивно и мудро его лицо. Как лучатся его локоны. Как небесно бездонны озера его очей. Таково поэтическое слово Рафаэля.

...Прочитал стихотворение. Мы уже несколько подзабыли, что такое голая декларация. И вдруг, откуда ни возьмись, снова вылезло из мешка это старое шило. Дешевое широковещательное объявление своих мыслей. Декларативность — младенчество искусства, открыто вставшего на борьбу за определенную идею. Едва явившись на свет, ребенок много, пронзительно кричит, шумит... Позже, подрастая и становясь разумнее, он начинает меньше сотрясать воздух и больше оглядываться вокруг, дабы глубже и лучше понять жизнь... Не следует постоянно будить этот мир своими призывами, — дайте ему отдохнуть после тяжких трудов или борьбы. Он сам проснется тогда, когда это будет необходимо... Декларация напоминает мне неудачное признание в любви, а ее автор — незадачливый влюбленного, павшего на колени и в сотый раз твердящего свдеи Дульцинее: «Я люблю тебя... я люблю тебя... я люблю тебя...» Сначала девушке нравится. Но в один прекрасный момент ей приедается однообразная «любовная исповедь», и она начинает сердиться: «Ну и что с того, что ты меня любишь? Я знаю, что любишь! Хватит! Докажи свою любовь! Как любишь?.. Как?» Тут и конец декларативной фазе любви... Любовь требует реальных доказательств... Зачастую мы объясняем со своею страной, как с женщиной. Но «люблю» должно быть не в тексте (о, как часто еще встречается оно в тексте!), а в подтексте, ведь «люблю» само по себе еще не доказательство — только утверждение. И поэтому в хорошем стихотворении чувство исподволь вьется солнечным ручейком по лугам и полям книжных страниц. И чувство поэта пробуждает благородные чувства в сердце читателя. Тогда никакой декларации не нужно. Чувство любви должно быть очень конкретно... Мы выросли из коротких штанишек декларации. И ныне декларативность напоминает пустоцвет, в котором не может завязаться плод поэзии.

Мало уметь точно изобразить человека, его внешность, его действия, его поведение. Надо проникнуть в его нутро, проследить, какие мысли и настроения заставляют его поступать так или иначе. Надо учиться рисовать внутренний портрет человека. Трудная наука, но к постижению ее побуждает нас пример великих художников. Как чудесно взаимопроникают друг друга внутренний и внешний мир героев Достоевского, Толстого... В произведениях Романа Роллана действия не много, порой лишь незначительное событие. Целые страницы — словесное море. Однако в нем не растворяются краски; закрывая последнюю страницу книги, ощущаешь целое, суть, видишь законченный портрет человека.

Из ничего ничто не рождается. Ничто не расцветает в бесплодной пустыне. И ничто не появляется сразу. Все, что видим мы сегодня, тысячу лет назад выглядело, может быть, совсем по-другому, хотя носило то же имя. Ренессанс, культ человека, увенчавший духовный апофеоз Запада, явились не сразу, не вдруг. Рука лет и столетий лепила и укладывала один на другой его высокие пласты... Вначале христианство было лишь слабой завязкой: оно владело только легендой о страдании и ничем больше. Не было ни взглядов на искусство, ни самого искусства... Первые его творцы родились в пещерах катакомб, глубоко под землею... Но вот художник вышел из тесного и душного подземелья, глубоко вдохнул живой, чистый воздух, оглядел простор мира, — и только тогда... началось строительство первых шедевров христианской архитектуры... Сначала — довольно неудачно. Строгие, аскетические линии... Нет еще свободы, широкого размаха руки, имеющей в избытке все необходимое. Старые, языческие мотивы повсюду переплетены с линиями нового искусства, и эти новые линии еще не совсем ясны и четки. Повсюду чувствуется лишь начало, самое начало. Древние колонны — ионического и дорического ордера — вмонтированы в здания нового назначения. (В Стамбуле, в храме Ая-София, построенном при императоре Юстиниане в 532—537 годах н. э., я видел привезенную из Иерусалима колонну храма Соломона; поставленную совершенно асимметрично греческую колонну из святилища Дария и т. д. Настоящее месиво... Однако любопытная идея синтеза!) Базилика Петра могла появиться в Риме лишь тогда, когда христианство победило и утвердилось, в годы его расцвета. А в годы жесточен-

нейшей борьбы за свои идеи, борьбы за влияние в мире, стало быть, — в средние века, родились аскетическая св. Инквизиция и готика (разум, который удушали, вздымался над кострами инквизиции, взывая к горным силам о помощи. Увы, увы!..). Произведения средневекового искусства: оцепеневшие человеческие лица, лишённые всякой мысли... глаза в религиозном экстазе или покорном созерцании обращены в небо... руки сложены для молитвы... Человек — раб... Раб по своей воле... Сухой аскет... И, разумеется, повсеместно страх, страх, страх... И внезапно — ренессанс. Как гром среди ясного неба. Как весеннее веселье реки, сломавшей и гонящей сковывавший ее лед. Ренессанс — внезапный перелом, горный хребет, взобравшись на который человек вдруг увидел купающиеся в солнечном сиянии плодородные равнины Аркадии... услышал мелодичные пастушьи пасторали. И почувствовал себя свободным и счастливым... Чувство Диониса... И человек весело улыбнулся и громко рассмеялся. Лицо его, ранее серое и бледное, постепенно стало розоветь, приобретает естественный цвет. Человек не только молится... Человек ест, пьёт, охотится, дружит, любит, страдает и радуется, ему близка рубенсовская полнота жизни... Атрофировавшиеся в посте и молитвах мышцы его возрождаются, наливаются силой... Человек начинает ощущать себя крепким, здоровым, мускулистым. Он видит красоту своего тела и, как Нарцисс, любит себя, познает себе цену. Человек гармоничен — могуче его тело и свободен дух. В его лице отражаются мысль, благородство, остроумие, решительность, энергия (Микеланджело). Красота женщины возвышена, идеализирована, однако это живая, настоящая женщина... Женщина во плоти, которую можно полюбить (Леонардо)... Человек страдает не потому, что страдал некто неизвестный и легендарный. Человек страдает и мучается сам по себе, ибо в жизни немало трагизма, боли, отчаяния. Страдание — естественный антипод счастья и радости. Однако из черного отчаяния человек рвется к источнику света (Рембрандт). Он каждый день идет на бой, чтобы победить... Иначе он ничего не добьётся. Достояна ли звания человека личность, которая не борется за величие своего человеческого имени? Борись — и победишь!.. Следовательно, в центре внимания — человек... Сильный и слабый. Великий своими духовными взлетами и малый ограниченностью своего знания. Однако всегда живой человек...

...Не слишком ли мы торопимся? Не слишком ли быстро, не отыскав еще достаточно четких новых форм, бросаемся мы разрушать старые? В поэзии мы отказались от старых школ и остались совсем без школы. Она, безусловно, родится, возникнет... Старая эпоха забывается, как сказка, тает, как ледяной айсберг, тает и погружается в небытие прошлого. Новый облик еще не выявился... А тем временем бряцает оружие — идет борьба... Грохочут пушки — музы, поникнув, молчат, поэты внемлют, напрягая слух. И вот слышатся чисто утилитарные требования... Искусство — потом, во вторую очередь. Газетное искусство — не самое высокое искусство. Много стихотворений умерло вместе с тем номером газеты, где их впервые опубликовали. О, неустойчивые ценности искусства!.. Сколько способных людей постигла трагическая судьба: вместе с ними в могилу сошло и их творчество. Страшное посмертное молчание... Очень страшное... Нет ничего страшнее для поэта. Значит, деятельность его не была творчеством: творчеству суждено жить и жить... Очень долго жить. Иначе жизнь поэта лишается смысла. Во времена переломов, когда новое мешается и переплетается со старым, характерна не прямая, а изломанная, как молния, нервная линия... Наша эпоха — время перелома, время бурь, гроз, молний и громов. Линия нашего века — ломаная. Это реальная историческая истина. И тут ничего не изменишь...

...Кулы женщины — вечный предмет искусства... Греки изображали ее обнаженной (разве женское тело не прекраснее любых одежд?). Современнее ли стал культ женщины? Сама догма этого культа — женщина — вечный источник жизни. Ева — Афродита — Сикстинская мадонна... Мать, мадонна, родительница. Она святая... И поэтому не должна вызывать греховных мыслей... И тело ее прикрывают одеждой, дабы не возбуждало оно вождения, не вводило в соблазн. Чувство любви к женщине должно быть очищено от плотских желаний, ибо она несет во чреве своем живого бога (сына, младенца, человека)... Культ женщины, разумеется, усилился. Искусство создало целые галереи женщин. Ева — только соблазн и вождение... Афродита — соблазн и одновременно великая красота (красота обезоруживает — разрушает низкое вождение и грязные помыслы)... Женщина с младенцем на руках — это красота и одновре-



менно глубокий философский символ. Первоначало жизни. Любовь к младенцу — любовь к миру... Сколько матерей! И как по-разному трактуется эта тема... Искусство вновь сведено к требованиям догмы: желаете написать женщину, пишите ее с младенцем на руках. Мудрые художники согласились и с догмой: что же, если хотите, будем писать с младенцем на руках! Однако заставим эту женщину передать то, что мы чувствуем, то, что хотелось бы нам сказать о мире... И писали. Писали живых любимых женщин... Искусство всегда находит выход. Великому художнику даже догма не может преградить путь к цели...

...Писатель учит свой народ жить, чувствовать и мыслить. Но неужто только с помощью самых серьезных, заслуживающих подражания примеров, как утверждают апологеты идеального героя? Не будем отрицать его значения. Герой может быть и таким. Однако может быть и реальный герой, ради поисков которого незачем ездить в дальние командировки. Он тут, как говорится, под рукой... Мы должны видеть жизнь такой, какая она на самом деле, до мельчайших подробностей. И человека мы должны видеть реального — со всем его хорошим и плохим. И должны учить этого человека жить (не обязательно дидактическими поучениями; есть воспитание чувств!), ибо он не является верхом совершенства. Нашим людям дана прекрасная, зовущая к жизнотворчеству идея. Однако не все воспринимают ее одинаково. И не все люди одинаковы. Поэтому одновременно с жизнью надо создавать и самого человека...

...Мы любим потолковать о воспитательном значении литературы, чаще всего подразумевая под этим идейное воспитание. И если обсуждаемое произведение тоньше, если из каждой его строки не торчит «высокая идея», мы спешим зачислить его в разряд... безыдейных. Это, разумеется, издержки роста. Но от этого ничуть не легче людям, которые облачают мысль в более деликатную художественную оболочку, людям, чье поэтическое слово звучит иногда не в полный голос, приглушенно, с полутонами. Такие художники все еще должны остерегаться дубинки. Критики наши довольно молоды, зачастую нет у них должной профессиональной подготовки, и они любят применять грубую силу. Что поделаешь, молодозелено... Нам всем вместе учиться и расти... Но надо по-

мнить, что на читателя влияет не только содержание. Воспитывает его и форма произведения: привлекает вкус, подымает культуру, учит чувствовать... Пока что форма нашей «газетной литературы» очень незавидна: уровень ее низок, вкус скверен. Читатель, ежедневно поглощающий большие порции ее, с трудом подымается по ступенькам духовной культуры.

...Писать следует просто и понятно. Но не примитивно. Будем требовать от поэтов сложной простоты. Не по этому ли принципу создавались лучшие народные песни?

*Подняла земля травинки, а они — росинки,—  
Подняла роса подковки, а они — конёчка.  
Скакуночек нес седельце, а в седельце — всадник,—  
Всадник шапочку приподнял...*

Сложное соподчинение. Общая картина конструируется из отдельных деталей. Сложно и глубоко, вместе с тем просто и ясно...

...Вернулся с выставки художника Н. Н. Пейзажи его, конечно, имеют познавательно-этнографическое значение. Но неужто эти сладко раскрашенные натуралистические фотографии природы — искусство? Никаких мыслей не вызывают. Зачем рисовать то, что может в совершенстве зафиксировать вооруженный сегодняшней техникой фотограф? Картину надо конструировать: и человека, и природу на ней. Иногда современное искусство подвергается яростным нападкам. Валят всех в одну кучу. Мысленно перебираю виденные мною произведения некоторых современных художников. За что на них нападают? За то ли, что на их полотнах загорелись и прояснились подлинные цвета вещей? Что осветило их настоящее, реальное: солнце? За то, что шагнули они еще на шаг вперед в культурной эволюции человечества? Нет, большинство из них реалисты XX века. Больше реалисты, чем те, которые считают себя реалистами, но фактически являются людьми без фантазии. Хорошие фотографы, хорошие этнографы. Реальная действительность XX века (изменяющиеся вещи, пейзаж, человек) рождает новые формы реализма. Искусство принуждает предмет, явление — жить. Это и есть великое таинство искусства, открыв которое художник и сам долго живет, и творчество его живет долго. Лучшие художники наших дней развили традиции реалистической живописи и пошли дальше — отразили облик

современного мира (и его внутренний портрет!). Они сломали привычную, набившую оскомину прямую линию, искривили ее. И все это было необходимо! И хочется согласиться с мнением, что, быть может, именно теперь следует синтезировать художественный опыт человечества. Об этом в самом деле стоит подумать.

...Прошу не сердиться, дорогой мой друг, на то, что не люблю твоего творчества. Не могу заставить себя полюбить его. Для меня оно слишком рационально, сухо. Нужна ли художественная форма для подобного рационализма? Достаточно публицистической. Искусственные украшения только вводят в заблуждение читателя. И автора... Недобросовестно.

...«Stirb und werde», — сказал Гёте. Умри и все-таки живи! Это сказано для великого. А для малого? Для малого — нет. Жестокая формула...

...Ах, милый мой, поэты ведь тоже очень разные. Одни пишут о том, что вне их, другие рисуют собственный, внутренний мир. Их лирика высвечивает тайники души самого поэта, а тем самым, быть может, и множества других людей. В прозе все больше анализируется настроение героя, его душа, его психологическое бытие. Ничего не поделаешь — приходится «копаться» в «чувствах и чувствешках» индивидуума. Внутренний мир человека, ландшафт его души стали теперь и основным предметом поэзии... Для сегодняшней психологической поэзии характерен не очень четкий внешний рисунок. Она не в состоянии реально «ощупывать» предметы вещного мира. Но зато поэт проникает в глубины внутреннего мира человека, вскрывает сложный сгусток различных чувств, борение чувств... Такая поэзия очень близка музыке. Музыка в звуках выражает духовное состояние человека, конфликты чувств. Звук не пригоден для того, чтобы создавать облик предмета. И формальные средства психологической поэзии напоминают структуры музыкальных звуков...

...Уже давно идет спор о двух поэтах (К. и Б.), исповедующих «чуждую» нам идеологию. И спор этот, кажется, ещё не окончен. Беспомощно плоскими статьями никого не убедишь, боя за читательские симпатии не выиг-

раешь. Оба эти поэта время от времени вновь воскресают и продолжают жить. Должна родиться поэзия, которую читатель полюбит и будет читать не меньше, чем произведения этих поэтов. Единственное действенное средство борьбы с их поэзией — наша хорошая поэзия. Все остальное — только вспомогательные. А крикливые статьи — это слону дробина... Они — поэты, владеющие огромным талантом. И хотя их идеология отстала от стремительной и далеко ушедшей вперед жизни современного человечества, в глазах читателей они все равно остаются творцами. Поэтому необходимо помочь встать во весь рост тем поэтам, которые бы исторически закономерно, шагая в ногу с жизнью, смогли превзойти талантом этих поэтов. Только таким способом может одержать победу в литературной борьбе «другая школа». Что подделаешь, нервничать не следует, — следует терпеливо работать!.. Один из этих двух поэтов некогда полонил сердца читателей, искренне и точно выразив «святое чувство» своей земли, усеянной придорожными распятиями. Католицизм укоренился в душах литовцев значительно крепче, чем некоторые в то время полагали. Все было куда сложнее! Несомненно, писатель этот — выразитель отсталых, тормозящих исторический прогресс идей. Но взгляды его совпадали тогда со взглядами тех, для кого католицизм был плотью от плоти родной земли, частью их самих, как бы вошел в состав крови, текущей по их венам. Второй — поэт другого рода. Легче всего, разумеется, взять и одним махом перечеркнуть все его творчество (следовательно, целый сложный этап нашей поэзии). Пессимист? Без сомнения. Однако его пессимизм реально выражает упадочные настроения, духовный кризис определенной части современного ему общества. Перед гибелью звучит песнь смерти (Гимны пессимизма, De profundis...). Даже шлягер, исполняемый на потребу мещан, несет на себе знаки смерти: «Станцуем предсмертный танец!..» Пессимизм, разумеется, не подсказывает выхода. Однако интересно, что рядом с пессимистической линией в его стихах идет другая, демократическая параллель. Скорбно провожает он в прошлое катафалк, груженный останками былых дней... Он до слез любил бедную литовскую супесь и ее бесхитростного пахаря... Страдал, терзался, укорял себя, плакал — как березка у обочины большака. Ибо тяжело было человеку. Воистину тяжело... Тяжко вздыхает его поэзия, очень тяжело. Но ведь и было нелегко... А словом

он владел как настоящий мастер. Попробуйте-ка с ним потягаться!.. Слово в его руках будто живая птица, словно сверкающий радугами янтарь... Он был тогда самым тонким поэтом из всей большой группы близких ему людей, единомышленников по поэтической школе... Они тоже служили христианскому культу. А культ — это гипноз, транс. Находясь под влиянием его, человек дремлет с открытыми глазами и бодрствующим мозгом.

...Поэт должен хорошенько выяснить для себя следующие принципы: 1. Отношение поэзии (и поэта) к действительности (к жизни). 2. Значение воздействия (другие говорят — воспитательное значение) поэзии (и литературы в целом). Как это понять? 3. Индивидуальность (личность) поэта. Что значит она?

...Критик, разбирая поэтическое произведение, в первую очередь оценивает одну его сторону (мысль), а затем приоткрывает другую сторону — поглядывает, как оно сделано. Однако второму пока уделяется очень мало внимания. Куда это девалось — форма произведения, его поэтическая культура, попросту говоря, вкус? Мы диалектики, так будем же придерживаться диалектического единства двух аспектов одной проблемы... Поэзия склоняется к поискам положительного начала (как и проза). Чувства положительного лирического героя, его взгляды, мысли, философия. Положительный лирический герой... Как же создать его таким, чтобы стал он насущной необходимостью, образцом и примером для других? Как сотворить человека для человека? В поисках положительного мы подчас восхваляли все без исключения. И иногда дохваливались до того, что самим тошно делалось. Оды, дифирамбы, панегирики... Поэзия потеряла свою действенность. Идея прогресса превратилась в застывшую догму. Мы лишились важнейшего критерия, который помогал нам чувствовать постоянное движение в Природе — смерть и рождение, рост и увядание. Революционная идея прогресса в творчестве некоторых наших поэтов уступила место революционной атрибутике. Чучело вытеснило живой образ. А разве не самое главное в революционной идее прогресса — преобразующий дух меняющегося бытия? Некоторые поэты превратились в сторонних наблюдателей, обывательски спокойно констатирующих факты. И начали «творить» приблизительно

так: отыщут нужную тему, мастерски раскроют ее, начнут положительными образами, придадут новые атрибуты — и «чучело» готово. А где дух? Где новый дух? Холодные, бесчувственные, объективистские строфы нейтрального наблюдателя... Таким образом, поэзия застыла. Пахнуло ледящим дыханием. Структуру поэзии меняет не атрибутика, а дух... И народный характер поэзии — не только тема и картины народной жизни. Нельзя, разумеется, и без этого. Однако и тут самое главное — подтекст, дух произведения. Поэт должен чувствовать, как чувствует народ. Важна адекватность чувств. И наконец, направленность. Если мы и далее будем считать, что призваны лишь иллюстрировать нечто важное и существенное, читатель будет смотреть на литературу как на явление второстепенное, как на вспомогательное средство, как на служанку. А ведь мы понемногу стали именно такими иллюстраторами. Литературе же следует бороться на передовых рубежах жизненного фронта. Литература обязана идти в авангарде прогресса. Ее слово должно быть столь же самостоятельным, как и ежедневно произносимое всей жизнью слово прогресса. Ей необходимо бороться за широкие горизонты. Поэтому-то столь важно правильно понимать, какое место занимает писатель в жизни, каковы его роль и значение. Если писатель позволяет администратору дергать себя за веревочку, словно марионетку, вертит головой и руками так, как тому нравится, — от подобного «творца» нечего ожидать значительных произведений. Большое творчество рождается только под пером самостоятельно мыслящего писателя. Нам надо понять, что нашу жизнь, наш новый мир мы творим все вместе, одновременно: и экономист, и ученый, и политик, и поэт... И не следует делать исключений, не следует прибегать к дискриминации. Наш мир принадлежит всем нам! В его созидании, в этом непрерывном акте творчества человеческого прогресса значительное место принадлежит и поэту! Он должен самостоятельно располагать той сферой деятельности, где наилучшим образом могла бы проявляться его поэтическая личность.

...Национальная литература существует как определенная единица, как самостоятельный организм. Однако она не может жить сама по себе. Странники изоляции — сторонники узкой внешненациональной линии. Ни одна

национальная литература не может отгородиться от множества внешних влияний. Такой литературе не хватит пространства, живительного воздуха, она скоро начнет задыхаться. Сегодня едва ли возможно возвести «великую китайскую стену»... В то же время сколько тепла несут поэзии элементы народного творчества, не позволяющие блекнуть тончайшим оттенкам национальных расцветок. Декларативные стихи общего характера может писать любой поэт, независимо от его национальной принадлежности. Народный же орнамент, хотя бы и чисто внешний, позволяет, пусть и в малой мере, подчеркнуть, выявить национальное звучание стихотворения, приблизить поэзию к национальному читателю, которому она в первую очередь и адресована. Народный оборот, строчка из народной песни, фольклорная метафора — вот исходная позиция, откуда начинается движение новых образов. Национальное — точно цветная нить, расшитое ею платье становится более ярким, приятным для глаза... Согласимся, что в общей ткани поэзии национальное и есть такая яркая нить. Существует, без сомнения, немало имитаций, но подделки понемногу теряют цвет. Выдают себя. А мы шагаем дальше. Значительно дальше...

...Шкала эмоций... Чем эмоциональнее стихотворение, тем сильнее оно впечатляет (только не следует путать эмоциональность с сентиментальностью; поэта, пишущего эмоционально, грешно обвинять в сентиментальности) Правда, эмоцию в какой-то мере необходимо контролировать, уметь обуздывать ее, ибо поток чувств, не знающий препон, действительно может вынести в море сентиментальности, банальности. Нужна мужественная сдержанность. Но чрезмерно сдерживать себя тоже не следует. Все мы нынче любим помудрствовать: преподнести читателю краткую сентенцию философского характера, философское решение, философскую концовку стихотворения etc. И тем не менее, философия — дисциплина научная. Для поэзии она не цель, а лишь средство, лишь источник, где можно черпать глубокое содержание. Как любое другое средство поэзии.

...Вы говорите — оптимизм? Осточертел бравый оптимизм (повсюду и у всех счастливый конец и исход)... Он выдрал с корнем и изгнал психологический драматизм, глубокое восприятие трагической ситуации, героическую

борьбу человека с самим собой, борьбу между добром и злом. Словно не было ни таких конфликтов, ни такой борьбы. На все вопросы существовал заранее заготовленный ответ. И все должно было быть ясно. До конца. А перепутье? А сомнение? А боль? Ведь в драматическом или трагическом борении с неодолимыми жизненными препятствиями мы сильны не только потому, что умеем сражаться, побеждать, умеем улыбаться, когда больно... Мы сильны своими сверхчеловеческими усилиями в битве с самой смертью... Поэт оступается, падает и поднимается вновь — как любой человек. Такова жизнь... Надо поднять занавес и показать, какое титаническое, какое героическое сражение происходит на арене души. Не только итог борьбы, но и самую борьбу, преисполненную оптимистической жажды повседневно преодолевать смерть. Да, да, не только результат, не только оптимистический финал, исход борьбы... Это упрощенно и банально... Подлинный оптимизм — бороться, не ведая, добьешься ли победы. Расплодилось так много «оптимистов», а на деле — трусливых мещан, которые в трудную минуту готовы все бросить и в страхе дезертировать с поля брани. Жизнь требует сильного, мужественного человека. Требует драматической души. А мы боимся даже преходящей печали, легкой грусти... Неужто мы так слабы, так не уверены в своих силах? Смысл человеческого существования... Почему человек слаб? Чему подчинен всю жизнь? Почему все его действия подчинены чьей-то воле? Отчего, явившись на свет, получает он некий внутренний душевный настрой, который заставляет его действовать точно и закономерно, словно часовой механизм? Не может ли он преодолеть этот извечный закон, получить свободу поступать согласно собственным стремлениям? Почему его действия вечно детерминированы? Множество подобных вопросов терзает человека. И вот начинает он бунтовать против своего естества, против самого себя. Подымается до великого отрицания, до каинова бунта против неизвестных сил природы. И во время своего мятежного протеста становится равным гиганту — Давиду Микеланджело. Человек бунтует и восстает не потому, что не терпит ничего сильнее себя... Его ведет на неравный бой не мелкая зависть, не слепая месть. Нет. Он хочет стать равным таящемуся в природе неизвестному — более сильному и великому... Человек сотворил для себя идеал — во всех отношениях великий, совершенный, прекрасный и



справедливый. И это математическое «неизвестное» управляет им. Не будучи в состоянии достичь его и сравняться с ним, человек все время бунтует против своей собственной фантазии, против своего творения. Он все время чувствует, что его понуждают покоряться создавшей его природе, подчиняться ее извечному закону. А он не хочет быть рабом. И становится вечным бунтарем. Тема этого мятежа красной нитью пронизывает всю историю рода человеческого. Так, по-видимому, и будет. Каждая новая эпоха воздвигает над человеком новый давидов потолок... Человек хочет изловить в природе «мышь» — сделать реальным иррациональный элемент фантазии. Человек жаждет восстановить равновесие между своими силами и реальными силами природы. А как быть, если он, отдельно взятый индивидуум, не вечен? Вечно человечество. Человек растет и совершенствуется в извечной своей борьбе с «недостижимым гигантом»... Если разрушим это создание его фантазии, он не будет видеть вершин, до которых должен дорасти, не будет видеть «абсолютного критерия», не узрит солнца идеала. Стремление к источнику света, идеалу, красоте совершенствует и облагораживает человека, укрепляет его дух, как гимнастика — тело. Этому же постоянному движению вперед и вверх подчиняется величайшее человеческое чувство — любовь... Борьба за достижение идеала тяжела и не допускает компромиссов... Поэтому человек часто терпит поражение в этой борьбе. (Рассказывают, что Бетховен перед смертью распахнул окно и с искаженным болью лицом грозил кулаком небу, которое по случаю его смерти швыряло молнии и грохотало громами... Да, грозил космосу...) Ощущение собственной слабости зачастую оборачивается в творчестве человека трагическими ситуациями и пессимистическими выводами (ибо ему иногда бывает очень тяжело!). Однако, хорошо вслушавшись, и в подтексте такого произведения услышишь подспудно звучащую, сопутствующую основному пессимистическому тону мятежную нотку протеста — этот призыв к сопротивлению... Но если уж поэт смиряется с мыслью, что идеал (рост микеланджеловского великана Давида!) недостижим, если он капитулирует перед природой, в миллионы раз более сильной, чем он, перед извечными законами бытия, если складывает свои прекрасные свободные крылья Икара, тогда его духовная борьба проиграна и он может тонуть в вечерних сумер-

ках. Решение вопроса о своей жизни поэт передал кому-то другому... Он упустил из рук право распоряжаться ею. Он не верит в свои силы. Его победила догма... Он стал слабее самого слабого... Он доверил свою судьбу более сильному... Более сильному, но неизвестному... Силен лишь тот, кто хочет познать неизвестное, сделать его известным. Это тяжелая, неравная борьба... Однако она вечно идет на всех фронтах — в науке, искусстве, поэзии, жизни. И человек растет в этих боях. Он хочет сравняться с мраморным гигантом Давидом... Не дорастет? Может, и не дорастет никогда... Важно, что хочет... В этом смысл его жизни. Пусть жизнь, данная человеку на этой земле, временна. Она вечна в истории его деятельности. И это очень важно понять. Подготовкой человека к вечной жизни является его деятельность, его борьба, его желание и усилия достичь совершенства, сравняться с Давидом... Для осуществления своего человеческого призвания и познания смысла жизни ему достаточно и нашей скромной «юдоли плача»...

...При восприятии поэзии мы должны ощущать биение ее сердца, деятельность ее мозга, теплое дыхание ее губ. Она должна быть живой, как человек. Если не почувствуем ее живой плоти — она мертва. А зачем нужен живым холодный труп? Закопаем его в землю, в лучшем случае поставим памятник — да почитет в мире. А живым о живой жизни пусть кричит новорожденный!..

...Как тяжелы мы на подъем! Как инертны! Совсем не тоскуем по вечно бегущей и вечно меняющей свое течение чистой, прозрачной воде! Привыкаем к одному стилю, одной форме (наконец — и к одной формуле!) и трепещем, как бы кто не пошатнул их, не разрушил или, упаси боже, не предложил чего-нибудь нового. И недовольно хмуримся, ощутив дуновение живительного ветра. Рассуждаем о течении времени, смене вещей и сдвигах сознания, а больше всего оберегаем свою статичность, цепляемся за обветшалые строения прошлого. А иначе почему же так панически боимся смелого эксперимента? Пусть раз, другой случится осечка. Но ведь у нас остается возможность продолжать поиск, пока не будет удачи, пока не поймает ее. Опасаемся, что новый опыт выметет все, что есть у нас в доме хорошего, что уже найдено нами прежде. Подозреваем, что поселится он как захребетник, на-

веки укоренится под нашей крышей вместе со всеми своими минусами и мы никогда не сможем выкурить его из дома. Боясь движения, иногда защищаем не только уже завоеванное нами добро, но заодно с ним и привычное зло, начинаем примиренчески относиться к недостаткам и злу. А зло всегда рядом с добром, очень близко. Иногда зло живет долгий век, ведет свою вредную жизнь, как в лесу поганка — по соседству с полезным и хорошим грибом. И боимся вырвать ядовитый, дабы не потревожить, ненароком не загубить полезного. Страх — великий тормоз движения...

...Дружище, если ты хочешь рассуждать о поэзии и предсказывать ее судьбу, то прежде всего должен хорошо чувствовать ее, а затем — хорошо понимать... Прежде всего сердцем, а потом уже разумом... Сначала ощутить коснувшееся щеки дуновение, легкое и нежное, как ветер, несущий дыхание роз в поэзии Хафиза, и только тогда глубоко вдохнуть ее запах. Разве и тебе в глубине души не бывает жаль тех людей, которые, корча из себя знатоков и авторитетных судей, с апломбом начинают «объяснять поэзию»... Прости им, ибо не ведают, что творят. Поэзию можно либо чувствовать, либо не чувствовать. Это основное условие. А потом уж можно пускаться в анализ ее составных частей, ее компонентов. Поэтому глубже и правильнее рассуждает о поэзии не рационалистическая, а эмоциональная критика.

...Лирике требуется особая концентрация чувств. Попробуйся-ка создать стихотворение в период творческого вакуума, когда нет наплыва чувств, когда они в разброде, распылены по всему космосу. В душе пустота, в лучшем случае — хаос ощущений и желаний. Едва ли выйдет у тебя что-нибудь путное. Чтобы создать нечто стоящее, в первую очередь нужно очень хотеть этого и очень глубоко чувствовать. А чувства во время творческого акта следует концентрировать, так как удар надо будет наносить в одну точку.

...Осторожнее, уважаемые критики и расторопные рецензенты! Лирика — очень непрочная, сотканная из тончайших шелковых нитей материя. Проведете по ней щеткой или метлою — зацепится и оборвется одна из нито-

чек, а от этого может расползтись и вся ткань. Больше осторожности и чуткости, если хотите касаться руками нежной, тонкой поэтической ткани. Она боится грубых пальцев с заусенцами и нестриженными ногтями.

Не будь наивным... Не слишком доверяйся похвалам. Давно ли превозносили кое-какие твои произведения? И вот стали они «никому не нужными». Тогда те же самые хвалители отвернулись от тебя и даже посмеялись тайком. Гибкий хребет... Таково уж естество некоторых творений природы... Это следует помнить. И потому не верь на сто процентов ни когда тебя хвалят, ни когда тебя бранят. В каждом хвалебном отзыве может таиться капелька яда, а в ядовитом критическом разборе — капля сладкого меда. Поэтому больше всего доверяй собственным уму и сердцу.

...Если бы в искусстве скорее сдвинулся с места и начал подниматься вверх средний уровень, то вместе с ним начали бы подниматься люди широкого размаха, большого полета. Однако средний уровень растет с трудом. И поэтому долго топчемся на месте...

Уважаемый! Все ваши советы правильны. И самый верный — писать правду. Мы любим жизнь и хотим писать для народа. И писать чистую правду. Другой цели у нас нет. Это величайшая, прекраснейшая, благороднейшая цель. Иначе и быть не может. Однако фактически до сих пор мы слишком много внимания уделяли одной личности, становились иллюстраторами жизни. Под разными углами зрения рассматривали всем известные истины, а зачастую и лжеистины... И разве важно было, как мы пишем? Мы все снижали и снижали требования к поэзии, пока не омертвили ее нерв. И поэтому появлялись на свет строфы — мертворожденные младенцы... В поэзию, как мухи в банку с медом, полезли, проталкиваясь в первые ряды, всякие «самозванцы». Время от времени в этой серой мгле вспыхивала вдруг искорка таланта. Сквозь одическое гроыхание прорывался голос подлинного поэта. Зачастую, понятно, голос искренне взволнованной, а то и смятенной души. И тогда на этот голос обрушивались бьющие тревогу вопли: «Декадентство! Формализм! Пессимизм! Бей!» И повисала над забубенной головушкой дубинка... И опускалась рука, поднятая к струнам лиры.

Ах как громко взывают всяческие «пророки»... Выдержки, упорства, героизма!.. Какого, уважаемые, героизма? Не писать? Это героизм труса, кукиш в кармане — и ничего больше. Люди живут, трудятся, строят, создают. Следовательно, и певцы должны творить — помогать их труду песней! Народ — в походе. А в походе всегда должна звучать песня. Жизнь не просит, она решительно требует поэзии. Нет и не может быть выбора — «писать или не писать». Разумеется — писать! Безумны те «пророки», которые требуют от поэтов молчания. Неужто они считают себя героями? И неужто они хотят обратить в таких же «героев» других? История эластична. Но она все-таки не резиновая. Нелегко тянуть ее вперед. Однако ничуть не легче тащить историю и вспять. Это и есть, пожалуй, бессмысленный сизифов труд. Однако ежели кому-либо очень желательно прослыть героем вчерашнего дня, пускай превращается в Сизифа. Пусть его! Подлинными же героями станут те, кто и в нелегких условиях будет прокладывать литературе широчайшую магистраль в будущее. А вдруг: «там, за тем холмом, мы на солнце набредем», — кто может знать?.. Легче всего проливать крокодиловы слезы, сидя в надежном укрытии, посмеиваться над чужим трудом и пророчествовать (с позиций вчерашнего дня). Но попробуй идти новыми, нехоженными тропами. А еще лучше — попытайся сам прокладывать их. Когда поломаешь спину на такой работе лет этак десять—двадцать, лучше оценишь и вкус черного хлеба... У человека, который мостит дорогу, всегда больше шансов споткнуться и не подняться. Но, несмотря на все трудности, люди все же прокладывают новые магистрали, сообща трудятся, сообща живут, делят беды и радости. И не стыдно ли вам за свои «пророчества»? И не кажется ли вам, что герои совсем не вы? Герои — смелое поколение искателей. В огне и воде закаленная сталь. Поколение самоотверженных людей. Поколение верящих в идеалы. С этим поколением вам так легко не удастся расправиться — оно зубами грызло железо! Реки никогда не текли вспять. И река жизни тоже не потечет. Это ясно.

...Вы меня упрекаете: мол, в лирике моей — слишком много света, солнечных бликов, жизнеутверждения, интенсивной красоты. Жизнеутверждение и интенсивная красота — это содержание. В наше героическое и вместе с тем такое трудное время, когда людские души часто

переживают мглистые и хмурые дни, мне хочется по-рембрандтовски направить в эти сумерки хоть квант света. Мы видели и сами испытали немало злого. Сердце истосковалось по свету...

Универсальные рецепты на все случаи жизни не имеют хождения в искусстве. Каждый отдельный писатель создает концепции и теоретические законы для собственного употребления. У каждого — свой стиль, своя трактовка темы, свои решения проблем. Писателей, настоящих писателей, объединяет лишь общая для всех них черта — любовь к человеку. Общей, быть может, является и цель творческой работы. В один отряд спланирует нас дух эпохи. Но о средствах художественной выразительности, интонациях, стиле спорить нецелесообразно. Жизнь капризна, она частенько шутя крушит все заранее разработанные планы и совершенно неожиданно выдвигает новые предложения. И оставим жизни право корректировать нас, находить нам и нашим произведениям место в кипящей лаве сегодняшнего творческого процесса, а также в остывшей лаве, которая уже именуется историей. Не будем забегать вперед. Жизнь очень не любит этого — глядишь, и выкинет какую-нибудь неприятную шутку, обязательно устроит каверзу. Будем доверять жизни. Она достаточно разумный и довольно объективный ценитель. Она протащит нас сквозь огонь, воду и медные трубы, но в конце концов найдет нам самое подходящее место: семь раз отмерит и лишь потом — отрежет. И все будет точно. Тютелька в тютельку. Такова жизнь... Следовательно, мы можем договариваться только о весьма общих принципах. И не будем заранее заготавливать ярлыки. Быть может, по прошествии немало времени мы и сумеем, подведя итоги, вывести общие законы. Но и то приблизительно, ибо нет абсолютно стерильных, дистиллированных течений. Постоянно происходит бесстыдное кровосмешение. Одна творческая манера переплетается и смешивается с другой, один стиль растворяется в более крепком ферменте другого стиля. В искусстве следует больше полагаться на собственный опыт и личные открытия. И сердце должно быть настоящим тираном: безжалостно, по-диктаторски указывать, что и как писать. И, конечно, разум. Поэтому основное — так сконструировать взаимосочетающийся механизм ума и сердца, чтобы он работал

успешно и давал доброкачественную продукцию. А обо всем остальном — пусть спорят литературоведы, критики и историки. Не будем мешать им. Писатель должен писать. Это банальная истина. Но и единственная.

Начинающий писатель полагает, что поэтический язык — какой-то особый язык, что это парад избранных слов улучшенной породы. Нет, расовая теория тут не подходит. Избранные слова чистой расы противоречат нашим принципам. Наши принципы демократичны. И поэтому каждое будничное слово, подданное разговорной речи, по нашему мнению, подходит и для поэзии. Словам-аристократам неуютно в демократическом окружении повседневных речений. Следует улучшать общую структуру слов, облагораживать общую массу слов. Настоящая мука для писателя-профессионала начинается только тогда, когда половина работы сделана. Писатель должен так усовершенствовать свой слух, чтобы воспринимать и фиксировать разговорную речь народа. Книжным языком, на котором хоть раз что-то уже было написано, новые книги не пишутся! И до тех пор, пока не выучился ты писать так, как повседневно говорят между собою самые простые люди, ты еще не поэт и не писатель. Разговорный язык богат такими тонкими нюансами, которых самостоятельно, будь ты архиспособным, никогда не выдумаешь. Очень нелегко с должной мерой и точно отбирать единственно нужные слова и целые словесные структуры. Тут и проявляются вкус, такт, культура писателя.

В поэзии важна мобильность слова. Неподвижное слово падает, как камень в воду. Плюх! И все. Кончено. Не поддаваться стихии необработанного языка. Самое обычное слово становится мобильным, когда оно опозитивировано, играет, скачет, как теннисный мяч, манит глаз читателя и ведет его за собой дальше и дальше. Поэтическое слово приковывает внимание, точно движущиеся по экрану фигуры. Поэтическое слово движением своим и красками должно захватывать, гипнотизировать человека...

..Разве, когда узнаешь истину, становится легче? С одной ее мало. Эмпиризм, натурализм всего не решают. Допустим, я сознаю, что страдаю, и мне тяжело. Это

лишь часть, лишь половина правды. Всю правду я пойму тогда, когда увижу выход из положения. Да, и выход... Поэтому не следует лакировать действительность. Правду нельзя украсить. Человек должен знать о себе всю истину. Истину тяжкую, суровую, горестную. Но всю! К тому же правда жизни не может быть статичной. Она динамична — как сама жизнь. Правда подается — то в одну, то в другую сторону. То в лучшую, то в худшую. Поэтому надо говорить именно такую правду — меняющуюся. Детальная регистрация недочетов — мелочная бухгалтерия. Великий реализм и отрицает и одновременно утверждает. Какова конечная цель литературы? Помочь человеку умереть? Зачем тогда вообще писать книги для человека, если не можешь ему помочь?

«...Разумеется, чему суждено жить — будет жить! А все-таки очень желательно, чтобы граждане и нашей маленькой страны больше следили за чистотой и меньше плевались». Это моя добрая учительница Саломея Нерис. Она сказала эти слова в 1936 году, в том году, когда я вступил на путь борьбы и литературы. Саломеи Нерис уже нет. Однако слова ее следует часто вспоминать и сегодня...

...Каин — символ вселенского зла. Авель — добра. Зло всегда brutальней, сильнее, агрессивнее. Добро анемично, слабо, порой — смешно. Оно не умеет даже защитить свое честное лицо от ударов зла. Мефистофель водит Фауста за руку, как ребенка... Даже в литературе и искусстве положительный персонаж зачастую бескровен, бледен, схематичен. Отрицательный — интереснее, жизненнее, живучее. И так во все времена существования человеческого рода — постоянная борьба между Каином и Авелем. Кто же побеждает?

...Годы берут свое: все труднее писать. Когда-то было много легче. Теперь приходится мучиться ночи напролет. Нелегко. Но разве согласился бы я на другую жизнь — спокойную, сытую, без забот, без мук? В такой жизни нет места творчеству. Если поэт только наслаждается радостями жизни, не страдает, когда пишет, то, читая его, страдает читатель. Так не станем искать в жизни удовольствий и радостей, братья поэты. Наша радость и



удовлетворение — в творческом акте. А в жизни? А в жизни можно и помучиться. Ничего, воздаяние придет после...

...Как не по-хозяйски поступают некоторые эгоистичные редакторы, выстругивая литературу лишь для нужд сегодняшнего дня. «После нас — хоть потоп!» Проходят годы, и ничего не остается от подобного творчества. Нельзя жить так нерасчетливо. Разве мы намереваемся оставить после себя только окружающий нас вакуум? Разве так? Нет... Поэтому следует подумать и о завтрашнем дне. Усердно и добросовестно заботясь о повседневных делах своей газеты (одного цеха!), не забудем и общих забот культуры. Как еще недооцениваем мы культуру, а иногда и презрительно, нигилистически относимся к ней. С превеликим трудом выучились мы ценить культурное наследие. Тут уж ничего не поделаешь: получили наследство — надо решить, в какой угол его сунуть. А вклады на будущее? Какой вклад положим мы на сберегательную книжку будущего? Об этом следует помнить всегда. История безжалостна. Она без лишних церемоний, напрямик, выкладывает свое мнение...

...Нужна ли поэзия неудовлетворенности? И нужна ли неудовлетворенность в поэзии? Думаю, что нужно и то и другое. Поэт должен заразить читателя беспокойством, тоской по красоте, стремлением к чему-то необычному, прекрасному, великому. Изредка очень полезна и небольшая доза печали, ибо после нее человек куда сильнее ощущает радость. Без этих контрастов не может существовать никакой значительный внутренний конфликт. А без конфликта, без внутренней борьбы невозможно постоянное совершенствование человека.

...Вы утверждаете: если людям не хватает хлеба, поэты должны писать только о нем. Можно согласиться с тем, что хлеб — насущная, ежедневная необходимость, и потому думать и писать о нем следует каждый день... Но увы! Хлеба человечеству не хватает испокон веку. Можете поверить, что не хватало его и во времена Данте, Петрарки, Шекспира, Гёте. Не хлебом единым жив человек. Нельзя забывать и о духовной сфере. Не менее важно — упражнять и дисциплинировать дух. Нищенскую интеллектуальную жизнь не оправдаешь материальным

достатком, роскошью, изобилием. Человек должен уметь жадно воспринимать красоту...

...Искусство — не только *что*, но и *как* написано. И о действительно прекрасном можно написать абсолютно плохо, совсем некрасиво. Искусство — это красота...

...Недавно обсуждали одну мою книгу. Критики умело маневрировали: они высказывались за «большую поэзию». Что ж, отлично! Однако... увеличивая свои требования к поэзии, они как-то забыли увеличить их к критике. Тогда я — за «большую критику»! На равных правах. И без скидок.

В то время, когда поэзию трепали все ветры и поветрия и она, зябко съежившись, вынуждена была стоять на этом сквозняке — точно неслух-девчонка, выгнанная на улицу, в то время, когда оковывал ее крепким панцирем гулкой металл риторики и декларативности, — хотелось лишь одного: перелить в ее тело хоть каплю своей теплой крови, отогреть ее, как в детстве удавалось отогревать в ладонях скованную морозом зеленовато-голубую синичку. Сунул ее за пазуху, ближе к сердцу, отогрел ее маленькое, хрупкое, заочневшее тельце... и она воскресла и вновь затенькала, засвиетала.

...Воззрения некоторых людей кажутся мне похожими на адаптацию глаз: зрачки то сужаются, становятся маленькими, то внезапно вновь расширяются, становятся большими. Глаза даже меняют цвет... Величина же зрачков зависит от количества света: больше света — зрачки сужаются, меньше — расширяются... Есть люди, боящиеся света. Как только получают они его недостаточно — тут же начинают мечтать о большем освещении. А получив достаточное количество света, вдруг пугаются и начинают отступать назад, во мрак...

Признаться, мне очень трудно понять, как можно так легко «сортировать» поэзию и раскладывать ее по полочкам. Я, например, не сумел бы точно провести демаркационную линию между гражданской и интимной лирикой. Где кончается один вид поэзии и начинается другой? И какая польза поэзии от такого размежевания? Не догма ли это? Не штамп? Не наше ли представление? Не

выдумка ли наших досужих умов? Мысль неповоротлива, она движется медленно. Штамп, глубоко впечатанный в мозг, тормозит его деятельность, не разрешает ничему новому и подойти поближе. Однако это чисто психологический феномен. Корни поэзии переплетены и срослись под землей. Большие и малые корни единого дерева поэзии. И острый скальпель в руках неподготовленного «систематизатора» может лишь пресечь жизнь отдельных корешков, питающих ствол, лишь ранить самое дерево.

## ЛИРИЧЕСКАЯ ПАУЗА

### ПРОЯСНЯЮЩИЙСЯ ГОРИЗОНТ

...Передо мной  
открылись океаны!..

Тут будут толпы волн меня читать...

Тут заживут мои рубцы и раны...  
Тут сосны будут лаврами венчать...

Благословляю край уединенный,  
куда и музы не придут за мной...

Здесь только чайки, рея над волной,  
влетят порою в стих мой  
просоленный...

Тут только чайки,  
только лишь они  
заломленным крылом заденут тучи...

Тут только волны,  
чисты и сини...  
[...И я один перед волной кипучей...]

Тут море пляшет вечный танец света  
и чаек реют бранные крыла...

Тут вечностью дохнуло на поэта,  
чья мудрость преходящею была,  
кто временное путал с постоянным...

...Поет здесь, вечность вечным океаном...

### ДЫХАНИЕ СМЕРТИ

Крылами вспенив утренние воды,  
трепещет чайка, тщетно рвется ввысь...  
С твоей тревогой волны обнялись...  
А сердце к ясной тянется погоде...

Как страшно, что спасенья чайке нет!  
В последний раз крыло ее белеет.  
Не о себе ли сердце сожалеет!  
Ведь для искавших света гаснет свет.

О, не кричи так, чайка, утопая!  
Ведь ясность вокруг тебя была такая!  
Махни же миру весело крылом...

Дай наглядеться на твое паренье!  
В последний раз, в последнее мгновенье!  
на жизнь ты озираешься тайком...

### МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

Расстелились туманы на взморье  
пеленой позабытых забот...  
Море — вздыбившееся раздолье —  
с неба горние звезды крадет...

Звезды падают...

Соединиться

с Птичьим<sup>1</sup>, с Млечным стремится мечта:  
кто те звезды!

и люди!

и птицы!

Может, я тут горю, как звезда!..

<sup>1</sup> По-литовски Млечный Путь называется Птичьим Путем.

Даже звезды сияют и гаснут —  
серый пепел приемлет волна...

...И во всех временах и пространствах  
не меняется вечность одна...

(Все в этом мире закономерно —  
вспыхивает, догорает.  
Юность цветуща, старость согбенна.  
Время — не умирает.

В солнечной люльке ясно, невинно  
детство залепетало...  
Глухо вбивают гвоздь в домовину —  
время для жатвы настало...

Яркое солнце, звездное лоно —  
все это временно, смертно...  
И никому не уйти от закона...]

Что же!  
Ведь звезды несметны!..  
Долго ль будут созвездья светиться!  
Вечно...  
Вечно!  
Но что со звездой!  
Потому и поэту не спится,  
что останется пепел седой...  
Млечный Путь — он лежит манускриптом,  
исписали его времена  
навсегда неразборчивым шрифтом...

О, как летопись эта темна!..

## ПУНКТИР СЛЕДОВ

...Дни бегут,  
теплы  
и безмятежны,  
девушки  
навстречу рыбакам...

И еще...

следы...

на побережье

явственны,

не отданы пескам

на съеденье...

След остался в мире...

...Я иду по дюнам. Я гляжу

на пунктир следов. И в том пунктире

дней — шагаю, как по чертежу...

Я и впрямь иду,

купаясь

в гаме,

в шуме моря,

в солнечном меду...

Треск сосновой шишки под ногами

явствует, что по земле иду.

Жаль, что солнце катится в буруны,

что не удержать его рукой...

Радостно, что золотые дюны

так теплы и нежны под ногой...

Следую за трогательным солнцем,

за горы, за дюны — напролом...

...Надо мною шелестят сосенки...

...Старый ворон машет мне крылом...

[Может, завтра мое имя крикнет

этот ворон; черный нелюдим,—

и родник останется невыпит,

и другой наклонится над ним...]

Жаль мне дня, что не вернется снова,

жаль растоптанного муравья...

Жаль себя и всякого другого —

кто же пожалеет, коль не я!..

Вечность!

Кто

я

ей!

Ключочек дыма!..

Мне и дня довольно:

я иду...



**[...А время тянет люльку на погост...**

**Но в этот промежуток**

**все свершится!**

**Верши твой труд!**

**Он должен быть свершен...]**

**Уж красно-голубым карандашом**

**рассвет линует**

**звездную страницу...**

...О великая Повседневность! Как ты могуча! Ты отнимаешь силы, лишаешь воли... Ты, как осьминог, оплетаешь своими щупальцами и без усталости высасываешь лучшие соки таланта. И разрушаешь его. Когда же наступает время решать важные проблемы жизни, зачастую уже не хватает ни сил, ни таланта, ни характера.. Мне иногда приходит в голову мысль, что твой террор; Повседневность, направлен и против моей воли. Самые лучшие годы жизни отдал я тебе. Осталось ли что-нибудь из отобранных тобою сокровищ? Очень немного.. И искренне жаль прошедших дней и лет, которых не вернуть. Уплыли, растаяли... И конечно... Ты похожа на мельницу; Повседневность,— вертятся тяжкие круги твоих жерновов и растирают в прах прекраснейшие мечты, надежды, намерения.. И тем не менее, я называю тебя — великой. Великая Повседневность!.. Ибо ты самая подлинная реальность. Суровая действительность. Жесточайшая действительность. Ты превосходишь все мечты и сны... Ты могущественнее их, ты давишь и перемалываешь их. Поэтому ты — мощь вселенной, чудо, властелин. Я вынужден подчиняться твоему могуществу. Ах, Повседневность, я расскажу тебе об одном чудачке, который всегда чрезвычайно рад, если мое стихотворение умирает в тот же день, когда появляется в газете. Он потирает от радости руки и хвалит: «Чудесно написано!..» — «Как это чудесно? — спрашиваю я. — Ведь оно уже умерло. Можно справить по нему поминки, выпить за его душу рюмку водки и пожелать ему вечного покоя... Его уже нет...» — «Ну и что? — пожимает плечами мой чудак. — Так и должно быть. Кто же тут живет дольше? Ведь все умирает...» И все же это циничная радость... И все же кое-что в мире живет дольше. Правда, некоторые творения корифеев прошлых времен уже умерли... Скончались произведения, посвященные



культу Повседневности. В живых остались лишь те, которые достигали вершин красоты, добра и правды. Они и тогда уже были великими, а сегодня возвысились еще больше... Только истинное произведение искусства может уцелеть, жить и долгое время радовать человека будущего. Все прочее, разумеется, умирает. Стоит ли продолжать писание? Не лучше ли заняться какой-либо другой полезной деятельностью? Не лучше ли жить обыкновенно, как живет всякий рядовой человек, и сойти в могилу, как уходят, как ушли все... Однако, надежда, ты вновь подстрекаешь мое сердце! А может, удастся сделать нечто более совершенное, и создание мое обгонит меня в наших состязаниях по бегу: когда я выдохнусь и упаду без сил у финиша жизни, оно еще некоторое время будет продолжать бег... А вдруг?.. (Не сердись, Повседневность, каким создала, такого и имеешь... Прости за сердечную боль, за сомнения, которые этой ночью не давали мне покоя...)

...Кончается старый год. Канун нового. Пишу, пишу, пишу, точно собираюсь еще успеть высказать то, чего не успел за весь год... А можно было сделать больше... Жаль без толку растрченного времени! Не умеем жить бережливо. Сорим своими днями, как моты — деньгами. Нехорошо. Следовало бы вносить час за часом в великую копилку времени. На это сбереженное время впоследствии можно было бы приобрести нечто прочное и ценное. Разбазарь дни, как монеты, и тебе ничего не останется. Будешь нищим. Не умеем жить... Ничтоже сумнящиеся стараешься собрать черепки прошлого года. Колесо времени со скрипом поворачивается, и ничего не вернешь обратно. Телефонный звонок. Знакомый редактор: «Поздравляю с Новым годом! Желаю тебе написать еще много поэм!..» Звучит как издевка. Что значит «поэм» и что значит «еще много»?

«...Поэты — доноры, они отдают стихотворениям свою кровь» (Гонсаню). Не потому ли поэты страдают малокровием? Лучшие из них слишком большими дозами переливают собственную кровь в жилы читателей и гибнут от дистрофии и анемии. Но не будем жалеть поэтов: так им и надо. Такова их судьба. Затем они и поэты, чтобы умереть раньше остальных. А наш долг — поправлять свое здоровье за их счет и жить, как выразился один

большой знаток поэзии, «полнокровной жизнью». Не будем стесняться...

...Поэтическое произведение — это младенец. Его надо выносить, породить в муках, а потом еще и вынянчить. Кто не сотворил ни одного младенца, не таскал его на руках, не проводил над колыбелью его бессонных ночей, не делился с ним последним куском хлеба, тот ничего не смыслит в поэтическом произведении. Вырастите ребенка — и вы многое поймете.

...Когда мать кормит свое дитя грудью — ребенок спокоен и доволен. Но сунь ему суррогат — резиновую соску, и он мигом выплюнет ее и заорет благим матом. Иногда наши произведения, в которых нет жизненной правды, напоминают эти резиновые соски. Мы силой суем их в рот читателя, а он, глядишь, распробует и выплюнет. И остается недовольным, сердится и не добром поминает нас

...Философ советует мне: «Не опускай расслабленно руки. Всегда держи их крепко сжатыми в кулаки. Позволишь укусить себя за палец, — проглотят и голову. Крепко сжимай кулак...» А шут, со своей стороны, замечает: «А на кой ляд показывать этот кулак? Держи его в кармане...»

...Подчас критик чересчур уж «опекает» писателя: следит за каждым его шагом. Да что шагом — малейшее шевеление, мельчайшее душевное движение улавливает, а то и заранее пытается угадать, куда повлекут поэта эти душевные движения. И тут же во всеуслышание строит предположения... Как о ребенке — кем он будет, когда вырастет. К чему это? Ведь и писатель и критик — люди уже совершеннолетние. И оба вполне самостоятельны

...Мне иногда кажется, что беседу о поэзии следовало бы начинать с азбучных истин. С прописей. Договориться о том, что является поэзией и что нет. Столько тут наворочено всякого, что нынче трудно выбраться из этой путаницы. Читатель позабыл вкус настоящей поэзии. А молодой ее поклонник вырос и сформировался в такое время, когда поэзии фактически как бы и не существо-

вало. Вкус был утерян, и сегодняшний читатель часто не различает, где поэзия, а где нечто похожее, этакая утилитарная поделка. Вульгарный подход, прагматизм и другие подобные требования тормозили рост поэзии. То, что было ясным, является бесспорным и сейчас, но теперь следует начинать объяснения с азов. Мы вернулись к наивному примитивизму, преодолеть, победить который будет не легко. Очень много кричали об опасности формализма. А в чем эта опасность? Попытаемся найти поэта, который бы виртуозно, словно музыкант своим инструментом, владел формой. Поэтическое произведение вне поэтической формы — не произведение. Разумеется, формализм чистой воды, игнорирование содержания никогда не создадут настоящего, во всех отношениях полноценного произведения. Однако, игнорируя форму, тоже не добьемся ничего хорошего. Значит, опасность «формализма», по крайней мере в настоящее время, — не главная. Величайший враг сегодня — примитивизм и игнорирование формы! Примитивизм — это хамелеонское приспособление к конъюнктуре, рабское ползание по земле, рабский страх, угодничество (не перед народом, который своими песнями и прочим творчеством доказал, что обладает высшим пониманием поэзии и подлинным вкусом!) перед самым низкопробным вкусом и низменными требованиями...

...Для публицистики, для науки логика необходима. И логика железная. Но дает ли поэзии такая логика хоть что-нибудь путное? Обязательна ли она? Способствует ли она созданию поэтического настроения, помогает ли успешнее донести до читателя поэтический замысел? До сих пор логическая мысль была обязательным условием поэзии. Тут мы строго следовали примеру и опыту стариков, классиков. Может, несколько обновили систему образов, но твердо держались железной логики мышления и ощущений. Стихотворение ясно, как день. Честно говоря, никто до сих пор не упрекал нас за это. Правда, один читатель как-то раз несмело кинул мне: «Прочитаешь ваше стихотворение — и все как на ладони». А иногда хотелось бы самостоятельно додумать то, на что намекнул поэт. Но все уже сказано... И действительно, разве иногда недостаточно было бы лишь намекка? Мы уверены, что читателю, как малому ребенку, необходимо давать лишь проваренную, растертую кашу-

цу... Позволим-ка и ему участвовать в творческом процессе. Позволим и ему подумать, поразмыслить, поволноваться, поломать себе голову. Позволим ему быть соучастником нашего творчества. Пусть он не единожды прочитает стихотворение, а дважды и трижды, а потребуются — и десяток раз. И с каждым разом все глубже будет понимать его мысль. Наши взаимоотношения, наше общение с читателем должны измениться. (У нас вообще очень любят разъяснять человеку все до конца. Объясняем, разжевываем, пока самим не становится непонятно...) Не лучше ли позволить читателю, его душе, чувствам, его сердцу активно участвовать в лирическом процессе? Мы безапелляционно отмечаем более сложный — ассоциативный метод. А почему? Потому ли, что им некогда пользовались ретрограды? Или потому, что им иногда прикрывают абсолютное отсутствие мысли? Но при чем тут самый метод?

Ничто так не восстанавливает силы после тяжелых трудов, как вода. Как же приятно, когда падает она миниатюрными серебряными каскадами из сложенных ковшиком ладоней. Я очень люблю ее. Мне нравится цвет воды. В ней выражает себя чистая душа великой природы. Могу часами сидеть у реки с удочкой, глядя на движение воды. Она отражает сложнейшие конфигурации мира облаков. Она умеет чрезвычайно тихо шептать и рассказывать обо всех заботах великой природы. Вода необычайно тонко поет — словно играет на электронных музыкальных инструментах... В жаркий летний день я нахожу родник и, склонившись, касаюсь губами холодного и прозрачного серебряного зеркала. Вода так холодна, что ноют зубы. Напившись, я приближаю ухо к зеркальной поверхности и слушаю бормотание песка, кипящего в глубине ключа. Ключ воркует, будто гор-linka. А что может быть прекраснее жидкого хрусталя? Душа поэта. Она должна быть еще прозрачнее, чем зеркало источника.

...Почему нужна нам поэзия только высоких нот? Странно, но я совсем не пишу, когда печален, зол, раздосадован. Почему? Вероятно, чтобы не омрачать настроения другого человека (читателя). Но почему? Ему тоже бывает скучно или досадно. Значит, мое он читает в часы душевного подъема? Гм... А в минуты печали и

боли он ищет другого поэта, в творчестве которого находит отсутствующие у меня мотивы? Но ведь эти чувства свойственны человеку. И никто никогда не уничтожит их, как и не сможет перекрасить мир в какой-либо один цвет. В природе белому цвету обязательно сопутствует черный. И ничего тут не изменишь. Поэтому, не желая порывать связей с читателем, я обязан быть с ним и тогда, когда ему светло и весело и когда печально, больно, обидно. Все время должен я быть со своим читателем. Только тогда я вправе надеяться на настоящую обоюдную дружбу. Что же я должен делать для этого? Писать всегда (когда весело и когда печально). Тогда в поэзии сами по себе появятся и светлые и темные краски, как и в самой природе...

Ненависть злою ехидной проникает в душу человека и отравляет кровь его и мозг, благородное его сердце и светлые очи, коими смотрит он на людей и на вещи. Разве можем мы, бессильно опустив руки, наблюдать, как творит свое черное дело эта ехидна? Если отравляет она кровь человека ядом ненависти, мы должны впрыснуть ему живительный эликсир любви, более сильно действующий, чем яд ненависти. Человека, отравленного ненавистью, может вылечить лишь одно лекарство — любовь...

...Оказывается, до тех пор не могу написать стихотворения, пока не увижу его перед собой целиком, точно картину (контуры, краски, рисунок), или пока не услышу мелодии стихотворения, которая, будто аккомпанемент, сопровождает слова от первой до последней строки. Бывает, пишешь стихотворение. Пишешь, пишешь, вовлекаешь в дело множество «слов». И — ничего хорошего. Перечитаешь и отложишь в сторону. Но если ты раньше увидишь или услышишь это стихотворение и тебе удастся его записать, — тогда другое дело. Говорят: экспериментальное искусство — изобретательно лишь в направлении формы, в то же время это рациональное, умозрительное искусство, холодное искусство. В нем не участвует сердце. Его в большей мере «организует» разум художника. Организованное, продуманное, сконструированное искусство... Не знаю... Не могу сказать... Знаю лишь одно — нельзя поддаваться и слепой стихии (у чувств тоже должна быть дисциплина).

...Католические средние века... Существовала ли в те времена христианская литература в прямом смысле этого слова? Или еще точнее — церковная? Были псалмы, ритмически организованные и рифмованные молитвы. Но разве это литература? Это прикладное искусство. А между тем и тогда, в эпоху средневековья, литература все равно говорила о человеке. Это не значит, что христианская философия, или религия, или христианские идеалы средних веков не оказали влияния на идейное содержание или форму литературы. Да, вне сомнения, это влияние было, и было оно сильным. Но литература все равно рассказывала о человеке. Есть ли монархическая литература? Есть ли капиталистическая литература? Мы говорим: это произведение написано с буржуазных позиций. Или: здесь содержатся буржуазные тенденции. Или: это рассчитано на буржуазный вкус. Что это значит? Значит ли это, что сия продукция создавалась с буржуазных позиций с расчетом и на потребу определенному мещанскому вкусу? А может, сначала все-таки происходил процесс творчества, и, поскольку ничего лучшего, более высокого создать автору не удалось (в силу определенной его социальной ограниченности), это получило, наконец, признание соответствующих слоев и как бы стало их официальным вкусом. Когда импрессионизм только зарождался, мещане вволю потешались над ним. Но когда это направление в искусстве добилось всеобщего признания, вынужден был капитулировать и мещанин. Уступил, принял. И вот теперь уже считают импрессионизм течением, отвечающим вкусам мещан, течением мещанского искусства. Почему? Потому ли, что мещанство, буржуазия приобретали произведения этих художников? Неужели только поэтому? А может, их картины отразили настроения и пришлось по вкусу куда более широким слоям человеческого общества? Так и с поэзией. Разве кто-либо серьезно писал, специально предназначая свои произведения читателю с тем или иным вкусом? Разве буржуа (для успешного ведения своего хозяйства и управления экономикой) вообще нуждается в какой-нибудь поэзии (и искусстве)? За отсутствием иных произведений он читал и такие книги, которые его эпатировали, больше того — издавал их, печатал. И потому мы утверждаем теперь, что это мещанская поэзия? Следует быть осмотрительнее с оценками и терминами. Вкус. Один человек заявляет: «Мне непонятно творчество X,

поэтому я считаю, что оно непонятно большинству...» Но кому-то все-таки понятно? Есть немало представителей мещанства, для которых творчество этого самого Х тоже непонятно и неприемлемо. И есть немало людей, которые понимают творчество Х. Однако существуют индивидуумы, не понимающие не только Х, но и античной греческой скульптуры, античного искусства вообще, Бетховена или Чайковского, Пушкина или Блока вообще. Значит ли это, что греческая скульптура, музыка Бетховена или лирика Пушкина скверны и не нужны? Следовательно, при оценке искусства следует опираться на устойчивые теоретические критерии, а не на собственный вкус. А вкус надо воспитывать. Иначе не будет творческого прогресса. У человека есть один большой порок: он все хочет абсолютизировать, подогнать под свою мерку. Это трудно излечимая болезнь...

...Культурные ценности созданы многовековыми усилиями всего человечества, его коллективного разума и сердца. Они передаются по наследству. И тут не может таиться никаких сюрпризов. Их нельзя разрушить. Можно только так или иначе относиться к ним, в том или ином идейном аспекте воспринимать культурные явления прошлого. Есть определенные культурные пласты, которые наслаиваются один на другой, растут и накапливают свою мощь. Каждое новое поколение, являясь в жизнь, наследует их и, пополнив своей деятельностью, оставляет следующему поколению. Только для варвара нет ничего святого в том, что создали его праотцы и отцы...

...Люди, которые не умеют поддерживать в порядке могилы, не заботятся о них, не могут называться культурными, ибо они не заботятся о наследии отцов. Если нет заботы о памяти мертвых, нет заботы и о жизни живых...

...Если в искусстве как основной герой, как деятельная сила истории не участвует человеческая совесть, то такое искусство не имеет будущего...

...Поэт должен беречь в себе струны самых благородных и прекрасных чувств, дабы не ржавели они, не покрывались пылью. Если эти струны его души не звучат

самым чистым тоном, не гармоничны, фальшивят, когда он начинает говорить поэтическим языком,— поэзии нет; поэзию должны диктовать самые благородные, самые светлые чувства. Это начало начал гармоничной красоты в поэзии. Не что-либо другое, даже не самый жизненный материал, а великая красота. Мы часто читаем стихи, которые не связаны с реальной жизнью или имеют лишь очень слабую связь с ней. Тем не менее, волнуют нас мысли поэта, образы и чувства. Созданный душой поэта своеобразный мир, куда ведет он нас, не скрывая самых сокровенных уголков, создает у читателя определенное настроение. Следовательно, красота является чем-то бóльшим, более сложным, чем мы иногда считаем. Избрали, скажем, два поэта одну и ту же тему и даже с одинаковых идейных позиций решают ее. Но содержание одного стихотворения чарует нас, а другое оставляет равнодушным. Значит, первый сумел осветить эту тему огнями своих чувств, показать со всех сторон, насытить содержание стихотворения богатством и красотой своей души.

Если творец низок, коварен, жесток, то чаще всего все бездны черной его души отражаются и в его творчестве. К примеру, два скульптора лепят портрет одного и того же человека. Один из них человек прямой, открытый. Он и в лице модели ищет благородные, возвышенные черты, старается выявить их. Созданный им образ смотрит прямо в душу тебе, в лице его отражены благородство и прямота. Меж тем второй скульптор — субъект неразговорчивый, замкнутый, аскетичный, он улыбается лишь изредка, да и то криво и хитро. Каков же созданный им портрет? Голова дана в странном повороте, глаза смотрят мимо тебя, куда-то в сторону, в лице подчеркнуты линии, характерные для аскета,— сухость, суровость, скрытность. Лица людей на портретах кисти гениев Ренессанса благородны, возвышенны, в них светится прямота, глубокая мысль. Ведь и сами они — художники того времени — были, в основном, такими людьми, потому и привнесли в искусство это начало. Гёте тоже был очень человечен, прям и искренен, чего, например, не могу сказать о Гейне (хоть он и великий поэт!). Последний не столь открыт, зачастую полон желчи, хотя и в его творчестве пробивается лирически благородное и чистое течение — тема Лорелей. Но сколько иронии и сарказма у этого поэта...



...Почему вы думаете, уважаемые, что ваш способ пропагандировать мысль — самый лучший и подходящий? Почему не могут существовать другие средства и способы распространения той же мысли? Если мы сведем все возможности к одному «наилучшему» средству, к одному безошибочному способу, то это и будет сухой догматизм. А не правильнее ли использовать все средства, которые приемлет читатель, зритель и слушатель? Реализм — это и будет то средство (художественное, разумеется!), при помощи которого наша мысль будет наилучшим способом воспринята читателем. Если же мы, отстаивая свои принципы, будем думать, что наше дело — лишь высказать мысль (чтобы на все сто процентов было ясно, кто мы такие), а все остальное неважно, — поймет ли и примет ли это читатель? Кем окажемся мы в таком случае? Ортодоксами и догматиками. И все наши старания будут идеалистическими (отнюдь не реалистическими!), консервативными и метафизическими...

...Чего добиваемся мы, бесконечно восхваляя какого-либо человека: ты умен, ты совершенен, ты идеален, ты герой, ты вершина?! Только того, что человек этот и на самом деле начинает считать себя пупом земли, вершиной всего. В действительности же такого героя необходимо разумно воспитывать: по сути он хороший человек, но следует указать ему и на его недостатки, освобождаясь от которых он сможет идти к совершенству. Только такой разумный взгляд можно считать реалистическим. Безмерное захваливание тормозит прогресс, демобилизует человека, крадет его внутреннюю энергию. И наконец, выясняется, что от подобного метода воспитания человек не получил никакой пользы. В один прекрасный день он вдруг осознает все свое ничтожество. Не существует разочарования горше. Тогда этот человек начинает топтать все подряд — и то, что было объективно хорошо, и то, что нужно было только ему...

**...Вдруг послышится ночью, когда в абажуре  
бьются бабочки и, переполнив края,  
льется свет —  
мне твой шаг вдруг послышится в гуле;**

пальцы снега внезапно почувствую я...  
 Эти белые пальцы хранят меня ночью,  
 когда улицы спят, когда площадь пуста,—  
 чтоб в стихе не пришлось догореть мне досрочно,  
 как упавшая в темень ночная звезда...

Мне виски они глядят —

я чувствую холод,—

и морщины разгладить стараются мне,  
 и смахнуть со щеки серебристый осколок,  
 втиснуть в губы улыбку... А кстати, в окне  
 рассветало...

Ползут желтоватые почки

по разбуженной вишенке, словно жучки;  
 и рассветные тени мерцают на почве,  
 ранних птиц засвистали лесные свистки;  
 и веселое солнце, застрявшее в кроне,  
 у фиалки дремоту сгоняет с очей...

Ночь сурово уходит, испив моей крови  
 и оставив мне стих... И как будто с плечей  
 сброшен каменный груз —

но серебряной нитью

остается бессонница в чаще волос.

Так плачу за строку, так плачу за наитье  
 и за все, что узнать и создать довелось...

...Все я чувствую пальцы:

легки и не грубы,

вот коснулись морщин и усталой руки  
 и улыбку веселую втиснули в губы,  
 легче стало мне жить...

И ночные шаги,

те, что вдруг я расслышал, когда в абажуре  
 бились бабочек белых ночные рои,  
 те шаги —

растворились, ушли, утонули,

только снег на виски опустил мой.

## НОЧНЫЕ БАБОЧКИ

Я сам назначил себе наказание в доме своем...

*Данте*

...Литература — как человек. Понаблюдаем-ка за человеком. Если он делается самодовольным, начинает полнеть, жиреть, тупеть, то становится ленивым и неповоротливым. Он никуда не стремится, ничего не ищет. Он все нашел. Ничего ему больше не нужно. Он как Нарцисс влюбился в себя. Он перестает думать, или, точнее, ленится думать. Он теряет мысли, чувства его мельчают, плоски берега его стремлений, узки горизонты. Живой труп... Литература должна обновляться, возвращать себе юность (как Фауст!). Она может и должна испытывать вечное недовольство собой, то есть достигнутым, постоянно взбираться на более высокую и совершенную ступень. Литература, подобно идущему вперед человеку, постоянно должна стремиться к новому, прекрасному, совершенному содержанию, искать новые формы его. Иначе она потеряет главное свое назначение. Мещанское чтиво человека успокаивает, укачивает, убаюкивает, усыпляет. Подлинное слово — активно, оно рождает новые устремления, будит беспокойство... Если тебе больно, пусть слово писателя еще сильнее берedit рану. Счастье воссияет через самоочищение. Литература помогает человеку переносить боль и вместе с тем помогает очиститься ото зла.

...Мы можем с объективных позиций истории уточнить и справедливо оценить путь, пройденный литературой. И это правильно. Историю нельзя и не следует искажать. Но это не значит, что мы должны вернуться обратно и писать так, как писали во время оно. То, что было, — пройденный этап. История. Только безвольные, беспомощные импотенты могут в мечтах о золотом веке писать так, как писали некогда — украшать действительность и славословить, славословить, славословить... Нет, необходим более здравый подход. Конечно, прошлое оплевывать не следует. Но к будущему нужно относиться творчески. Замечательно предупредил нас Гёте: «Новая истина более всего страдает от старой ошибки...» Поэтому на прошлое — и далекое и более близкое — надо взирать реалистически. Реалистически и конструктивно, ежели хотим, чтобы прошлое помогало при конструировании будущего...

...Иногда мне кажется, что мы живем не вполне подходящей для писателя жизнью. Внимание наше часто захвачено пустяками окружающего. Бытовые мелочи рассеивают большие мысли и не позволяют нам сосредоточиться. А творец должен уметь концентрировать внимание, даже — созерцать. Без этого не может состояться плодотворный творческий акт. Надо бежать измелчания. Ныне даже в целом и неплохо задуманные произведения бывают написаны на скорую руку, наспех. Куда торопимся очертя голову? Некоторые книги несут на себе печать творческой усталости. Это тоже из-за спешки. Не хватает нам живительно-весенних красок и оттенков. А без них произведение кажется вымученным. Нельзя этак торопиться... Важно писать хорошо. Такого слова не вырубешь топором. Оно будет жить долго...

Каждому ясно, что математику следует изучать в школе или университете. А вот чтобы писать стихи, ни школ, ни университетов не требуется... Несогласен! Правда, какого-то «Университета поэзии» у нас нет, каждый учится самостоятельно. Но не следует забывать, что поэзия требует не меньшего образования, не более легкого учения, чем математика, физика или медицина, нежели, наконец, другие виды творчества — пение, музыка, изобразительное искусство. А ведь их изучают! Непонят-

но, почему отдельные люди ставят профессию писателя невысоко. Раньше говорили — дар божий... Так и теперь зачастую считают: дал бог талант, ничего больше и не нужно. Все пойдет само собою. Оказывается, не так. Кто обучит поэта технике? Господь тут плохой советчик... Ежедневно по многу часов трудится скрипач, развивая гибкость пальцев. Только четыре струны на его скрипке, а учиться приходится всю жизнь. И можешь умереть, не завершив учебы. Почему же думают, что в поэзии учиться нечему?

Не слишком ли много, непропорционально собственным возможностям, мы иногда пишем? Переоцениваем свои способности, свой талант, полагая, что именно мы призваны сказать жизни самое главное слово, что, кроме нас, никто этого сделать не сможет. Не следует ли судить о себе более скромно? Все равно, один человек, как бы он о том ни мечтал, не обнимет необъятного. Не сделает всего в одиночку. Культура — сумма усилий, труда не одного и не нескольких человек. Она — итог деятельности большого коллектива. Из множества творений, увы, лишь часть засверкает самоцветом. Это работы отдельных талантливых людей. Но они тоже не самопроизвольно явились на свет божий. Само собою ничего не возникает. Если нет в песке тяжелых желтых золотых пылинок, не найдешь здесь и большого самородка. Тысячи людей ведут незаметную, но важную подготовительную работу, чтобы могли появиться и выдвинуться таланты. Большой талант — это сумма коллективных усилий тысяч людей. Вероятно, мы и есть та питательная среда, на которой вырастут и раскроют свои удивительные цветы прекрасные растения будущего. Поэтому трудно простить и себе и другим, когда видишь, как безжалостно расходует мы незначительные ресурсы своих талантов. Ссоримся, несерьезно работаем, много времени тратим на переливание из пустого в порожнее. А ведь этим наносим величайший ущерб не себе — всей культуре. Следует помнить: чем скорее и чем больше внесем мы в общую сокровищницу культуры своих, пусть скромных ценностей, тем скорее и тем могущественнее расцветет наша культура, тем раньше появятся те, кто подведет итог нашей работе и зашагает дальше. Получая соки из удобренной почвы, мы пользуемся уже существующими корнями. И от нас пойдут побеги будущего. Виктор Гюго очень образно

сказал о процессе культуры: «Глянем на дуб весною: столетний ствол, могучие древние корни и живые, молодые зеленые листья. Традиция и новизна: традиция, рождающая новизну; новое, рождающееся из традиций...»

...У поэзии свои специфические законы, свои технические правила. Подчас, например, мы еще думаем, что рифма — ее обязательный атрибут. Между тем литературная целина куда обширнее. Поэту совершенно не обязательно рифмовать, складывать строчку к строке. Мы живем в такой век, когда у писателя, у поэта так много средств для выражения своих мыслей. Газеты, журналы, радио, телевидение, публичные выступления создают поэту превосходные условия, дабы мог он сказать свое слово. Публицистическая статья, интервью, беллетристика — все это предоставляет нам широчайшие возможности для участия в водовороте жизни. А мы, подчас без какой-либо настоящей необходимости, стараемся все свои мысли втиснуть в рифмованные строки. Читатель этого от нас отнюдь не требует. Он ждет от поэта подлинной и большой поэзии.

...Ритм — выразитель механического движения вселенной. Все в ней подчиняется определенному ритму. Ритм — свидетельство труда. Ритм — кинетическое доказательство движения. А труд и движение — признак жизни. Ритм указывает на существование жизни в природе. («Труд — это жизнь человека», — утверждал Вольтер.) Статика — знак смерти. Ритм существует повсеместно: в микромире и в макромире, в микро- и макрокосме. Ритм поэзии родился из ритма труда, из движения, из жизни. Ритм — душа стихотворения, его жизнь. Ритм определяет движение стихотворения, этого поэтического организма, в пространстве...

...Напряженная, как струна, душа звучит, вибрирует год, другой — и внезапно не выдерживает... Натяжение ее слабеет, и звук немедленно становится фальшивым. Ничего чарующего, ничего поэтического. Делаем скидку на усталость? Да, тогда-то и начинаются скидки. Пишем про все и вся, без подлинной заинтересованности, без внутренней потребности писать. Это и есть компромисс. А компромисс — путь к смерти. Были ли

компромиссы? Да, были... Были потому, что не хотелось заржаветь... А душа поэта должна быть напряженной струной. Тогда она отзовется на любое, хотя бы и нежнейшее, прикосновение, на самое слабое дуновение ветра, отзовется и завибрирует. Все время быть в напряжении, разумеется, нелегко, нервы не выдерживают. Человек горит и скорее сгорает. Но только так рождается подлинная поэзия, подлинная лирика. Искусство, по словам Льва Толстого, — доказательство высшей силы, таящейся в человеке...

...Мы все толкуем об одном действительно важном для писателя предмете: о необходимости познавать жизнь, быть в гуще жизни, погружаться в ее водовороты и творить для нее. Все это бесспорно. Но как это сделать, если мы не знаем жизни? То есть до некоторой степени, может, и знакомы с ней, но верной дороги, ведущей к человеческому материалу, столь необходимому писателю, не знаем. Самое главное для писателя — люди. Чтобы описать людей, изобразить их, мы должны прежде увидеть их в жизни. Мы должны знать своих героев, словно ближайших родственников. Нынче создались своеобразные условия — писатели образовали какой-то отчужденный, замкнутый профессиональный, чуть ли не кастовый круг. Общаемся зачастую только с себе подобными. Перестаем знакомиться с людьми других профессий — врачом, инженером, рабочим, колхозником. Откуда же мы будем черпать прототипы для своих героев? То знание жизни, которое так необходимо писателю? Мало того, мы еще вселяем писателей в общие дома (точно в общежития). Селим, разумеется, по нужде. Что поделаешь, пока что таковы условия жизни. Но это положение, разумеется, не идет писателю на пользу. Мы должны черпать материал из разных источников. Поэтому, если серьезно говорить о долге писателя по отношению к жизни, в первую очередь следует подумать о том, как создать такие условия, чтобы он мог лучше знакомиться с этой жизнью, непосредственно черпать из нее материал для своего творчества. Не надо создавать писательской касты. Самыми жизнеспособными всегда будут те писатели, которые идут в литературу из жизни. Члены же касты рожают чаще всего анемичные произведения, а претензии у них самые непомерные.

...Разбирая творчество писателя, иногда создают следующую схему: существует такой-то социально-экономический фон, и личность писателя так-то отражается в нем... Если речь идет о диаметрально противоположных творцах, о писателях противостоящих лагерей, находящихся на разных идейных полюсах, такая схема, на первый взгляд, еще кажется пригодной. Но если мы перенесем ее в какой-то один лагерь, она начинает шататься и рассыпаться в прах. Рассыпается потому, что здесь выявляются индивидуальные особенности, различные черты отдельных писателей, их чисто человеческие свойства. Все это куда труднее втиснуть в предвзятую схему. И возникает вопрос, на который нет заранее заготовленного ответа: как на одинаковой почве появляются совершенно различные литераторы? Они, казалось бы, должны быть схожи, как колосья, выросшие рядом, ведь их пестовала одинаковая среда. Но как неодинаково ветвятся произведения их талантов! Не следует ли большее внимание уделять не общим, а индивидуальным чертам? Искусство не так легко поддается нивелировке. Видимо, помимо общих правил, искусство подчиняется еще и специфическим, неписанным законам. Критик, который в состоянии открыть их, и является новатором. Он разглядел то, чего другие не увидели. Он описал новое для литературы явление. Он — первооткрыватель.

...И к чему эта детская игра в кошки-мышки? Один притворяется, что писал в полную меру своих возможностей (хотя в глубине души считает, что мог бы написать и лучше). А другой публично заверяет, что написанное первым чрезвычайно талантливо (хотя про себя думает, что это довольно посредственная писанина). Неискренность... Творец должен выжать максимум. Если он не в состоянии дать больше — это его личное дело, или, вернее, дело его таланта. Усредненные же требования весьма ослабляют энергию творца, его активность, окончательно губят, убивают его...

...Перестаю любить стихотворную строфу. Она кажется мне какой-то слабой, вялой. Ей недостает энергии. Отсутствует в ней какая-то сжатая пружина, которая впечатывает мысль вместе с образом в сознание читателя, та внутренняя спираль, которая делает сти-



хотворение подвижным, энергичным, полным жизни. И строфа выглядит этаким размякшим пирогом, со сладенькой сентиментальной начинкой. Стихотворение — это сам поэт. А разве он так слаб? Куда девались его энергия, его юношеский пыл? Поэт должен всеми силами души противоборствовать вялости, охватившей его творчество. Вероятно, следует обратить внимание на тему. Тема много значит. Надо сильнее пришпоривать мысль, чтобы не застаивалась она. В поэзии нельзя поддаваться фатуму, расслабленности, сладостному настроению отдыха, ибо тогда она загнивает, словно перезревший плод. Необходимо дисциплинировать себя, реорганизовать и мобилизовать весь свой внутренний мир, чувства, мысли, максимально требовать от себя. Только великое стремление заставляет человека упорно рваться вперед и искать. Эта устремленность сразу накладывает свою печать и на лирические интонации. Если капитулируешь, если перестаешь отыскивать соответствующую форму для своих мыслей и чувств, — творчеству конец.

...И еще вредит творчеству неумное многословие. Тянем, тянем нить... Произносим и пишем множество слов и фраз — без образов, без красок... Бессмысленно комментировать поэтический образ. Он не нуждается ни в каких объяснениях. Образ говорит сам за себя. А читатель — не малое же он дитя! — сам почувствует, домыслит и поймет, почему поэт привлекает его внимание к этому образу. Надо позволять читателю думать, надо заставлять его думать. Легче всего писать стихи, которые никого не побуждают к размышлениям. Где все ясно, складно, идиллично. Но такая версификация не выдерживает испытания ни критикой, ни временем. Наконец и сам читатель, своими силами выбравшись из этого примитива, теряет интерес к произведениям, которые когда-то занимали его. Так мстит само время, сама развивающаяся и совершенствующаяся жизнь нетребовательному к себе творцу. И чтобы избежать этого, поэт должен идти вглубь, если требуется — то и в «ад», и вести за собой, как Вергилий вел Данте, своего читателя...

...Есть немало языков (итальянский, французский, некоторые восточные), где поэтическую прелесть состав-

ляет само музыкальное звучание аллитераций и ассонансов. Быть может, здесь это звучание заменяет и многие другие структурные компоненты, иногда даже — сам образ... Хотя часто мы видим и противоположное: музыкальными поэтическими звуками поэзия этих стран выражает большие и глубокие мысли, создает могучие образы. Особо музыкальным звучанием нашей литовской поэзии мы похвастать не можем. Однако важной структурной особенностью нашей поэзии является утонченность, какая-то особенная лиричность (народные песни!), создающая трепетное звучание, подобное звучанию струн, если не скрипки, то, по крайней мере, канклес<sup>1</sup>. Но разве не могли бы мы усилить музыкальные элементы нашего стиха, его благозвучность? Требуется эксперимент. Но мы попросту не обращаем на это внимания, не ищем ничего лучшего и без боя сдаем эту важную область поэзии формализму. Поэтому несколько отяжелела наша поэзия. А ведь опыты в этом направлении когда-то производились. Иногда, разумеется, звуковой орнамент, инструментовка очень усложняют стихотворение. Вслушиваешься в музыкальное звучание такого стиха и теряешь нить мысли, не можешь следовать за ее логикой. Звучание заслоняет мысль. Форма — естественную логику. Нельзя ли добиться музыкальности другой ценой? Не следовало ли сделать так, чтобы и мысль не страдала и строки зазвучали, как пение Орфея (тоны скрипки, редкие звуки канклес, шум моря, барабаны битвы, металлические аккорды электронного пианино)? Ах, Поль Верлен! Удивительный композитор в поэзии. Располагая только одним ничтожным инструментом поэта — лирой, которую, как нам кажется, мы все умеем держать в руках, этот лысый человечек доказал, что из нее можно извлечь чудеса. Слово растворялось в мелодии. Слово металось и взлетало на волнах музыкальной гармонии, как лодка в море. Поэт доказал, что в музыкальной мелодии, словно в кислоте, можно полностью растворить металл слова и превратить его в чудесную серебряную струну. Поэт может мыслить словами, понятиями, образами, однако писать он должен звуками, ибо к уже звучащему слову обязан относиться как к музыкальному тону.

---

<sup>1</sup> Канклес — литовский народный музыкальный инструмент, напоминающий гусли.

При чтении вслух его поэтические образы, мысли, представления приобретают ритмическую музыкальную модуляцию. Слова превращаются в аккорды. Строфы — в поток мелодии. В поэзии утверждается «музыкальный принцип». (Все более поздним поэтам ничего другого не оставалось, кроме как смириться и признать этот принцип. Александр Блок совершенствовал свой слух, дабы услышать трудно воспринимаемую «музыку века».) Сотканный из слов образ становится сочетанием звуков и долго остается в сознании читателя как музыкальное эхо мысли. Вот какими были некогда реформы стиха. Так снимали узду с Пегаса. Так рыхлили почву для верлибра... Верлибр требует абсолютного слуха, ибо, аритмичный на первый взгляд, он ближе всего к естественным ритмам природы.

...Меня преследует музыка. Сажусь писать и вдруг слышу, как возникает в душе какая-то тончайшая мелодия. Вибрируют самые нежные струны. Точно кто-то забрался внутрь мозга и играет на скрипке. Пишу под этот аккомпанемент. Но слова кажутся мне теперь слишком громкими; это какие-то бульжники, тяжелые и бесформенные. Они никак не соответствуют мелодии скрипки. Бросаю перо. Так, как диктует звучащая в душе «скрипка», как, наконец, я и сам хотел бы написать, — не получается. И возникают какие-то неясные для меня самого противоречия между желаемым и действительным. Это страшная мука!.. «Быть может, это какой-то обуявший меня и чуждый мне формализм?» — вопрошаю я сам себя. А если это — желание лучше, вернее выразить настроение, состояние и, наконец, даже мысль? Формализм — игра словами. Я не собираюсь жертвовать мыслью ради музыкального звучания. Мне важно и то, что я хочу сказать. Придется начинать стихотворение сначала. Посмотрим, что из этого выйдет...

...Тон и полутон в поэзии — целая проблема. Как и в жизни. Бывает, что мы произносим определенное слово в полный голос, громко и отчетливо. Но случаются и такие моменты, когда выкрикивать его нельзя, когда слово, сказанное вполголоса, куда более ясно и доходчиво. Иногда достаточно и шепота. А как будешь ты говорить с любимым человеком о любви? Разумеется, бывают разные люди. Один свои нежные чувства вы-

ражает без каких бы то ни было внешних эффектов, скромно и тихо. А другой, наоборот, орет о них благим матом (крик души!). Всякие люди встречаются на белом свете. Иногда эти столь разнохарактерные индивидуумы попадают в самые разнообразные ситуации, и поведение их изменяется соответственно окружающему. Какие-то общие законы, правила человеческого поведения установить невозможно. Потому-то и доминирует в поэзии тот или иной нюанс. Это зависит от индивидуальности поэта, от его характера и от той ситуации, в которой он оказывается. Это, наконец, зависит от времени. Какова гамма времени? Каков его тембр? Как звучит музыка времени — громче, с преобладанием ударной группы, или тише, деликатнее, больше смычковых? Поэт — это время. Но одно — норма для любых времен и ситуаций: культурные люди, беседуя друг с другом, не орут. Тон разговора, способ выражения мыслей и чувств является одним из показателей внутренней культуры человека. Чтобы мысль была понята собеседником, человеку менее развитому требуется целая фраза со всеми периодами, со сравнениями и комментариями; более развитому человеку достаточно нескольких слов, иногда намек, иногда только жеста. Мы не всегда правы, когда критикуем за «непонятность» стоящую на передовых рубежах культуры своего времени литературу, особенно поэзию. То, что одному надо долго объяснять, для другого, быть может, уже пройденный этап, само собою разумеющаяся истина, аксиома. В таком случае люди не считают необходимым что-то растолковывать — достаточно намек. Они ищут более тонкие нюансы, хотят рассмотреть проблему с какой-нибудь необычайной стороны. И это может казаться кое-кому чрезмерно утонченным, рафинированным, даже зауемью. Мы иногда слишком мало внимания уделяем разбору того, какое влияние оказывают цивилизация и культура на литературное творчество. А ведь это фактор основополагающего значения, фактор, который никогда не следует упускать из виду. Это не значит, что литературу, позже вступившую на общую дорогу мировой культуры, следует презирать или умалять ее достоинства. Любой плод созревает постепенно, не вдруг. Существуют различные этапы, различные фазы созревания литературы. Знаешь, какой этап, какая ступень развития достигнута литературой, и становится ясным,

к чему она должна стремиться, чем могут ей помочь другие, более развитые литературы. Если не будем учитывать этого факта, не поймем реального сотрудничества национальных культур, их взаимосвязей, координации, культурного процесса. Наконец, мы не сумеем трезво оценить множество явлений культуры. А растущему организму это чрезвычайно важно знать. Это его «витамин роста».

...Вопросы морали и задачи литературы. Что бы мы ни говорили по этому поводу, в настоящее время мы больше заняты политическими, экономическими, социальными вопросами. Мы должны радикально решить одну из самых трудных для решения проблем, которую Ленин выразил так: «...труд объединяет, а собственность — разъединяет людей». Мы хотели бы объединить в одну семью человеческий род, расколотый собственностью на отдельных индивидов. Это чертовски трудная задача! Однако чем труднее достигнуть цели, тем романтичнее путь к ней. Борьба и свершения — вот в чем заключается красота стремления к этой великой цели. Значит, идеал прекрасного — борьба... О духе человеческом, душе человеческой слишком мало заботимся. Разумеется, материальные факторы жизни оказывают на душу человека сильнейшее влияние. И все-таки прискорбно, что так запущена морально-этическая сторона нашей жизни. Даже литература, которая впрямую призвана заниматься душой человеческой, ныне, когда решаются столь важные вопросы материальной жизни человека, нацелена, в основном, на освещение этих вопросов. Это понятно само собой. На повестке дня борьба за материальное благосостояние. В этой борьбе участвуют все прогрессивные силы. И все же необходимо посматривать, как бы не начало мстить за себя то обстоятельство, что маловато внимания и заботы стали уделять мы воспитанию внутреннего мира человека. В свое время, когда проводилась революционная реформа жизни, было замечено, что, только воздействуя на человека, можно решить экономические проблемы, и люди призвали на помощь этику и мораль. Этому же служили философия и искусство. Таковы уроки истории. Философия проникает в духовную сферу человека, дисциплинирует его и ведет в нужном для общества направлении. Разумеется, философия гуманистическая. «Чело-

век — мера всех достоинств». (Протагор). Мы не имеем права не замечать в жизни явлений (а их немало), чуждых морали и этике нового человека. Высокомерное отношение к рядовым гражданам некоторых чиновников-бюрократов, воровство, распущенность, всякие нежелательные процессы в семейной жизни, алкоголизм, аполитичность некоторой части молодежи, ее нигилизм и отрицание авторитетов — разве это не прискорбные явления, которые должны заставлять нас, писателей, крепко задумываться? И не только нас, но и еще кое-кого, помимо литераторов... Разумеется, морально-этические проблемы входят составной частью в общий комплекс создания нового человека. Сомневаться в этом не приходится. Но озаботиться необходимо. Пока что в этом направлении делается недостаточно. И мы мало пишем. Мораль должна стать равноправной участницей общего комплекса борьбы за нового человека, системой и методом, наукой. Мы отделили школу от церкви, избавили молодежь от слепой веры. Ей не нужны идолы. Человека надо воспитывать свободным. Но привьем же ему веру в великие идеалы. Если в сердце у молодых не будет идеала, они не сумеют бороться. Человек, существующий без идеалов, может превратиться и в мещанина, и в преступника, и в кого угодно. Не хлебом единым, говорят, жив человек. Увы, так. Частично эту брешь в нашем обществе могла бы заполнить литература. Хорошая литература, воспитывающая молодежь в революционном духе. Это ее прямое дело — духовная сфера жизни человека. Но тут, понятно, смотрят очень конкретно: оставишь литературе морально-этические проблемы, сферу нравственных интересов человека, а кто же будет мобилизовывать на борьбу за материальную сферу? Нет, пока, мол, рановато, нельзя еще позволить себе «такую роскошь». А кое-кто в это время не дремлет, берется за работу. И производит ее, пользуясь вышедшими из употребления, устаревшими инструментами вчерашнего дня. Следовало бы автоматизировать, модернизировать (как поступаем мы с промышленностью), приспособить к нашему веку и, быть может, даже к будущему, механику нравственного воспитания. Следовало бы сбалансировать нужды телесные и духовные, найти полезное равновесие, тогда мы добьемся подлинного синтеза, и литературе не будут грозить никакие опасности.

...Случается и так: написал поэт хорошее стихотворение о чистом чувстве любви, о красоте природы, радуется за уважение и настоящую любовь к женщине, прививает любовь к родной земле... А кое-кто тут же усматривает в этом попытку отвлечь читателя от главных тем, чуть ли не столкнуть литературу с правильного пути, заставить ее двигаться в обратном направлении... Имеют хождение и такие утверждения: человек, мол, может быть закоренелым бюрократом, жестоко обращаться с людьми, лицемерить в семье, обманывать, но это неважно, если он твердо защищает «наши позиции». Значит, он полезен, значит, он в настоящее время нужен, и писатель не вправе выступать против его моральных недостатков и грехов. Хотя иногда вместо пользы этот деятель приносит столько вреда, что страшно компрометирует наше святое дело, марают идеал, за который мы боремся. Что же получается? Никто об этом не пишет. А зло расцветает пышным цветом и пускает новые побеги. Мы сражаемся ради достижения прекраснейшего идеала и в то же время иногда бессильно капитулируем перед отвратнейшими явлениями жизни. Литература, призванная участвовать в этой святой борьбе за человека, нового и прекрасного человека, иногда лишается крыльев.

...И приходилось поэтическому слову вести тяжкую борьбу, защищать себя. Часто падало оно в неравном бою или подвергалось заключению в ящике письменного стола. Непривычное, дескать, новое, неапробированное. Зачем рисковать?! Лучше в ящик! Пожалуй, будет спокойнее. А вот когда новое признают, тогда милости просим... Но ведь тогда придется делать следующий шаг, искать новые пути. Разве можно топтаться на одном месте? Для искусства трусливое топтание на месте — смерть. И так все время двигаемся со страшными рывками. Мешает инерция. Мысль с трудом, словно резина, тянется вперед и снова стремится вернуться в исходное положение. Разумеется, ничто в жизни не дается легко. Но все-таки... все-таки... Когда лет десять с гаком тебе приходится так мучиться, то в один прекрасный день чувствуешь, что начал уставать. Вынужден поддаться рутине. А сердце не позволяет. Вот и начинают продувать голову сквозняки сомнений. Стоит ли, думаешь, продолжать писать? Останется ли что-нибудь

из того, что пишешь теперь? К чему все это? Нынче ночью смотрел гранки своего нового сборника стихов. Пусть идет. Но уколов в сердце — не избежать. Чувствую, что будут. Ничего страшного в этой книжке, разумеется, нет. Но при желании бить собаку палка всегда отыщется. Ведь к моей персоне очень легко пристают такие словечки, как «формализм» и т. п. Они все время, будто надоедливые осенние мухи, тяжело летают вокруг моей головы. Все время слышу их надоедливое жужжание. Разумеется, ежели бы от меня однажды действительно запахло вдруг навозцем, это было бы для них великим триумфом. И оставили бы меня в покое эти надоедливые жужжалки... Видать, каждому поэту предопределен свой враг, который загонит первый гвоздь в его гроб. Альбрехт Дюрер был прав...

...Давно уже не держал в руках пера. Сегодня возвратился к письменному столу. Надо обдумать кое-что. Снова меня критикуют. Снова недовольны некоторыми моими мыслями о поэзии. Вышла из печати книга автобиографий писателей. В моих заметках о себе есть такие строчки: «Чувствую, утихают первоначальные страсти, смолкает бесцельный спор о мнимом разделении поэзии на публицистическую и лирическую. И в самом деле, трудно установить рубеж, где кончается одна и начинается другая. Меньше грохота издают пустые консервные банки, правда, грохот этот звучит резче — ибо не сливается с хором, но уже не оставляет продолжительного эха. Погрохочет и, глядишь, смолкнет. Все больше поэзии идет из глубины сердца поэта прямо в сердце читателя: все шире круг поэзии, имеющей настоящее воспитательное воздействие...» и т. д. И чувствую, что рушатся на мою голову камни. И снова делается тяжело. Не желают признавать, что так оно и есть. А ведь оно именно так... Я мог бы развернуть эту мысль. Самому мне она предельно ясна. Понимаю, что литературной критике и особенно литературоведению весьма важно при разборе творчества поэта найти какие-то рубежи, разложить творческий путь по полочкам — другими словами, найти место поэта в общем литературном процессе: тут реализм, тут романтизм, тут импрессионизм. А тут, мол, интимная лирика, а тут лирика с общественным звучанием... Так удобнее давать оценку поэту, изучать его творчество. Это мы и назы-



ваем постоянными критериями, разбором творчества. Наука есть наука. И это ей, вероятно, необходимо. Но зачем же самому поэту заниматься этакой искусственной подгонкой по схеме (вставлять в подготовленные гнезда или раскладывать по полочкам)? Разве поэт, сядя за работу, заранее решает: вот сейчас буду писать чисто лирическое стихотворение, а в другой раз уже на общественно значимую тему?.. Быть может, кое-кто так и пишет. Но это его личное дело. Мне, увы, перед тем как я сажусь работать, подобные мысли в голову не приходят. Я только чувствую, что во мне что-то бродит и заставляет меня поделиться с читателем своим чувством, высказать мысль. Вот и пишу. Следовательно, когда писались эти строчки о соотношении между личной и общественной лирикой, я мыслил не как литературный критик или ученый. Моей практической работе научная классификация ни к чему. «Человек,— сказал еще Фихте,— создан для жизни в человеческом обществе; он должен жить в обществе; он не завершённый творением человек и противоречит самому себе, если живет обособленно». Что такое лирика? Это чувства, мысли, пропущенные через призму души поэта. Если такое «личное» отсутствует, то вообще не может быть и речи о лирике больших чувств и мыслей. Лирика, значит, и есть стихотворная автобиография поэта, она — результат его личных переживаний, впечатлений, восприятий, раздумий. И все в ней зависит только от индивидуальности поэта. Если поэт — человек яркой индивидуальности, всеобъемлющей, могущей охватить широчайшие пласты пространства и времени, тогда его поэзия, конечно, не замкнется в узком мирке. Разве поэт может изолировать себя от окружающей среды? От жизни? От людей? Если есть у него определенные взгляды, если есть у него идеал,— они непременно найдут выражение в его творчестве, безотносительно к тому, будет ли его лирика общественной или личной. И еще: важны не только идеал и взгляды. Важно и само отношение поэта к жизни. Если он относится к ней реалистически, если связь его с действительностью прочна и конкретна, тогда и творчество его не может быть не жизненным. И если живет поэт теми же настроениями, чувствами и мыслями, которые волнуют множество других людей, они обязательно поймут его. Даже и тогда, когда он мыслит несколько «усложненно», когда жизнь

не просто преломляется в его творчестве. Следовательно, мысли поэта перестают быть только личными, получают большую весомость, их подхватывает общество, и лирика обретает общественное звучание. Чем крупнее личность поэта, тем шире диапазон его творчества. Поэтому поэт обязан пестовать свою личность. И в идейном и в эстетическом отношении. Это обязательнейшее условие, без него поэт не состоится. Беда заключается в том, что при разделении поэзии на два антагонистических лагеря — на лирику и публицистику — последней почему-то всегда отдавалось предпочтение. Определяя поэзию как «гражданскую», мы не всегда видели за этим определением его многоплановость, многослойность, и на передний край иногда выдвигались стихотворения хотя и слабые, но написанные на актуальную общественную тему. Тут и вступали мы в конфликт с читателем. Возникало недоразумение: критика хвалит, а читатель не принимает. Совершенно непонятны были ему и требования критики сузить тематику творчества — стихотворение о цветке или соловье относится-де к чисто «интимной» поэзии. Таким образом все снова возвращалось к плоской, декларативной лирике. Возможности поэзии, схематически разделенной на два противостоящих лагеря, сужались. Мы же начинали руководствоваться не внутренним содержанием поэзии, а чисто внешними впечатлениями. О таком явлении, мол, следует писать, о таком — уже не следует и т. д. А ведь все зависит от индивидуальности поэта. Если она достаточно ярка, то неважно, о чем пишет поэт: его личность оставит глубокий отпечаток на всем его творчестве. Индивидуальность поэта формирует структуру стихотворения. Пока что я понимаю эти вещи именно так. Если удастся убедить меня, что я ошибаюсь, я изменю свое мнение и исправлю ошибку. Всех нас учит самый великий мастер — Жизнь. И поэтов, и критиков, и ученых. Остается только быть хорошими, прилежными ее учениками.

...Мы все еще не можем до конца уяснить для себя, что такое индивидуальность поэта. Если поэт пишет с явным уклоном в эмоциональный лиризм, начинаем требовать от него эпического спокойствия или раздумий. Если он склонен к драматическим ситуациям (такова его природа), мы пытаемся отыскать в его твор-

честве фарс. Если он весел, мы обязательно требуем, чтобы он писал серьезно. Если поэт великолепно чувствует и умеет писать пейзаж, мы хотим заставить его философствовать. Обязательно нужно подогнать его «под свою мерку». Как можно игнорировать естественные склонности поэта? И кому это нужно? Давайте решать, каково его место, каковы успехи в его «собственной зоне», исходя из индивидуальности поэта, из его чисто личных наклонностей. Если у поэта есть склонность к пейзажу, мы можем ждать от него и осмысления этого пейзажа. Но зачем же гнуть его в другую сторону? Важно, чтобы он наиболее совершенно любимыми средствами выразил «свою» тему. Если у поэта склонность к драматическому, ему не обязательны переживания по поводу «личной судьбы». В жизни сотни трагических и вместе с тем героических тем. Наконец, сама повседневная борьба человека порождает трагическую героику... Это самое скверное — руководствоваться какими-то узкопонятыми требованиями (требованиями только сегодняшнего дня!). И с такой меркой, сваливая в одну кучу поэтов разного характера и творческого почерка, калеча индивидуальность творца, мы подходим к работе поэтов. Узость, узость взгляда — вот что главным образом наносит ущерб нашей литературе.

...И чем дальше, тем отчетливее начинаю понимать, что для поэта очень важна фанатическая вера в правильность своих творческих идей. Иначе ничего не получится. Люди, не уверенные в своих идеях, люди, у которых они вообще отсутствуют, люди, не обладающие высоким идеалом, — подобны булыжникам, по которым все ездят и которые все топчут. Относись к своему идеалу как верующий, как мученик и фанатик. Тогда все будет хорошо...

...Я верил и говорил, верую и говорю теперь, что необходимо совершенствоваться и очищать свою душу. Только поэт с кристальной душой может узреть поэзию в окружающих его явлениях, предметах и людях. Суд совести и размышления как бы очищают человека, делают его более ясным, честным, настоящим. Назначение раздумий — привести человека в иное, более возвышенное душевное состояние. Поднять его по невидимой лестнице в новые сферы духовной жизни. Поэт должен

подниматься на такую высоту; куда не всякий сможет подняться. Это, разумеется, не легко. Кое-кто, может быть, сказал бы даже — невозможно. Однако поэту определено, велено подыматься по лестнице совершенства. И лишь достигнув его, поэт может учить совершенству людей. Тогда его сердце приобретает право воздействия, и ему начинают верить. Иначе быть не может и не бывает. Все прочее лишь временно, неустойчиво, наконец — банально и дешево. Путь к большому искусству труден, и платишь за него дорого. Недавно я побывал в Индии. Меня всегда интересовало, как сумел удивительный Рабиндранат Тагор создать столь ясное музыкальное звучание чувств, такую младенческую прозрачность души, которые сопровождают каждое его слово, скрываясь в глубоком подтексте. Как чист его голос! Здесь, в Индии, я заинтересовался его философией и практикой. Надо преодолеть земное притяжение, преодолеть тело, подвластное инстинктам, склонное к расхлябанности, вялости, жадности... Человек, поддавшийся телесным слабостям, никогда не сможет стать духовно сильным, не сможет перерасти себя. Значит, для совершенствования души требуется определенный режим, некая духовная аскеза... Тело требует красивых и теплых покровов? Пренебреги его требованиями. Тело жаждет вкусной пищи? На то оно и тело, смертное материальное тело. Пусть требует, жаждет, просит. А ты приучайся недоедать. Тело начнет протестовать. Это ничего. Ты сильнее его. Чем меньше ты будешь удовлетворять телесные капризы, тем больше места, тем просторнее будет в нем твоей душе... (Часто думаю об этом, мой уважаемый друг!). Дух нуждается в гимнастике, как и тело. И духовная гимнастика помогает мне. Поэт не должен потворствовать прихотям своей плоти. Его дух должен быть сильнее тела. Выучись приказывать телу. Пусть оно подчиняется твоим приказам. Железная воля и талант делают чудеса. В человеке всегда идет борьба между телом и духом. И в зависимости от того, кто побеждает, человек становится одним или другим. Побеждает плоть — человек превращается в эгоиста, жадного себялюбца, труса; побеждает дух — он бескорыстно служит идеалу, он самоотверженный борец, светлая и благородная личность. Я понимаю: если не удастся мне победить свое тело, не преодолеть мне земного притяжения, не подняться над обыденным, не создать

ничего прекрасного, благородного, совершенного. Выбора нет. Такова альтернатива творца... Что такое раздумья поэта? Творческий акт. Во время творческого акта переплавляется, заново формируется, проходит глубинное перевоплощение душа поэта. Если сидит в тебе червь эгоизма, сделай эгоиста главным отрицательным героем своего произведения, осуди его самым суровым образом. И после создания такого произведения, разумеется, если ты творил искренне и безоговорочно верил в то, что пишешь, ты раздавишь в себе этого червя... Вот уже сколько времени манит меня тема одной сказки — сказки о великанах. Надо подняться над понятиями микроскопического размера. Почему сердце должно быть таким крохотным — сердцем карлика? Нужно расширить его, увеличить его объем, чтобы помещались в нем сказочно огромные миры. Победить в этом мире свое собственное и чужое ничтожество может только человек, обладающий таким сердцем, сердцем, преисполненным больших, высоких и благородных чувств. Будь собственным и чужим судьей. Мысль, пишу и жажду, чтобы воплотились во мне большие чувства. И верю, что, пусть после долгой борьбы, они придут. Не могут не прийти. И тогда дух мой подымет-ся еще на одну ступень невидимой лестницы, лестницы чюрлёнисовского сказочного замка. Что же, не убоимся сказки, которая всегда сопутствует реальности. В существовании реальной действительности сомнений ни у кого нет. А рядом с ней существует невидимая Сказка, полная решимости превратиться в реальную жизнь. Усовершенствуем свои духовные очи и разглядим шествующую совсем рядом необыкновенно прекрасную Сказку. А когда увидим ее — сможем претворить в действительность. Идеал — в реальность!..

...Странным образом совершаются качественные изменения: хочу писать — и чувствую, что мне не нравится, даже очень не нравится все написанное раньше. И зреет желание писать иначе, лучше, совершеннее. Но как это сделать? Пишу и еще не знаю, что выйдет. И сержусь и выхожу из себя. В такие моменты ничего не могу читать о себе — ни плохого, ни хорошего. Никаких статей. Все сердит, все выглядит никчемным. Пока не осознаю, что все, созданное до сих пор, — плохо, не могу подняться на новую ступеньку. Происходит это скач-

ками. Не от стихотворения к стихотворению, а более крупно: от одного цикла к другому, от одной книги к другой. Еще совсем недавно, подготовив к печати новый сборник, я воображал, что это мои лучшие стихи, моя главная книга. Прошло полгода. Я поколесил по свету, побывал в Индии. И чувствую — рождаются в душе новые ритмы, полнится она новой поэзией. Еще не могу точно сказать, как будет выглядеть новорожденный. Но уже знаю — будет что-то лучшее, чем последняя книга. Сколько времени будет это казаться мне вершиной? Долго ли? Во время грозы зигзаги молний так непостоянны и стремительны... Душа поэта — молния...

...Иногда даже опытный литератор... не может противостоять некоему внушению, крепко сбивающему с толку. Всякие отсталые настроения проявляются скорее и четче, чем прогрессивные, и ошибочно кажется, что этих отсталых настроений больше, что они представляют собой что-то серьезное (человек, откровенно говоря, всегда чувствует как бы невидимые тормозы). Отрицать, кричать, что ничего подобного нет, нельзя. Это было бы недиалектично. В жизни все время противоборствовали, противоборствуют и будут противоборствовать два начала — свет и тьма. Только следует знать, что есть немало людей, несущих человечеству прогресс на своих плечах (как в той сказке о солнце). Почему же мы не думаем о них? Почему скупимся сказать им доброе слово? Очень опасно поддаваться вводящему в заблуждение внушению: мол, плохого больше... Опасно, друзья мои — горячие головы! Не будем бросаться, как бездумные ночные бабочки, на огонек. Это иллюзия. Фактически свет — за толстыми (разумеется, для бабочки!) стеклянными стенами. Стукнешься, и будет очень больно. (Кстати, есть ли сердца у бабочек? Они такие хрупкие и изнеженные — как некая «пастельная поэтесса»...) Надо отличать искусственный свет от настоящего, солнечного. Надо уметь ждать. И дожидаться утреннего света. Не будем торопиться, не будем отрицать — нужно мыслить логично.

...Кто эти люди, которые постоянно нашептывают честным и добросовестным писателям: «Пописываете? Лучше бы помолчали. Зачем бумагу мараете? Ради куска хлеба с маслом?» Прикрывают свою злобу самы-

ми святыми фразами... Ах вы фарисеи! Сорвем с таких людей маску. Что увидим? Новую маску! (Маска прикрывает маску — вот шекспировская трагедия...) Такая личность великолепно приспособилась к новым условиям: получает неплохое жалованье, живет сытно, владеет уютным особнячком, мечтает о собственном автомобиле. При удобном случае такой тип без колебаний и сомнений возьмет жирную взятку, а то чего доброго — и из кассы хапнет крупную сумму... Не побрезгует он и «нелегальным товарооборотом», лишь бы пожива была. Сорвем с него вторую маску! И увидим гримасу мещанина. Проникнем в черепную коробку сего индивидуума, разглядим, что творится в его мозгу, в каком направлении петляют извилины. Сегодня он на деньги, нажитые спекуляцией, приобрел особнячок и машину. И отличного мнения о себе, считает себя порядочным бизнесменом, думает, что было бы совсем неплохо построить еще парочку таких уютных домиков... (Бактерии размножаются. Инфекция ширится.) Почему бы не начать ему совершенно легально заниматься бизнесом на благо своего народа? Почему бы не приобрести в собственность фабрику? А может, вам захочется иметь поместье? Разумеется, такие возможности отсутствуют. Но если бы, скажем, они вдруг появились?.. Зараженный бактериями спекуляции мечтает о лучшем промысле. И стоит перед ним единственное препятствие — какие-то новые идеалы... Тут он способен на все: очернить, закидать грязью эти совершенно чуждые ему идеалы. Разумеется, ему они не нужны. Сегодняшний мелкий спекулянт — потенциальный крупный собственник. Такова логика вещей. Болезнь? К сожалению, не мало еще есть подобных «больных». Это они, спекулянты, взяточники и воры, пытаются лить яд в писательские уши. Внимание писателя, направленное на человека, без особых претензий созидающего собственными руками лучшую жизнь на земле, они хотели бы увести в сторону, душу его деморализовать и сладострастно посмеяться над творцом «обыкновенных иллюзий». Ах ты, искаженная конвульсиями ненависти и хитрости маска мещанина! Я знаю, что ты еще крепко держишься, приросла к лицу! Но ничего, мы все равно сорвем тебя!

...Никогда не дождется успеха писатель, если он не будет видеть того, что видит и чувствует каждый нор-

мальный человек. К чему отбирать у писателя право чувствовать окружающую среду, мир природы (любовь, печаль и радость), то, что чувствует всякий смертный? Такого писателя не будут любить и не будут читать. Зачем воздвигать перегородки? У каждого здорового и нормального человека есть и мировоззрение, и мораль. Разве не все равно, какими глазами глядишь ты на белую ветку вишни, на голубой ручей, на набежавшее облачко? И вишня останется вишней, и облако — облаком. Иначе и быть не может. Они — реальны. Мир объективен. Другое дело, разумеется, какую мысль будит у тебя цветущая вишневая ветка, какой вывод делаешь ты, увидев ее. Тут уже встает в строй твое мировоззрение... Но неужели не может быть чистого пейзажа? Почему не может? Обыкновенный пейзаж, такой, каким видит его вне зависимости от своего мировоззрения, совершенно объективно каждый человек? Может. Но в таком «чистом пейзаже» мы сразу ощутим отсутствие мысли, чувства. И не будет он волновать нас — как размалеванная фотография бездушных копиистов природы.

...И публицистической поэзии в чистом виде быть не может! Это — надуманное понятие. Может быть только поэзия или не поэзия (антипоэзия — это нечто совсем другое). Настоящей поэзии могут пригодиться разные средства. Наряду с другими — и публицистические. Но это имеет уже иной смысл. Никогда не следует это путать. Чистая публицистика была и остается газетной формой. Она в сфере разума. Мысли излагаются последовательно, в соответствии со всеми правилами логики. Язык публицистики может быть образным и поэтичным. Хороший публицист умело использует средства художественной выразительности. Но вообще-то публицистика — чисто умственное, строго логическое дело. Это жанр. Поэзия относится к художественной литературе. А художественная литература говорит языком образов. В этом ее специфика. И тут ничего не изменишь. Так нашли, так и оставим. И не надо спекулировать на этих понятиях. Не умеем говорить эмоциональным, образным языком, пишем сухо, зарифмовываем давно всем известные публицистические истины и ожидаем... поэтических лавров. А читатель не признает это за поэзию. И со временем жизнь развенчивает такого поэта. Можно какое-то время обожествлять его и превозносить до не-



бес. Но это не поможет. Живой остается только поэзия. Настоящая поэзия. Не нравится? Ничего не поделаешь...

...Недавно в одном районе был литературный вечер. Мы читали свои стихи в некоем научном учреждении. Затем — торжественный ужин. И пито было, и красивых речей немало сказано. О гуманизме, о воздействии поэзии на человека велеречиво говорил, подняв наполненный бокал, представитель районных властей. Потом он распрощался, пожал всем руки, пожелал всяческих благ «инженерам человеческих душ», сел в легковую машину и укатил домой. Было поздно. Поднялись вскоре и мы. Попрощались с любезными хозяевами и двинулись тем же путем. Фары автомобиля высвечивали дорожную грязь. И в свете их увидели мы стоящую на дороге женщину с ребенком на руках. Она подняла руку. Остановились. До местечка, где располагались районные власти, недалеко — два-три километра. Женщина приехала автобусом. Ночь. И приходилось ей эти оставшиеся километры месить грязь пешком. Со спящим ребенком на руках... «Прошла тут перед вами, — жаловалась она, — одна легковушка. Пыталась я ее задержать. Тянула руку — не остановилась. Кажись, из района...» И внезапно все становится ясно. И делается очень больно... Черт бы тебя взял, и тебя, и такую-разэтакую твою «любовь к человеку», и весь твой гуманизм впридачу! Забирай обратно все свои сладкие слова, а то, не сдержавшись...

...Лирика — дар молодости... Некий аванс поэту. У нее свой темперамент: любовь и ненависть — два противоположных полюса. Лирика требует больших переживаний, большого накала чувств. Без них лирики не будет... Жизнь слишком рано забрала у меня обратно свой весенний дар. Она была жестока и безжалостна, все время требовала чересчур много... Требовала серьезности. Рано сделала зрелым. Зачастую то, что создавал я серьезно и сосредоточенно, она, едва взявши в руки, выбрасывала как ореховую скорлупку. И вся моя серьезность, все мои добрые намерения оказывались излишними. И сердце обливало кровью от обиды, и жаль было попусту истраченных сил... Много, очень много из того, что писал я, уже потеряло ценность. Уцелела лишь крохотная частица, что, словно горящий

уголек, мерцает еще в золе остывающего очага... Это юношеские стихотворения. Потом — война. И снова — тяжелые годы. Каждый стих полиричней, потеплее вызывал грубые окрики, упреки, оскорбления. Да чего тут вспоминать! Так и пролежали они, пожелтевшие, в ящиках письменного стола. И не было у меня никакой надежды хоть когда-нибудь познакомить с ними читателя. И вот все же попытался издать. Исправил, переработал большую часть, включил в сборник и пустил в люди. Странная была реакция. Кое-кто недоуменно разводил руками. Другие встретили книгу с подозрением. И недовольного, сердитого шипения пришлось наслушаться... Но я терпеливо продолжал приводить в порядок свою раннюю лирику и выводил ее в свет. В ней намечаются две линии: одна — юношеские строфы, черепки и осколки неисполнившихся мечтаний, и вторая — новые стихи, порой продиктованные моментом, порой — искренним желанием поэта творить. Эти линии иногда органично переплетаются, а иногда яростно сталкиваются и борются между собой до тех пор, пока обе не покидают ринга. Ничего, пусть повоюют — выиграет третий. А этим третьим будет настоящее творчество. Будет. Я верю. Спор в моей лирике на какое-то время угас. Я кончил переработку и издание стихотворений юных лет. Очень жаль мне, что слишком мало сохранилось их в годы войны. Кто виноват? Время. Однако виноваты и люди, которые подавляли, выбивали из головы все, что было во мне лучшего, и поощряли наиболее слабые стороны моих способностей. Не меньше виноват и я сам, так как был слишком наивен, мягок, уступчив. Какие бы ни стояли перед поэтом препятствия, он должен писать и копить свое богатство. Теперь то ясно, что молодость не повторится. Она лишь однажды спускается к человеку с рафаэлевски голубого неба. А потом? Потом не остается страсти, не остается беспокойного горения. Исчезает необходимая поэзии наивность. Что же остается? Остается раздумье... Так или иначе — расчет с прошлым произведен. Нет уже в моей лирике двух линий. Ранние стихотворения опубликованы. Осталась одна линия. Отчасти так лучше — меньше мечтаний. Но непонятно, куда приведет эта линия. Юношеская была ясна — лирическая автобиография. А дальше? Хотелось бы найти еще что-то, способное захватить душу и мысли. И вместе с тем страшно; а



**Ночные бабочки.**





Ночные бабочки.





Ночные бабочки.









Ночные бабочки.

вдруг рационализм зрелой лирики делает меня похожим на беспомощного сухого педанта. Страшная судьба. Широко раскрытыми глазами вглядываюсь я в Неизвестное. А в нем — как на киноэкране после обрыва ленты — царит хаос. И ничего конкретного, никаких более четких контуров я пока не могу разглядеть... Но другого пути нет. Выхожу на новую, совершенно неизвестную мне дорогу.

...Писать следует только для себя. Лишь так может родиться настоящее. Если во время работы начинаешь думать о публикации, о требованиях, предъявляемых к поэзии, иногда тебя заносит совершенно не туда, куда собирался ты попасть. Если поэзия будет настоящей, она долго будет нужна, она не умрет. А все остальное пусть умирает, не жалко. Время, как огромная птица, машет в пространстве своими широкими крылами и задевает меня. Оно торопится. И я чувствую, что не должен бояться ударов его крыльев. Надо быть сильнее времени, ибо, если я не преодолею его, оно одолеет меня. Одолеет и бросит — ничтожного и поверженного — на полпути. А само хищным клювом станет терзать мое сердце. Надо схватиться с этой птицей — временем, что несет меня в когтях как жертву. Я должен быть сильнее его.

...Надоело писать стихи только урывками, в свободные часы. В последнее время я занят какой-то «нужной» работой (разумеется, учрежденческой), нужной всем другим, но меньше всего — мне самому. А поэзия? А для поэзии — только свободное от работы время. Это звучит как издевка. Но, увы, так оно и есть. Иногда посетит интересная мысль, сверкнет поэтическая зарница. Но нет времени побыть наедине с собою, сосредоточиться, поработать систематически. Что со мной будет, если все и впредь так останется? Да, поэт — не отшельник, он живет в обществе. Но свое поэтическое дело он делает *только* в одиночку. Кто этого не понимает, тот не понимает поэта.

...Едва ли большое искусство может родиться там, где преобладают незначительные и мелкие интересы. Едва ли оно может взрасти на убогой земле. Как бы там ни было, для процветания его требуются хоть мини-

мальные условия. Требуется возделанная почва, достаточное количество тепла и света, вообще, благоприятный климат. Хотя бы микроклимат... Искусство требует понимающей его души. И большой сосредоточенности. И большого труда. Времени и труда. Если человек хочет понять искусство, оно в первую очередь должно ему нравиться, какое там нравится — он должен любить его. Как может понять искусство тот, кто его ненавидит, а художников постоянно подозревает в том, что они «даром едят хлеб»? В подлинном и большом искусстве взаимоотношения людей, отношения между людьми и природой должны быть гармоничны. Самое большое искусство — это вовсе не отражение волчьих инстинктов. Это отражение великой гармонии. Душа человека, душа художника, душа творца должна победить свои инстинкты, оставить земле все земное и подняться выше своих человеческих возможностей. А попробуйте пробуждать возвышенные чувства, когда один умирает от голода, а другой, как хищник, подстерегает его, чтоб ограбить и проглотить. Тут, само собой разумеется, должно запахнуть кровью. А призывать человека отнять у другого жизнь — дело далеко не благородное. Но не избежать жертв, когда в море сталкиваются два корабля, идущие противоположными курсами...

Душа большого искусства — любовь. Государства имеют флаги. Чувство любви — личный флаг человека. И в искусстве этот флаг борется с черным пиратским флагом ненависти. Любовь — это ось, вокруг которой вращается большое искусство. В центре искусства — культ женщины. Это любимая, мать, сестра. Большое искусство — искусство благородное. Триумф не низких, возбуждающих ненависть чувств, а торжество самых возвышенных. Такого (сверхчеловеческого) состояния достиг Гёте. Большая поэзия — это отнюдь не повседневное, а особое отношение поэта к миру, к людям, к природе. Поэт не должен копировать природу, он должен боготворить ее. Он не должен описывать прекрасный восход или закат, он должен творить гимны солнцу. О женщине поэт не может только писать (пусть пишет о ней беллетрист). Поэт должен поднять любимую женщину на недостигаемую высоту, создать свою женщину, как создал ее в своих сонетах Петрарка. Таковую поэзию (гимны души!) не каждому дано созда-

вать. Во имя поэзии следует отказаться от очень многого и посвятить себя только служению ей. Поэзия должна стать богом, а письменный стол — алтарем, у которого поэт размышляет и творит... Всякая мелочь — натюрморты и пейзажи, всякие оптимистические бытовые вирши — это лишь технические поделки художника. Большое искусство творится личностью, ибо если мы, по словам того же гиганта Гёте, хотим что-либо создать, мы должны кем-то быть...

Ты говоришь: «У меня есть мировоззрение... Им измеряю я все явления жизни. И никто не отберет его у меня». Это правда, у тебя оно есть, и никто не отберет его у тебя. Но этого недостаточно. Твоему мировоззрению не хватает одной, быть может, основной черты — наступательности. Нет этой наступательности, боевитости — и мировоззрение становится чисто личным делом. Твое мировоззрение твердо, но сам ты пассивен, ты не борешься за него, не утверждаешь его. И оно теряет ту силу, которой должно было бы располагать. Ты видишь собратьев по перу, которые еще не сумели подняться до твоего мировоззрения. Но что сделал ты, чтобы они возвысились до него? Есть немало сторонних сил, которые воздействуют на самых близких тебе людей. И они спотыкаются, падают. Но сделал ли ты хоть что-нибудь, чтобы защитить своих товарищей от ударов извне? Нет. Ты только наблюдаешь. А этого слишком мало. Надо яростно сражаться, чтобы сторонние влияния не лишали тебя товарищей. Увы, такое может случиться, если ты и впредь будешь спокойно взирать на все. За позицией должно следовать практическое действие. Недостаточно самому изучить сложную организацию мира. Следует знать, каким образом можно направить ее в нужное русло. Следовательно, не только знать. Но и работать. Если хочешь выиграть бой за человека, будь воинствующим гуманистом. «Борьба порождает борьбу...» — говорит Ленин.

Художник принес рисунок: множество рук, тянущихся к белому голубю. Разумеется, банально. Но дело не в этом. Человек, который должен был принять работу художника, поморщился и сказал: «Фу, как я ненавижу этих голубей...» — «Почему?» — «Какая польза от этой птицы?» — отвечает. — «Только жрет и любит. Ничего больше. Червяка, гусеницы не склунет. И на мясо не идет». — «А какая польза от цветка?» — спрашиваю. —

Только и проку, что глазу приятно». — «Разумеется...»  
Начинаю понимать, почему этому типу не нужна и уточненная поэзия. Люди, которым безразличны цветы и птицы, не могут любить и поэзию. Она им попросту не нужна. Их душа мертва и поэтому не испытывает жажды прекрасного. Беда с такими людьми. Бьемся, как рыба об лед. Вот и печатаем рифмованные статьи о всяких полезных предметах. И очень редко — поэзию. Ах, этот бесполезный голубь!..

...Задей уши воском, как спутники Одиссея, убоявшиеся сладостного голоса сирен. Заткни уши, дабы не внимать сладостным славословиям. Этот совет не очень нов и мудр. Но раз уж совет — значит, он продиктован разумом... Как следует взвесь, чего можешь лишиться, следуя этому «разумному» совету, ибо советчик может завтра отречься от своих слов. Ты окажешься у позорного столба, а он только посмеется над твоими неприятностями и мучениями. Если хочешь услышать самый мудрый совет, обратись к собственному сердцу. Правда, оно не сильно в логике, но только сердце даст тебе стоящий совет.

...В творчестве никогда нельзя идти по самой легкой дороге. Если пишется без труда, значит, плохо. Значит, что-то повторяется: привычные формы, привычные обороты, образы. Каждое новорожденное произведение при появлении на свет обязательно должно заявить о себе пронзительным криком. В противном случае ему не жить... Больше всего следует опасаться внутренней вялости. Тогда муза демобилизуется. Держи свой внутренний мир в состоянии постоянной боевой готовности. И каждый раз, когда почувствуешь необходимость, выводи свои силы на творческий бой. Творчество — это кровавые битвы со всем, что устарело. Дряхлая старина надоедливо ломится, лезет в голову. Надо безжалостно сражаться с ней, отстаивая новое. Сама собой победа не придет!

...Перед тем как сесть писать, как следует прополощем сердце. Поэзия не любит грязи. Если даже в самом укромном уголке сердца залежалась пыль, она обязательно припорошит поэтическую ткань. Если в мозгу свила себе хоть крохотное гнездышко паразитическая

«мысль о злате, о деньгах, о «пользе от поэзии», эта мысль высидит черных воронов. Сердце должно сверкать, как хрустальный сосуд, в котором мы храним благородный напиток. Кому приятно будет пить его из грязного, некрасивого, запыленного сосуда? Это не доставит удовольствия. А ведь поэзию надо пить, испытывая счастье. Словно родниковую воду...

...Пишем по инерции: течет какой-то мутный поток чувств. Не управляемый и не направляемый твердой рукой. А с инерцией надо бороться. Сильнее конденсировать, прессовать мысль. Формировать ее под высоким давлением. Чем меньше слов, тем ярче засверкают алмазы мыслей. Алмазы теперь изготавливаются искусственно, с помощью высокой температуры и давления. И алмазные кристаллы слов нужно готовить так же — используя высокую температуру чувств и концентрацию мысли. Если раньше, чтобы передать какую-нибудь мысль, требовалось целое стихотворение, то теперь хватает одной строфы. Эквивалент становится десять к одному! Сегодня строфа должна нести максимальную мыслительную нагрузку. В структуре стихотворения — минимум необязательных, неорганизованных слов и фраз. Меньше оперировать необразными публицистическими категориями. Требования раньше были такими: меньше поэзии, больше публицистических истин. Надо эту формулу поставить с головы на ноги: меньше публицистики — больше поэзии. Больше образов и смелости. И не обязательно традиционных образов. Надо искать неоткрытые острова. Поэта должна влечь колумбова интуиция. Долгое время я допускал одну грубейшую ошибку, желая все до конца разъяснить читателю. Этим я наносил ему ущерб. Великая Природа не завершила творения мира и дала человеку возможность продолжить этот творческий труд. Представим себе, какой невыносимой и скучной была бы жизнь человека, если бы он получил от природы заверченный мир, где ему нечего было бы делать... Так и с читателем. Оставим ему место для творчества, сделаем его соавтором своего произведения. И не будем ему ничего доказывать. Доказательство зиждется на законах логики и едва ли идет на пользу поэзии. Не читателю следует доказывать, не с ним полемизировать. Надо спорить с самим собою; доказывать истину самому себе. Разве не лучше

было бы, если бы поэт влез в шкуру читателя и попытался уяснить для себя множество непонятных еще в этом пестром мире вещей. Конечно, было бы много лучше. И куда справедливее.

...Если ты не будешь чувствовать своего читателя, он тоже не поймет тебя. Кто он — твой читатель? Разве это не лирический герой всего твоего творчества? Если мысли, поведение, вся жизнь твоего лирического героя совпадут с жизнью твоего читателя, тогда у тебя не будет оснований жаловаться. У каждого поколения поэтов свой лирический герой и, следовательно, свой читатель, идущий в ногу с лирическим героем поэта. Их объединяют условия, в которых сообща жили и формировались поэты и их читатели. Сама жизнь связала их крепким узлом. А не чувствовать своего читателя — это значит не чувствовать под ногами земли. Я часто думаю о читателе. Кто же ты? И каков же мой лирический герой? К какому поколению принадлежит он? Что совершил он в жизни? И что еще должен совершить? Каково его место в жизни? Чем занят он? Что поделяет? Что думает? И о чем мечтает? Поэт обязан все это знать. Иначе он будет бродить по жизни на ощупь и никогда не достигнет цели. Когда я перестаю ощущать прочный контакт со своим читателем, мне становится печально. Понимаю, что мой лирический герой свернул в сторону от той дороги, по которой идет читатель. И говорит лирический герой совсем не то, что хочет услышать читатель. А без общения со своим читателем я жить не могу. Для кого же буду я писать? Жизнь и деятельность лишатся смысла. Кто же мой читатель? И каков мой лирический герой? Разве не принадлежат они к тому поколению, которое, точно яблоко на две половинки, разделили на две части крутой поворот жизни и великая кровавая война? Да, по нашим плечам прокатились большие и тяжелые колеса истории... Не одному переломили и раздробили они хребет. Однако тот, кто выдюжил, кто не согнулся, не сломался, тому ныне иная цена... Это сталь...

...Издается новая книга стихов. Уже которая подряд. В выходных данных обозначен тираж: 8 тысяч экземпляров. Это не мало. Когда получаю новую книгу, всегда начинаю листать ее с конца. Интересно, какой тираж,



иначе говоря, каковы твои отношения с читателем? Не уменьшилось ли их число? Читают ли еще тебя? И право, чувствуешь себя счастливым, когда узнаешь, что твоя книга распродана. Для поэта не может быть большего вознаграждения за творческие муки, за бессонные ночи, за душевные силы, растраченные на арене литературной борьбы... Довелось интересоваться книгоиздательским делом на Западе. Низкопробное чтиво — огромный тираж. А поэзия? А поэзия: двести, пятьсот, тысяча, две тысячи. Максимум. Герметическая, рожденная в башне из слоновой кости поэзия, разумеется, больше читателей и не соберет. Она не понятна людям. Герметисты, услышав о больших тиражах нашей поэзии, тут же презрительно фыркают: «Фи! Массовый поэт... Фи... Падение...» А мы уверены, что падение там, где рождается нечитаемая поэзия. Поэзия для поэтов. И то не для всех. Для избранных. А иногда лишь для одного. Для самого себя. Никто больше не понимает. И никому больше не интересно. Что это? Падение. Маразм. Куда приятнее писать, когда знаешь, что тебя прочтут, что принесешь кому-то радость и счастье. Хоть немного. Хоть горстку. Но все-таки! И не станем мы торопиться пополнять ряды непонимаемых, а значит, и нечитаемых. Будем понятными поэтами. Что тут плохого? Разве так уж скверно быть понятными и, значит, любимыми поэтами своего народа? Тираж — 10 тысяч, 30 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч экземпляров. Это величайшие тиражи поэзии в мире! Разве это плохо, что сердца людей еще не окаменели? Эти сердца живы. Их не сковала повседневность. И это заставляет поэтов работать с удвоенной энергией. Значит, еще не время откладывать в сторону перо. Может быть, то, что написано до сих пор, не столь уж совершенно, как хотелось бы растущему читателю, а может, и самому автору. (Автор ведь тоже растет. Начинали мы с очень малого. И рассчитываем на рост. Выросли не так уж сильно. Но все же... все же кое-чего добились... И еще добьемся... Выше! Выше, храбрецы!..) Каждую свою новую книгу поэт желает видеть лучшей, чем прежняя. Это очень хорошее желание. Чувство роста... Такие мысли возникают на пороге Нового года. Праздничные мысли. А почему бы и нет? Можно и порадоваться... Завтра начинается новый год. Что принесет он нам? Новый год. Не похож ли он на только что выстроенный, еще пу-

стой, незаселенный дом? И ордер на вселение выписывает особый исполком, на вывеске которого начертаны два слова: Пространство и Время. И начинаются новые заботы. Пустую площадь надо обжить, проветрить, чтобы дышалось в ней солнечной атмосферой искренности, обставить ее новыми, более красивыми и удобными вещами; наполнить звуками музыки, книжными полками, поэтическими словами, голосами хороших друзей. Надо добыть для нее новые открытия автоматике, электронике, кибернетики, космогонии и космонавтики. Словом, оборудовать осмысленным содержанием. И новым содержанием. Хочется, чтобы новое жилище отвечало последнему слову моды, было сконструировано из музыкально звучащего металла, ритмичных линий стекла. Пусть это будет обширный солнечный архитектурный ансамбль XX века — без излишеств, но со вкусом, лаконичный, прекрасный своей простотой. Главное — человек: это ему должно быть тут просторно, свободно, красиво и попросту хорошо... Подымаю за это бокал!..

...Что, не получается? Повысил требования к самому себе и перестал писать? Нет, не имеешь права оглядываться назад! Там остались все твои дни и все трясины, бродя по которым ты едва не утонул, едва не ухнул в бездну. Смотри вперед! Глядишь и бормочешь, что ничего не видно? А разве скульптор видел что-нибудь, когда подошел к неотесанной глыбе мрамора и начал высекать из нее произведение искусства? Ищи! Ищи ту мраморную глыбу, из которой должно будет родиться и твое новое произведение. Ты уже не можешь писать, как прежде (на сердце тошно, даже как-то не по себе). Но пока еще не можешь создать ничего лучшего. Трудно стало. И правильно! Слишком легко тебе писалось. И все шло легко. Не приходилось излишне ломать голову. Так тебе и надо! Помучайся. Все, что до сих пор написал, ты выпустил, наконец, в свет. И ничего не имеешь. И злишься, что не написал ничего нового, ничего, что было бы лучше прежнего. Ведь привык, только и заботы — тащить в редакцию свежее испеченный блин. Глядь, уже и напечатали, и люди о тебе заговорили... (Слава?) Помучайся теперь. Плакать охота? Ага, уже лучше, если только это искренние слезы. Плачь!.. Слишком легко жил, обленился, запустил сердце. Займись спортом, попрыгай, сбей жирок. Очисти

сердце, чтобы вновь заговорило оно искренне и красиво. Слава обманчива: чем ближе подойдешь к ней, тем скорей скроется. Не гонись за славой. И не завидуй людям, которые превзошли тебя. У тебя свой путь, шествуй им. Прямо, не сворачивая в сторону.

...Что же больше всего вредит поэзии? Практицизм; утилитарность, чрезмерное внимание к пустякам, ведущее, в конечном счете, к измельчанию. Я не знаю, кто должен решать многочисленные практические вопросы: публицистика, второстепенная и третьестепенная проза или кто-нибудь другой. Но только неразумно подчинять поэзию мелочному быту, неразумно стрелять по воробьям из пушек поэзии. Не в детализации нуждается она, а в обобщении. Ей необходимы широкий размах и высокое небо, то есть нечто противоположное барахтанью в бытовых неурядицах. Хотя в то же время надо опасаться и выпренного парения; обретая могучие крылья, поэзия не должна забывать о нашей земле, не должна становиться туманной и заумной. У поэта есть свой мир. И читателю неважно, как именуется он сущие в нем предметы и явления. Их имена могут быть обобщающими, опоэтизированными, условными. Это допустимо. Но общее направление его поэзии, устремления поэта должны быть ясными.

...Поэзия словно заполняет какое-то пространство между музыкой и прозой, ее образом, рисунком, повествованием. В ней, в поэзии, живет и вибрирует музыка, словами выражает она тончайшие движения человеческой души. Таков графический облик поэзии. Во все времена подчинялась и подчиняется она своим законам. Все будничное в ней умирает, осыпается. Остаются жить и сверкать лишь подлинные ценности. Странное дело. Основные принципы поэзии, ее главные законы познаны уже очень давно. И все-таки приходится отстаивать самые элементарные истины. И как утомителен этот спор! Какой прок от него? Ведь те, кто не разумеет основных ее законов, всегда будут возражать и сопротивляться любым попыткам поэта создать что-то новое, настоящее, значительное. Их логика такова: «Плохо все то, что не могу сделать я!» И стоит ли вообще спорить о принципах поэзии? Давайте просто почитаем, ну хотя бы старых восточных поэтов — Хафиза,

Саади, Рудаки, и все станет ясно. Конечно, жизнь вносит в поэзию новое содержание, новые мотивы, новые взгляды, обогащает ее новыми формами. Но душа поэзии — сама сущность ее — пребывает неизменной. Меняются скорлупки, но ядро остается тем же. И ежели, раскусив скорлупу, не находишь ядрышка, значит, не находишь и поэзии... Очень хотелось бы, чтобы для поэзии существовали самые благоприятные условия. Зачем нам столько рифмованной газетной публицистики? Пусть публицистика выполняет свои функции. А у поэзии есть ее собственное назначение. Как расцветет она, если всегда будет следовать ему! Какими голосами заговорит наша земля! Я — за красоту жизни, за гармоничную красоту. Поэт должен иметь свою поэтическую платформу, свой поэтический идеал. Этому идеалу он должен подчинять свои душевные силы, мысли, чувства. И направлять, постоянно направлять мысль своего читателя к этому идеалу... Ну, хорошо, скажем, сегодня мы действительно живем гораздо лучше, чем вчера: Можем ли мы сидеть сложа руки и ни к чему больше не стремиться? Наша сегодняшняя песня покажется жалкой, если в ней не будет заложено зерно завтрашнего дня. Почему поэт имеет право, нет, почему он обязан опережать жизнь? Он не смеет всегда быть довольным. Достаточно одного мгновения. И снова смотри вдаль!

...Поэзия словно тяжелая болезнь.. Я не написал ни одного стихотворения, не измучившись вконец. Иногда целыми месяцами ничего не пишу. И вдруг потянет к бумаге. Но проходит еще день-другой, пока не начнешь ощущать в себе истинное звучание стиха. Бродишь из угла в угол, точно неприкаянный, места себе найти не можешь. словно хворь какая наваливается. Голова тяжелая, лихорадит. Я на пороге серьезного и мучительного недуга. И вдруг... вдруг в глазах проясняется, светлеет. И за стол! И начинаю писать. Строку за строкой. Строфу за строфой. Слово гонит слово, мысль гонит мысль. И долой отдых, и долой еду! Ничего больше не нужно. Так хорошо становится: чувствуешь себя уверенно, мысли текут свободно, без понуждения. И я пишу. Курю и пишу. Сердце бьется и звенит, как колокол. Давно пора отдохнуть, но я пишу. Чувствую, что вот-вот, иссякший и обессиленный, рухну на письменный стол. Уже не хватает физических сил. Но так много

образов; творческой энергии. Отрываю себя от стола, а уснуть не могу. Ворочаюсь с боку на бок. И в голову лезут обрывки каких-то фраз, строки, рифмы. И я боюсь, действительно боюсь заболеть. Чувства и разум напряжены до предела, как струны. Достаточно легчайшего прикосновения, и они могут лопнуть. Засыпаю. И во сне вижу эти же строки, строфы, рифмы... А на другое утро пишется еще лучше. И на третье. Я все еще болен. Меня лихорадит... Но вот все проходит. И вдруг — пустота. Абсолютная пустота. Пытаешься писать — рождаются какие-то беспомощные, сухие фразы. И понимаешь, что это уже не творчество. Без вдохновения. Без любви. Механическая работа. Версификация. Никакой поэзии. И это великая мука... Переболел — и снова спокойный, нормальный человек. Даже слишком спокойный, потому что опустошенный...

...Мне странно, когда от поэзии начинают требовать «повседневной службы». Если я стараюсь выразить чувства и настроения, которыми живет время, хуже ли я того поэта, который опубликовал сегодня оду о сельскохозяйственных работах? Задача литературы, как и всякого искусства, значительнее и шире. Мы далеко шагнули вперед, если говорить о выражении идеи. Теперь уже действительно нет «безыдейной» литературы. Поэзия насыщена содержанием. Она не испытывает недостатка в пафосе, размахе, смелости. Пора совершенствовать способы выражения. Они все еще убоги и примитивны. Нужно овладевать поэтической культурой. Поэтическая культура — это талант и труд. У нас есть немало талантливых людей. Беда в том, что талантливым людям не всегда хватает воли и трудолюбия. Человек неплохо начинает, но не учится, не совершенствуется и потому к тридцати годам перестает идти вперед. Талант его блекнет, никнет, нищает. Он уже не поэт, а писака. И пишет он уже не для людей, не потому, что не может не писать, не потому, что неотвратимо влекут его красота и чудо поэзии, что есть у него мысли, которыми необходимо поделиться, а потому, что надо как-то существовать. И никакой от него пользы Поэзии. Для того чтобы внести свой вклад в культуру, надо суммировать великий опыт большой поэзии мира. И только такая «кропотливая математика» способна теперь помочь нашему творчеству.

...Я долго ломал голову, думая о своих ошибках. Мне, по моему, не хватает теплоты, интимности. Другими словами, слишком редко присутствую в стихотворении я сам — поэт, живая личность. И так, к сожалению, пишет большинство. Это мода века, что ли. Современной поэзии недостает лирической теплоты, которая согревала бы, оживляла бы ее.

В стихотворении человек должен обращаться к человеку. Тогда все станет на свои места. А когда мы начинаем говорить вообще, не видя перед собой слушателя, тогда — прощай, Поэзия, тогда начинаются риторика, общие фразы, эдоквенция. Поэт может оживить и опоэтизировать предметы и явления мира лишь одним способом: пропустив их, словно сквозь фильтр, через свое «я». Необходима индивидуальность: личность, которую в данном случае представляет поэт, говорит с другой личностью. И этот поэтический разговор должен быть интимным. А как сделать, чтобы поэзия, согретая интимными человеческими чувствами, выполняла более широкие функции, — это уже другой, не менее сложный вопрос. Мы ставим различные лабораторные опыты. И это способствует развитию науки. Экспериментируем в физике, медицине, биологии, химии. А почему бы не перенести эксперимент и в гуманитарную область? Надо дерзать. Будем терпимы: дадим возможность экспериментировать. Не надо ничего навязывать. Я могу критиковать манеру другого, но не должен навязывать ему свою. У меня свой путь, которым я иду, ищу, нахожу. Я охотно поделюсь своими мыслями с другими. Но я никогда и никому не предлагаю писать так, как я. И это дает мне право требовать терпимости от других. Будем оригинальны.

## **ПОЛУНОЧНАЯ ПЕРЕДЫШКА**

### **СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕКВИЕМ**

...Звучит соловьев серенада,  
как пеньё ночных нерид...

...Огня зажигать мне не надо —  
ведь свет над вселенной стоит...

Сегодня сияют сиренью  
все окна...

Узрев этот свет  
в проклятый момент вдохновенья —  
себе наломаю букет  
той белой сирени, похожей  
на гроздь холодного льда,  
чей запах вдыхать ты не можешь,  
но должен вдохнуть

навсегда —  
тот запах  
от белых,  
блестящих,  
как ящерка, влажных  
цветов,  
в которых,  
как в гибельных чашах,  
соловушка  
сгинуть  
готов...

...Сирень засветлела — и мнится —  
Жар-птица роняет перо...

...Поэта пустая светлица  
бледнеет, как бедный Пьеро...

Бледнеют какие-то краски  
со старых картин Пикассо...

Мне месяц-палач без опаски  
на шею накинуд лассо,  
теперь не отпустит живого,  
поэт, за повадки твои...

...Ночь —  
странно... тоскливо... сурово...

Фальшиво  
свистят соловьи...

...И тело и дух ослабели...  
Я кончен на этой земле...

Вишу над окошком на ели —  
в моей соловьиной петле...

## НОКТИОРН

Дождь дробью по стеклам стучит неустанно,  
 так мальчик из трубки плюется горохом...  
 И сыплет спокойное фортепиано  
 пассажи Шопена, как бы ненароком...

Желтеющий лист посылает мне ветка,  
 как птицу, крыло у которой сломалось.  
 И вздохи ноктиорна и запахи ветра  
 в окне занавеску вздувают, как парус.

И душная комната в том оснащенье  
 по ветру плывет старомодным фрегатом...  
 И остров,

и очи,

и синие тени

все ближе,

все ближе —

и вот они рядом...

Тяжелая комната,  
 легкие рей...  
 Подплыли...

и якорь забросили в глуби...

Улыбка,

которая чайкою реет,

в гнездо возвращается —

падает в губы...

И смотрят два глаза — огромные очи,  
 в которых немало судов затонуло,—  
 два глаза огромных — огни среди ночи...

...Но жажда легенд корабля захлестнула.  
 Они уплывают...

Аккорды как волны...

— Высокий мираж — я в тебя уплываю!

...И дождь... и аккорды...

И сладко... и больно...

А судно уносит  
 волна зоревая...



## АКВАРЕЛЬ

...Глаза я вижу — словно с акварели...  
 ...За ними вижу — даль и синева...  
 ...Как на экране — в плоском измеренье —  
 ссутуленного вижу я себя...

...Рисунок плеч моих. Он круто, строго  
 начертан на стене...

— Ах, пустяки!

Наверно, при луне... я слишком много...  
 читаю и курю... А. Блок... Стихи...

Читаю:

«Очи синие, бездонные...  
 ...на дальнем берегу...» И снова мне  
 привиделись те очи отдаленные.  
 ...Стена меж нами... Плечи — на стене...

## АЛХИМИК

...Мой дом стоит далеко, в перелеске...  
 Его хранит берез летучий стан...

Но ветер, этот Хам легенд библейских,  
 злодей и победитель Чингиз-Хан,  
 ворваться хочет...

Двери не откроет!..

Злодеям и святым не отопру!..

...Испортилась погода, анероид  
 все падает... А я весну творю...

Я дом свой не отдам по доброй воле,  
 секретов не открою никогда:

какую долю горя,  
 алкоголя,  
 и лирики,  
 и смеха,  
 и труда

смешать я должен, чтоб весна проснулась...  
 {Алхимик я!}...

...Дороги развезло...

...Под ветром роща белая согнулась...

...А мне светло —  
небесно и светло...

Дров наколот. И в комнате прибрался.  
Воды себе из родника принес...

— Варить ли ужин!..  
...Пес проголодался...

...И воет, как оголодавший пес,  
осенний ветер...

Но трещат поленья,  
как звезды, прыщут в печке угольки...

К стеклу прибился желтый лист осенний,  
развесил дождь дырявые платки,  
и кажется, прильнув к оконной раме,  
ты, словно лебедь будущей весны,  
ко мне стучишься белыми руками...

**[Позволь мне верить в сказки или в сны!..]**

Правдива будь — на правду будь похожа,—  
будь истиной, ведь я тобой дышу...

[...Не то перед Дантесом рухну тоже..  
...Ведь я и так на волоске вишу...]

А ветер, этот Хам легенд библейских,  
к нам не ворвется в запертую дверь..  
Мой дом стоит далеко, в перелеске..  
Его хранят березы... Ты поверь...

...Ох уж эта сентиментальность! Ну просто осточертела! Так ее много!.. И в поэзии, и в прозе, даже в критике. О чем бы мы ни писали, обязательно разбавляем продукцию определенной дозой сентиментов. Почему, скажем, нельзя отнести к какому-нибудь явлению рациональнее — с экономической или философской точки

зрения? Рассматривать его сдержаннее, конкретнее, серьезнее, наконец?! Писатель должен сколь угодно глубоко проникать в жизнь. Уметь очень тонко анализировать ее. Сентиментальность как раз и претендует на подобную тонкость, но фактически она вульгарна, банальна, плоска... А сколько «чувствий» в поэзии, горе ты мое горькое! И не будем кивать на соседа! Прежде всего заглянем-ка в собственную душу. Да, чего-чего, а этого хватает... Иногда поэзия напоминает старую деву — настоящий потоп чувств. Катятся они по страницам книги, ни дать ни взять — морские валы. Десятибалльный шторм. Буря!.. И к чему столько? Ведь ничего особо важного не происходит. Никакой смертельной опасности нет... Не трагедия... Так зачем же столько баллов? Нет. За чувствами нужен глаз да глаз, а то разбредутся они во все стороны, словно стадо овец, попробуй собери потом! Никак нельзя оставлять их без присмотра. Предоставленные самим себе, они теряют всякое разумение. Поэт всегда должен контролировать, обуздывать свои чувства. Им нужна строгая дисциплина, хорошая духовная гимнастика, их следует воспитывать в духе коллективизма. (Чувства тоже живут большими коллективами, крупными ассоциациями, и они обязаны подчиняться общим для всех законам, не нарушать правил общежития.) Это же, наконец, не эстетично — разгуливать нагишом на глазах у широкой публики. На что это похоже! Поэтому не будем обнажать и свою душу. Слышу возражение: «Ты же сам утверждал, что поэзия — исповедь; чем больше поэт раскрывает свое сердце, чем искреннее он, тем лучше...» Да, это я хорошо знаю... Есть некоторый опыт... И тем не менее... «Тем не менее, прошу поверить (опираюсь на собственный опыт!), не торопитесь обнажать сердце... Не навязывайте его. Насильно мил не будешь. Вы можете показаться банальным и смешным... Оставьте сердце при себе, больше дорожите им... Сдержанность не повредит вам, не бойтесь... Не ищите сочувствия и утешения — это тоже признаки сентиментальности. Гоните от себя тех, кто придет, дабы выразить вам, обиженному и страдающему, свое сочувствие. Поверьте, что больше приобретете в их глазах, явив сдержанность и твердость. Вас станут уважать. Сильных — уважают. Достаточно понаклонялись на все четыре стороны, отыскивая сочувственные взгляды. Достаточно понавы-

ставляли наружу свое добросердечие (глядите, мол, как нежно люблю я вас, люди!). И что получили? Многие ли поверили? Поэтому довольно... Побольше самоанализа и самокритики. Вспомни ежа: выставит иглы — ну-ка поглады! Надо больше полагаться на собственную жизнь, глубже погружаться в нее, меньше глазеть по сторонам. Ошибся разок, и баста! Чего ты ожидал? Благодарности? Но ты же неоднократно читал стихи других поэтов, читал классиков: как жалуются они на неблагодарность!.. И не верил. Считал себя умнее их. Неразумный... На части готов был расколоться, совал всем под нос свое нежное сердце, одаривал своими искренними чувствами. И что же? Учись глубоко прятать свое сердце между строк, за каждым словечком, каждой буквой. Пусть хватятся его, пусть станут искать, пусть долго не смогут найти. Тогда читатель, разумеется, начнет хмуриться: «Где сердце? Куда делось?» А ты можешь посмеиваться в кулак: «Не брал, когда предлагали... Вот и кусай локоть...» Разумеется, обидится. Начнет чертыхаться, злиться, искать. Ничего. Поищет, покопается как следует и вдруг — найдет. Вот уж когда обрадуется: — Нашел! — Что нашел? — Сердце затерялось. И вот нашел наконец. — И хорошее сердце? — Отличное! — А что в действительности? А на самом деле (смех да и только!) это то же самое сердце, прежнее, только теперь, вишь, куда дороже стало — пришлось самому потрудиться, разыскивая его. Так бывает. Когда-то я и сам души не чаял в одном очень искреннем, открытом, хорошем, ясном поэте. Что чувствовал, о том и писал. Мне думалось, что в этом его преимущество перед многими другими. Но вскоре он оказался мне чрезмерно искренним и открытым. Следовательно, слишком ясным. И начал я искать более сложной, глубокой, зашифрованной лирики. И вот набрел, наконец, на другого поэта. Непонятный, как кибернетика! Страннейшие поэтические образы и картины. Необычайнейшие метафоры. И этими метафорами, словно громоздкой мебелью, заставлено все его жилище. Проник я внутрь, и все эти многочисленные вещи начали мне мешать. Так много их здесь, что шагу ступить нельзя — задеваешь, цепляешься и падаешь. И стал я беспокоиться, метаться, сердиться... В чем суть? — спрашиваю. Что хочет он сказать? Зачем так тщательно, так старательно насовал он в свои стихи всякой всячины, так

захламил их, что стало тесно и душно?.. Искал, копался и долго злился. Но не отложил книгу: Перечитывал одно и то же стихотворение и дважды, и трижды, и десятком раз. И вдруг вижу: в глубине, между всем этим хламом, бьется сердце поэта. Сердце! — обрадовался я, точно дурачок — писаной торбе. Разумеется, сердце. Такое же сердце, как и у первого поэта. Только лучше упрятанное, дольше пришлось искать. Не на поверхности лежало. Все большие поэты пишут об одном, но каждый использует свои средства, опирается на собственный жизненный материал. А вообще-то основные идеи настоящих поэтов можно свести к одной точке, куда, словно в центр, сходятся все поэтические линии. Это яркий человеческий идеал — беспокойный свет, это надежда, к которой мотыльками стремятся все мысли поэта (посмотрим на «Надежду» М. К. Чюрлёниса). Так-то и проучила меня жизнь еще разок. Но и спасибо ей, — я понял одну важную истину: цель у поэтов одна, а дороги к ней — разные. Иначе говоря, если идеал у поэтов общий (тут нечего выдумывать что-то новое — все мы зовем человека к добру, к правде, к красоте), это не означает, что схожими должны быть и художественные средства. Каждый поэт выражает свои устремления по-своему. Этим-то они и разнятся. Значит, форма, поэтическая оболочка стиха и является плодом лабораторных опытов художника — итогом всех его исканий, мук и усилий.

Литература, разумеется, имеет право защищать и оправдывать все на свете. И при этом может оставаться неплохой литературой. Все зависит от таланта художника. Однако остаточное ее значение неравноценно. Изменяется конъюнктура, и немалая часть литературных опусов отправляется на свалку истории, тонет в реке забвения. Но кое-что, глядишь, и уцелело. Что же? Сохраняются в памяти народной те произведения, которые стоят на стороне человека. Не человека вообще, не абстрактного индивидуума. А конкретно, очень конкретно, — те, что поддерживают прогрессивного человека, его борьбу, его убеждения, его мораль, всю его жизнь, наконец. Поле действительности пересекают всего два окопа. В одном — прогресс. В другом — ретроградство. И между ними вечная борьба. Кто-то силится притормозить движение человека. Кто-то ведет его вперед. И

поэтому идет война, где справедливость на стороне прогресса. Настоящая литература должна помогать человеку в этой справедливой войне, выступать в одном ряду с ним! Человек не поэтическая метафора. Не орнаментика поэзии. Не форма. Он — содержание, идея, суть поэзии. Пока что мы озабочены удовлетворением материальных потребностей человека. Конечно, это первоочередная задача. Голодный не нуждается во всем многообразии искусства. Его интересуют лишь те идейные устремления искусства, которые ставят перед ним цель и побуждают бороться за лучшую жизнь. А этим занимается не только искусство. Иногда эту функцию лучше выполняет публицистика. Но когда человек достигает первой цели — когда он обеспечен материально, тогда начинает он стремиться и к богатой интеллектуальной жизни. Тут-то на передний план выступает искусство не просто «нужное», а подлинное, большое, сложное, прекрасное искусство. Интеллектуальные потребности человека растут. Его уже не удовлетворяют утилитарные поделки художников. Ширятся, повседневно ширятся горизонты человека. И вскоре мы увидим, что нынешние берега слишком узки для него. Он жаждет глубины и простора. Самое время подумать о глубоком и прекрасном искусстве...

Несколько странно было бы требовать сегодня от поэта, чтобы он оставался чистым лириком. В его творчестве переплелись все роды поэзии: личные эмоции и политические мотивы, страстное лирическое слово и эпическое спокойствие. А сколько публицистики в нынешней прозе! Подчас бывает трудно определить тот рубеж, где кончается публицистика и начинается «настоящая проза». Родился даже публицистический роман. Многое переворачивает вверх ногами динамика времени, неимоверно выросшие технические возможности. Мы ощущаем диктатуру цивилизации — диктат техники. Характерная черта времени — смешение жанров, а не прежняя их аристократическая «чистокровность». Я — за гибридизацию. Сдается мне, то же происходит и с методом, помогающим писателю воспринимать действительность, накапливать необходимый для работы материал. Почему реализм должен вечно хранить «расовую чистоту»? Почему писатель должен избегать фантастических открытий науки или чураться

собственной фантазии, обогащенной новым опытом? Неужели он обязан барахтаться во множестве реальных предметиков, наблюдаемых невооруженным глазом? Зачем сужать его творческие возможности? А вдруг писатель сможет более глубоко изобразить наш мир, переплетая его реалии с поэтической фантазией? Разве не может существовать поэтический реализм?

...Еще недавно стили пытались унифицировать. За эталон выдавался некий официальный стиль. Доходило до абсурда: если, к примеру, будешь писать так, как писатель X, тебя будут считать писателем нашей эпохи. Теперь наблюдается другая крайность — своеобразная «демонстрация» разнообразных форм как вызов бывшему официальному стилю. Там, где царил канон, теперь демонстративно подчеркивается асимметрия стихотворения (оставим, мол, только общий, да и то рыхлый графический рисунок стиха, «а что сверх того — то от лукавого»). Можно понять и принять, когда это делается органично и красиво. Однако становится заметным, что и сей «свободный стиль», не признающий никаких законов, канонизируется. Мы должны экспериментировать, искать. Но именовать поиски открытиями и навязывать их другим нельзя. Прежде всего найти, а уж потом хвастаться находкой. Не будем превращать свободу в насилие. Не будем никого принуждать переходить в «чужую веру». Не будем создавать моду. К чему шарашаться из одной крайности в другую? Шатающийся человек ходит очень нетвердо. Пусть каждый ищет собственный путь. Это и будет подлинный поиск, ведущий к открытиям.

...Не будем критиковать ветер — он не владеет словом, чтобы выражать мысли, он только свистит. Дует и свистит, ибо он — ветер. Его удел — звуковые эффекты. Но разве не красив гул и посвист ветра? Разве не может он приносить эстетическое удовлетворение? Так, оказывается, устроена природа.

...Прочитал роман. Впечатляет. А ведь написан, казалось бы, самыми обыденными словами. Автор — совершенно новый тип писателя. В одном произведении он объединяет разные жанры: привычная (в нашем понимании) беллетристика переплетается с газетным ре-

портажем, с настоящей публицистикой, публицистика — с философией, проза — с очень сдержанной, глубоко скрытой мужественной поэзией. Все средства хороши ему для точного раскрытия образа и мысли. А главное, он уже не просто писатель, рассказывающий о людях и вещах реального мира. Он еще и мыслитель. Так, вероятно, и следует шагать на новую, более высокую ступень: писатель должен превращаться в мыслителя, могущего охватить широкие горизонты, философски обобщить материал. Философия раздражает среднего читателя, довольно быстро приедается ему. Поэтому писатель должен обладать чувством такта, должен знать меру. Этот — именно таков. Умеренный, тактичный (хотя герои его романа дьявольски сквернословят) и достаточно галантный (разумеется, в самом лучшем смысле). Очень сложный и, вместе с тем, очень простой писатель. Трудно сочетать такие противоположности, но, оказывается, можно. Отличный получается гибрид. Удивительный. Автор не «перекармливает» читателя: он осторожен и нежен, его периоды коротки, фразы экономны, немногословны, доступны. Обращается он к читателю доверительно, просто и вместе с тем красиво, стильно, элегантно. Он, можно сказать, идеально соответствует аристотелевым концепциям искусства. («Достоинство словесного выражения — быть простым, но не грубым...», «...все му должно иметь меру» и т. д.)

Жизнь поэта — пусть это и банальное утверждение — сложная штука. Если не почувствует он на собственных плечах всех тягот жизни, не быть ему хорошим поэтом. И справедливо говорят, что только в момент творчества поэт (вообще любой художник) переживает подлинное счастье. Настоящую радость может доставить поэту только удавшееся, удовлетворяющее его произведение. Да и то ненадолго. Миг радости разбивается, как бокал: летят осколки и брызги стекла. И лик поэта снова обволакивают тучи... До следующего счастливого мгновения. А все остальное время? Вакуум...

...«Философия — не моя специальность», — говаривал Достоевский. Ему можно верить. Не должен писатель быть и ученым. Но не может писать и не мыслить... Через разум его, через его сердце проходят все главные, все великие вопросы Бытия. Он размышляет о структу-



ре: нашего большого мира. Философия писателя — не научная дисциплина. Философия его — не умозрительный предмет. Она обоснована человеческим материалом, картинами жизни, конкретным анализом их. Это и отличает писателя от философа. Едва ли писателю, как ученому, требуется строгая логичность построений. Если все ясно, зачем тогда писать? Он для того и садится за письменный стол, чтобы решить для самого себя некоторые интересующие его проблемы. Но едва ли до конца сумеет он ответить на все вопросы. И это, наконец, не столь важно. Главное для него — постоянный поиск правды, стремление к ней. Человек, по Гегелю, существует, чтобы познать истину. Ученый и добивается ответа. Писатель, быть может, его и не ищет. Однако он задает вопросы. Таков философский аспект писательского труда.

...Два предмета будоражат сегодня воображение поэтов и стимулируют их творчество: Космос и Человечество. Но космос фантастически велик, он вызывает недоверие, подавляет своей безграничностью. На фоне космоса становится ясным ничтожество этого макового зернышка — человека. Наконец, космос вызывает печаль, боль, настраивает кое-кого пессимистически, даже будит религиозные чувства, если они еще дремлют в душе человека. Трудно постичь бесконечность. А ощущение собственной ничтожности, этокое чувство пылинки мироздания, закрадывается в душу человека чуть ли не с первых мгновений его сознательной жизни. Это чувство может быть погребено очень глубоко, усыплено жизнью, наукой, большим искусством. Однако увлажни его слезой, подсыпь ему, словно горсть чернозема, одиночество, страдание, — и оно вновь зазеленеет, начнет разворачивать свои листочки. Человек постоянно ищет выхода из боли, печали, одиночества (космос — абстрактная бесконечность, человек — конкретная пылинка). Ищет спасения. Его взгляды прикованы к звездной дали. Там пытается он найти ответы на множество вопросов. Там черпает какую-то трудно осязаемую, трудно объяснимую радость и, приобщившись к ней, испытывает подъем, ликование, счастье. Космос не исследован и полон тайн. Человека манят и влекут его бесконечные пространства, где он, быть может, никогда не сумеет побывать, которых никогда не сумеет познать.

Космос — это перспектива. За Человечество надобно еще бороться. Пока что оно — конгломерат миллиардов отдельных клеток, отдельных людей. Их надо объединить, создать единое Человечество.

...Мы все восклицаем: «Поэзия! Поэзия!..» А если спросить нас, что она такое — эта поэзия, то мы бы едва ли сумели найти краткое, четкое и точное определение. Можем изложить правила стихосложения... Можем поделиться субъективным поэтическим опытом. Но очень не легко найти точную формулу, раскрывающую понятие «поэзия». (Литературоведение наше не в силах иногда разобраться даже в каком-нибудь отдельном конкретном случае, объяснить его. Где уж ему давать исчерпывающую формулу общего! Посему его определение поэзии невнятно и слишком абстрактно.) Следует индивидуализировать общие понятия, тогда они будут лучше объяснять и частные случаи. *Arts poetica*, технические законы — это поэтическое инженерное дело. Его можно изучить и научно обосновать. Это оболочка поэзии, ее скорлупка. Однако суть поэзии — ядро, заключенное в этой скорлупе, невидимо, и его познать много сложнее. Суть поэзии — тайна. И у каждого поэта своя химическая формула (куда сложнее, чем  $H_2O!$ ), свой рецепт, своя магия поэзии, которые почти не поддаются логическому объяснению. Поэтому всегда трудно в нескольких словах ответить на вопрос, что такое поэзия. Откуда поэт получает вдохновение? И в этом тайна поэзии. Вот мы читаем стихотворение... Отличные строфы. Безупречная верная мысль, блестящая техника, язык метафоричен, стиль сияет новизной. Кажется, все есть. Не хватает только одного — поэзии. Отсутствует некая особая, непостижимая частичка вещества, некий аромат, что может изготовить лишь волшебник; поэт-алхимик. Это вещество должно согреть поэтический организм, как кровь обогревает человеческое тело, проникать в тончайшие кровеносные сосуды организма — течь между строк, между слов, между отдельных буквочек. Это сложнейшее химическое вещество и делает организм живым. Так рождаются стихи — Големы, создания, подобные живому человеку. К поэзии применим принцип кибернетики. Стихотворение как бы модель человека. В нем сосредоточена вся информация, находящаяся в мозгу человека, и весь эмоциональный

опыт, накопленный его сердцем. Стихотворение — это робот поэта, его автоматический Голем. Жизнь, которую волшебным способом вдохнули в стихотворение, замещает живого человека, заставляет общаться с поэтическим произведением, как с живым человеком. Если этого нет — стихотворение холодно, бесчувственно, мертво. Муз нынче, разумеется, нет. Зови не зови — не докличешься. Очень уж стали они пугливы и осторожны. Да и есть чего опасаться: космос полон невиданными, неизвестными «летающими объектами»... Теперь не прежние времечко. Бывало, кликнет музу ютящийся в сей юдоли плача поэт, она и летит к нему, точно комета по космосу, расправив шелковые крылья и тюлевый пояс, спускается на землю и утирает горемыке слезы. Теперь, известное дело, иначе... Ну да бог с ними... Муз нет, будем же больше полагаться на собственные силы. Будем творить без помощи муз... Только, чур, не забывать, что от нас требуется! А требуется немного: надо лишь, как говорили древние, родиться поэтом (*poeta nascitur!*). Только и всего... Остальному можно научиться.

...Наука в наше время — величайший авторитет. Низко склоняем перед ней свои убеленные сединами головы. Научное познание мира нас удовлетворяет. Но вот в литературе мы все еще пользуемся примитивным способом прошлого столетия. А даст ли он нам возможность проникнуть в человека, в глубинные пласты его психологии? Для того чтоб хорошо знать структуру пахотной земли, необходимо изучать не только верхний слой почвы, но и подпочву. «Человеческий материал» в атомном веке стал более сложным. Нити его нервных связей так переплелись, так спутались в клубок, что завязался настоящий гордиев узел. И перерубить его нелегко. В наш век эмпирическое, поверхностное описание — анахронизм далекого средневековья (летописи). Тогда описание эпохальной битвы умещалось в одном абзаце. Теперь для науки человековедения летописи недостаточно. Не вместишь в нее всех данных изучения человека. Требуется более широкий и детальный анализ. Необходимо познать законы динамики своего века, научиться говорить на языке современности... Наша летопись должна быть заполнена тщательным анали-

...Данте, создавший великую «Божественную комедию», безусловно был на голову выше современной ему эпохи. И тем не менее он не мог вырваться из рамок своего времени. Каждый художник, даже величайший гений, работает в рамках своего века, что его порядком стесняет и сковывает. Но выбора нет. Не было выбора и у Данте: он взял средневековую религиозную схему и втиснул в нее самый что ни на есть жизненный материал. Ад, чистилище и небо были для него лишь метафорами. Несмотря на весь регламент, несмотря на все христианские нормы, великий поэт выразил основную мысль: и век его, и люди, и философия не столь уж совершенны, как провозглашает христианство. В мире нет совершенных правителей: отцов церкви, учителей веры, государственных деятелей, партийных вожakov, руководителей экономической жизни. Человек несовершенен. И поэтому человеку необходимо улучшаться и совершенствоваться. Люди, направляемые инстинктами, борются, дерутся, любят, страдают, мучаются, умирают... Нормы жизни, созданные самим же человеком, нормы, которых ему следовало бы придерживаться, значительно выше. И поэтому им трудно следовать. Есть сила, символизирующая совершенство. Это условный знак, как в математике. Это символ, в котором человек воплотил свой идеал морального совершенства. А человек? Человек, если сравнить его с символом совершенства, — слаб. Но это не значит, что он должен капитулировать перед своими инстинктами. Гениальный поэт средневековья ясно высказывается за совершенствование человека. Процесс этот нелегок и продолжителен. И только тот приближается к идеалу, кто умеет обуздать, преодолеть «земное притяжение». Поэт мечтает о доблестном, прекрасной души человеке, которого бы он возвысил до небес. Поэтические видения Данте грандиозны. Не каждому творцу дана возможность выключиться из рационального мира и жить в мире своих видений. Пусть критика не верит в них. Великие создания поэзии рождены этими видениями. Благодаря им переносятся они из мира фантазии в наш вещный, конкретный мир, мир сущего. Из мечты в реальность. Не все ли нам равно, каким образом погружается поэт в свои видения, в это состояние грез. Вероятно, наука могла бы подыскать точный термин для определения состояния вдохновения. Неважно. Ясно лишь одно — великий

итальянец писал, находясь в состоянии поэтического экстаза, транса. Он видел свой мир. Видения — реальный мир поэта...

— Не кажется ли вам,— спросил некто,— что история отдельных индивидуумов, отдельных народов и, наконец, человечества в целом — противоречива? Мы реформируем какую-то сторону жизни общества, и тут же встают непредвиденные проблемы, возникают новые, нежелательные явления, и приходится их устранять. Взгляды человека претерпевают определенную ломку, меняются. Усиливаются противоречия, начинается конфликт. На арену истории выходит трагедия, человек борется с судьбой, стремится одолеть ее. Тогда-то приходят победы и поражения человека. История человечества сопровождается постоянными трагическими коллизиями. «Человеческой трагедией» назвал свою мудрую книгу выдающийся венгерский поэт Имре Мадач. Раздираемый противоречиями европейский континент потрясали бури революционных боев 1848 года. Гроза Революции зигзагами молний начертала на темном небе Европы слово «Человек». Если он свободен — это «Ессе Ното!» — значит, он достоин звания «Человек». Если — в неволе, то несет звание раба. Два слова всегда шагают рука об руку: *Человек* и *Свобода*. Человек только тогда полноценен, когда у него есть работа, когда он может творить, заниматься этой необходимой человеческой деятельностью. И прежде всего — когда он свободен. Раб не человек. Весь исторический путь человека отмечен следами крови — следами его героической борьбы за свободу. И на всем этом пути сопровождает его философская мысль, провозглашающая, что человек должен бороться за свободу. И на всем пути сопровождает его поэзия, воспевающая борьбу человека за свободу. В этой борьбе человек перерастает себя. Спираль истории — в то же время и символическая спираль духовного развития человека. Так видится мне его духовное возмужание, его внутренний рост. Обращаясь к критику Яношу Эрдеи, поэт и мыслитель Имре Мадач писал: «Основная идея моего произведения такова: как только человек отказывается от бога и решает действовать самостоятельно, полагаясь на свои силы, он начинает руководствоваться великими и святыми идеалами человечества». И далее поэт противопоставляет

новый революционный идеал борьбы за человека — имеющему древнейшие корни пессимистическому отношению к человеческой судьбе. Человек — величайшая ценность Земли. Такова концепция Мадача. Она верна и сегодня. Что ни день некоторые философы пытаются внушить нам пессимистические взгляды на существование человека. Конечно, мир еще далек от совершенства. Планету украшают творения Аполлона — звуки музыки и поэзии, многоцветные полотна и чудеса, изваянные из камня... И тут же глаза колют диссонансы: взрывы бомб, решетки тюрем, реки крови, стоны умирающих, иссушенные голодом лица детей, вздохи и жалобы человека, униженного, оскорбленного, морально растоптанного... Тогда у поэта рождаются строки, вроде таких:

*Может, лучше да красивей  
Пелось бы поэту,  
Кабы счастливы и сыты  
Были все на свете.*

Да, я понимаю, поэзия должна нести человеку великий дар: красоту, прежде всего красоту. Ибо красота — великая радость. Искусство обязано приносить людям радость. Но что делать, если наряду с красотой на планете нашей так много человеческой боли? Неужели поэт должен заткнуть уши (пусть на сей раз не воском, как тогда, когда боялся он губительной красоты пения сирен) и бежать, бежать от щемящего сердце крика человеческой души? Служители красоты, разве глухи вы к человеческому страданию? Разве не понятно вам, что и тут искусство должно служить человеку, что оно является его союзником в борьбе за свободу? Немало лет прошло. А гуманистическая книга Мадача звучит злободневно. Революционная борьба придала проблеме человека другое направление. От пассивного отношения к действительности ступил он на путь освободительной борьбы. Волны революции наступают. И поэтому проблема человека — главная проблема нашего бурного времени. Во имя человека пульсирует, вращаясь в космосе по своей орбите, потрясенный земной шар. Не надо бояться. Он очистится, сбросит с себя всю скверну, успокоится и продолжит свой вечный плавный бег. А очиститься ему необходимо. Этого требует природа. Мы заинтересованы, чтобы человек — в своей повседневной борьбе за свободу, счастье и хлеб — осилил и победил трагическую судьбу, поднялся на новую ступень своей

многовековой истории. Иначе говоря, чтобы завтра пробудился уже не вчерашний, а новый человек. Мы живем сегодня в ритмах гуманистической борьбы за человека. Мы боремся за совершенствование человеческой личности. Быть может, эта борьба сложнее, чем казалось вначале. Может быть, освобождение человека — процесс куда более продолжительный и трудный. Но все равно процесс этот вечен. Он идет и сейчас. Ускоренно, революционными скачками. И поэт живет романтической тоской по новому человеку. Позвольте ему жить этим. Не отнимайте у него веры в победу, ибо вместе с верой вы отняли бы у него смысл жизни. Дайте ему верить, что «человек — это процесс его действий» (Грамши). И позвольте поэзии помогать этому процессу, ускорять его. Красота должна стать колыбелью рождающегося человека будущего...

Литература призвана проникать в сферу духовной деятельности человека, в душу его, в его психологию, в его внутренний мир. Искусство средствами эстетики должно воспитывать, облагораживать, улучшать человека. Пусть оно учит человека чувствовать красоту, радость, счастье. Благородный человек нужен везде и всегда. Он может указать верный путь для созидания великого будущего. Разумеется, если воспитывать человека только для уничтожения другого человека, если он нужен лишь для уничтожения творческих ценностей, созданных другими людьми, тогда гуманистическое воспитание не имеет смысла. Достойный человек не посмеет уничтожать человеческое творчество. И лишь когда опасность гибели станет угрожать ему, он сумеет защитить себя: грудью встанет на защиту человеческих ценностей. И тут возникает вопрос: какого же человека должны мы воспитывать? От решения этого вопроса зависит и действенность искусства... Воспитанию чувств человека способствует красота — великая и подлинная. Да не заподозрят меня в эстетстве! Эстетство, эстетизм — это когда целью искусства является служение самому себе. Источник красоты значительно глубже, из него можно почерпнуть куда больше, чем черпают эстетсы. Красоту необходимо осмыслить, тогда она делается реальностью. Совершенствуются человек и жизнь, совершенствуются политические, экономические и культурные формы существования человека. Все сложнее

становится и эстетическая задача. Иначе нельзя! Наступает время совершенствования форм искусства. Надо искать человека, который станет моделью будущего портрета. Таковую модель — полнокровного, живого, мудрого человека — ищет и литература. И не только проза. Поэзия тоже. Разве не нужна психологическая поэзия? Искусство — литература, музыка, живопись — должно действовать самостоятельнее. Иначе искусство превращается в дешевую иллюстрацию жизни. Начинается девальвация и инфляция искусства. Революция — это общечеловеческая деятельность. Литература революции может и должна быть общечеловеческой. Проблемы освобождения и духовного роста человека, проблемы, стоящие перед революционной литературой, много шире и сложнее тех вопросов, которые ставила и решала традиционная литература. Значит, искусство (пожалуй, правильнее — творчество) становится великой ценностью. В противном случае нет смысла им заниматься.. Или мы признаем, что красота имеет воспитательное значение, или творчество лишено смысла. Да, это заколдованный круг. Зачем писать произведения, которые завтра погибнут? Есть ли смысл в этом? Если завтра они превратятся в макулатуру, то и сегодня, вероятно, их воздействие мизерно. И возникает еще один вопрос: действительно ли может красота выполнять свою воспитательную функцию так, как мы того хотим? Не преувеличиваем ли мы ее роли, ее значения?.. Зачем я пишу? Никогда так остро не вставал передо мною этот вопрос, никогда он так страшно не мучил меня, как теперь. Странно, столько уже написано, а раньше таких вопросов не задавал себе. А нынче вдруг — ответ: зачем пишешь?.. Действует ли твое слово так, как ты хотел бы того? Проклятый вопрос!.. Не сделать ли некую творческую паузу — постоять немного на небольшом железнодорожном разъезде и подумать, на какую большую станцию ты собираешься прибыть...

Весьма сложен вопрос морали. Пока что в революционном строительстве нового мира мы пользуемся старым материалом. Новый мир стихийно разрушает старье, поворачивает человека на другую дорогу — к новому. А новые этические и моральные нормы? Разумеется, их, как и традиции, должна формировать практика строительства жизни. И тут же должны воз-



никать философские обобщения, помогающие воспитанию человека. Именно так всегда протекал моральный рост человека — в борьбе с наследием прошлого... Человек совершенствуется, очищаясь духовно. Так сформировались постоянные его размышления о собственной деятельности, о своих повседневных поступках. Так возникло покаяние за дурные дела, гордость за добрые. Такой ежедневный анализ помогает моральному очищению, делает человека более совершенным. Разве что-нибудь может заменить для него это врожденное и абсолютно необходимое желание самоочищения? Кто покажет ему пример, кто станет критерием в его размышлениях о своей, пусть скромной, человеческой деятельности? Ты считаешь, что эти функции должно выполнять прекрасное. Да, искусство, как говорил Лев Толстой, это высшее проявление человеческого могущества. С его помощью человек может победить в себе чувство рабского страха. Красота, прекрасное — самое лучшее средство, способствующее духовному совершенствованию человека, его росту, воспитанию, самодисциплине — назовем это как угодно... И красота не только как форма, но и как самая суть. Давно замечено, что естество человека требует прекрасного. Красота производит большое впечатление на человека, ищущего истину не как сухую идею, а как сформированное искусством совершенство. И нельзя идти против природы человека.

...Когда солнце бьет прямо в глаза, человек имеет право и зажмуриться. Он чувствует его тепло, и ему этого достаточно. Он счастлив. Но солнце светит не все время. Приходит час заката. И тогда человек должен открыть глаза и увидеть, какая черная ночь зияет перед ним. И страдание, точно демон, сложивший крылья, стынет на гранитной скале и подстерегает человека. Страшно?.. Ничего, минует черная ночь, и снова взойдет солнце...

...Не создается ли впечатление, что река истории течет слишком медленно? Сознание человека и его чувства иногда перерастают современность. Но есть объективные условия и объективные законы времени, которые тормозят энергию человека. И он не может победить время. Соппротивление истории. История объективна и почти независима от воли субъекта, от наших добрых

намерений. Исторический процесс медлителен и неповоротлив. История — инертная особа. Иногда человеку кажется, что ему следовало бы делать совсем не то, чем занят он в настоящее время. «Я мог бы производить много больше и много лучше, нежели создаю сегодня,— думает он.— И все, что делается сегодня, делается по принуждению...» Увы, иногда, понуждаемый историей, он должен кое-что делать и против своей воли, против своего желания.

Он может изучать и полнее познавать законы истории, лучше и совершеннее организовывать собственную скромную жизнь. История — огромная, сложная, нескладная машина...

Может ли человек быть совершенно счастлив? Цивилизация, материальный прогресс облегчают его быт, его повседневную жизнь. Таково их значение. Противиться этому процессу неразумно, это было бы ретроградством. Нельзя идти вспять. Человек должен улучшать условия своего существования. В борьбе за материальные блага, за прогресс буден человек, конечно, устает. Но это не имеет значения. Так и должно быть: Манна не сыплется с небес, жареные перепела не залетают в рот... Но допустим, выстроил себе человек дом, создал уютный домашний очаг, ездит на собственной легковой машине,— разве он удовлетворен? Мещанин — да. Человек — еще нет. Человеку свойственно постоянное беспокойство. Оно — его вечный спутник. Чувство счастья всегда омрачается хоть каплей горькой неудовлетворенности. Но так и должно быть, иначе человек успокоился бы и ни к чему больше не стремился. Это свое свойство люди заметили еще в седой древности. Даны были Адаму все райские блага, рассказывает миф, но он захотел еще отведать и плодов от запретного древа... Человек не может быть абсолютно удовлетворен и счастлив. У него еще есть сложная духовная жизнь. А дух человека — это его беспокойство. Поэтическое творчество должно изображать внутренний мир человека во всей его полноте. Но стоит ему встать на сторону довольного собою и своей повседневностью обывателя, как оно сразу превратится в апологета мещанства. Не будем же чесать пятки мещанину. Пусть человек трудится. Пусть ему будет нелегко. Труд делает его совершеннее...

...Наивная старина! Как красива она, как интересна... И философия и поэзия родились тогда, когда человек ушел от зверя, когда он начал думать. Он не удовлетворился тем знанием, что лежало на поверхности видимого мира. Реальные, осязаемые предметы облек он ореолом сказки, все окружающее покрыл своеобразной дымкой легенды. Это характерно для человека. Он желает видеть мир более прекрасным, чем есть он в действительности, идеализирует и поэтизирует его. Эта атмосфера сказки — творение поэтической души человека. Все бытие свое окутал он таинственной поэтической вуалью, чтобы жизнь стала интереснее. Может, отсюда — чудесный фольклор, легенды, предания, песни и, конечно, сказки. О сказках нельзя забывать. Сказка — ложь, обман. Но человеку как раз и хочется немного обмануть себя, сделать свое существование более романтичным. Жизнь, расцвеченная романтикой, сразу становится легче. И человек стремится к этой святой лжи. «Гомер,— писал Аристотель,— учит всех, как надо создавать ложь». Сказка — мечта, тоска по красоте. Поэзия — из той же сферы фантазии, из области сказки. Народная поэзия по-детски наивна (именно в этом возрасте творило ее человечество!). Фольклор пронизан мудростью, философией, у него своя этика, своя мораль. Таковы все сказки, песни, предания, мифы, прибаутки... Фольклор не принимает натуральной копии вещей. Он создает поэтические аллегории, символы (предметов, разумеется). В нем постоянно идет процесс стилизации. Этот процесс очень характерен и для нашего, литовского фольклора. Все эти деревянные чудеса на перекрестках дорог, созданные золотыми руками безвестных мастеров, все эти резные скульптуры, эти тюльпаны, руты, лилии, птицы на тканях — плод оригинальной фантазии. Никто не знает и не скоро еще узнает, как появился наш мир — такой, каким видим мы его, такой, в котором мы живем. Мы наблюдаем совершенствование материи и можем познать лишь изменчивость ее. Все остальное способна объяснить только сказка, поэтическая сказка.

Мы живем в такое время, когда рождается новая, космическая эра, но старый век еще не похоронен. Нам дано в удел то мгновение, где словно соприкасаются две эпохи. Одна тянет нас назад, другая зовет в будущее. А мы втиснуты меж двумя стенами. Наша психика

сформировалась в прошлом, но она уже оплодотворена началами новой эры. И что же? Соблюдает ли душа наша неподвижность равновесия? Нет! Она клонится к будущему. Удовлетворит ли человека точка зрения рационализма? Уверены ли мы, что человек ныне, человек, которому наука дает зрелость, действительно созрел? Разве не нужна ему поэтическая ложь? Разве не жаждет он окутать вуалью поэзии тот мир, который уже научился познавать? Если человек откажется от всего этого, исчезнут его художественное восприятие, его творческая фантазия. Да, детство человечества позади. Человек многое узнал, многому научился. И, конечно, стал совершеннее его разум. Но наука не помогает человеку создавать природу, она лишь дает ему возможность отгадывать ее тайны, открывать законы. И только. Значит, сама природа — совершенное произведение. Человек все время отгадывает ее загадки, — следовательно, есть у нее еще такие тайны, которых он не открыл, откроет позже или вообще никогда не познает их (и природа, быть может, имеет границы, за которыми все кончается?..). Тут-то и пробуждается фантазия человека.

...Один поэт пользуется деталями зримых, осязаемых, конкретных вещей, сводит их в целое, создает из них осмысленное и понятное явление. Другой поступает как раз наоборот: он не чувствует единства, оно ему и не нужно: он нарочно разбивает целое на множество осколков и складывает из них мозаику, не считаясь ни с какими законами математики или архитектуры... По-разному видят два поэта одну и ту же вазу. Один рассматривает все ее грани, обратит внимание на ее орнаментальный рисунок, воспримет ее как конгломерат множества деталей. Другой, разбив вазу, станет восхищаться сверкающими на солнце осколками. А собрав черепки и кое-как склеив их, он сможет получить пусть не самую вазу, но некое ее подобие, которое чем-то напоминает о былой вазе...

...Не смакуйте концепций обыденности, многоуважаемый! Гётевский «Фауст» на целую голову перерос повседневность. Реализм призван изображать жизнь: Жизнь, но не натуралистическую повседневность. Разве трагедия Анны Карениной — обыденное явление?.. Мы

должны смотреть на жизнь, обобщая ее. Тогда осыплются бытовые детали, выявляется типическое. Поэзии больше всего противопоказана серая краска. Конечно, иметь ее на своей палитре необходимо, но использовать ее на поэтическом полотне надо умеючи. Если кладешь серую, подмешивай еще какую-нибудь другую. Хоть самую малость. Только не пользуйся одной серой. Скучновато получится. Когда же пишешь только серой краской, несколько увеличь, подчеркни, выяви яснее сам объект. Серый мазок требует конденсированного, интенсивного штриха. В «Улиссе» Джойс поставил перед собой задачу изобразить монотонность вечности, вечно длящуюся повседневность (жизнь!). Такова философия вещи. А материальная структура ее? Она очень сложна. Наполнена особой психологией. Особым психологическим материалом. Кафка тоже в основном использует серую краску, подмешивая к ней немножко синей или голубой. Синева прикрывает серость изображаемой им повседневности нейлоном бледно-голубого прозрачного тумана. И лишь за этим голубым нейлоном — трагическая серая обыденность — человеческое несчастье. Однако Кафка не только набрасывает вуаль на повседневность. Он валит в общую кучу, смешивает реальность и сказочную фантастику. И героя своего ставит он в особую фантастическую ситуацию. Исчезают границы между реальностью и сказкой. Реальный быт сливается с романтической выдумкой. Гибрид реальности и сказки... С малых лет увлекаемся мы приключенческой литературой. Она побуждает юношу на великие романтические подвиги. Зло в ней всегда терпит поражение. Добро — торжествует. И вступающий в жизнь человек решает бороться за добро. Однако, едва успевает он вырасти, мы начинаем доказывать ему, что победить зло не так-то легко, что добро часто терпит поражения. Сразу же торопимся подсунуть ему «кусочек реальной действительности»: погляди, мол, каков на самом деле этот мир, каковы на самом деле люди и жизнь... Это так называемый «подлинный реализм» (подлинным считается тот реализм, где присутствует немалая доза критического перца и других острых специй). И этот «реализм» прививает скепсис, неверие, нигилизм. «Не верь этому миру,— подсказывает он.— Тогда ты станешь мудрым. Если сориентируешься — сумеешь отличить добро от зла; если, не приведи господь, восстанешь на

борьбу за добро и поднимаешься против зла, тебя нарекут мечтателем, романтиком, донкихотом...» Как же понять: внушают молодому человеку одно, воздвигают перед ним сверкающий, достойный подражания идеал, а когда юноша возмужает, созреет, мы растапываем этот идеал, осмеиваем его и советуем «трезво, реалистически смотреть на жизнь»?.. Есть ли в этом логика? Не требуются ли коррективы? Что случилось бы, если бы мы избрали иной подход? Ребенку — сказка, приключение, событие. Юноше — продолжение сказки. Сказки, созданной на материале реальной жизни. Романтическая, особая, трепетная литература. А что случится, если продлим мы это романтическое путешествие? Поведем в мир фантазии и взрослого человека? Если обрядим сложную, драматическую жизнь (изображаемую с самыми подлинными реалиями действительности и психологии), если обрядим мы эту жизнь в романтическую вуаль? Если придадим повседневности музыкальное звучание? Если предложим ей более поэтическую проекцию? Если это будет поэтическая повседневность? Человек с малых лет и до глубокой старости должен жить в поэтической атмосфере сказки. Переходя постепенно от несложной волшебной сказки ко все более сложной сказке жизни. К великой сказке реальности. К реалистической сказке. Если мы действительно любим человека (если мы не псевдогуманисты!) и нас по-настоящему волнует его судьба, мы не смеем издеваться над ним, принижать его, умалять. Если мы его действительно любим, мы должны создавать для него содержательную красоту. «Трезвый» взгляд на жизнь — это цинизм, издевательство, презрение. Это звериная, индивидуалистическая ненависть к человеку. Это аристократические пережитки. Не обязательно тыкать перстом во все мелочи и убеждать человека: вот, мол, как все в мире низко, мизерно, подло, серо, банально и дешево... Конечно, в таком мире человек будет чувствовать себя угнетенным, придавленным. И волей-неволей ему придется искать спасение и утешение в религии. Душа человека — точно цветок лотоса: даже растоптанный, получив живительную каплю влаги, вновь расправляет он свои белые лепестки и, подобно лебедю, купается в лунном серебре. Душа человека — такой цветок. Поэтому мы должны насыщать ее прекрасным. Красота — витамин духовного роста человека. Покажем

ему поэтический мир, где для него создана возможность подняться над собой. То есть над повседневностью. Когда-то, кажется, именно таковой и была цель искусства. Но в те времена, во времена детства человечества, цвела поэзия. Поэзия, дочь сказки, окутывала некогда наивную, как у ребенка, гармоническую душу человека. И человек был частью природы, подчинялся природе, был подвластен ей. Теперь он начал приказывать природе, и природа покорила ему. Но втайне она отомстила человеку: разрушилась его душевная гармония. Он стал более разумным, но и более жестоким. Замутилась душа его. ...Постепенно поэзия сдавала свои позиции. Из жизни вытесняла ее более простая и практичная проза. Однако проза могла нести в себе поэзию. Бывала и такая. Увы, позже все больше появлялось прозы иного рода. Она уменьшала человека до пылинки. Как же не понять смятения человеческой души, ее желания освободиться от бытовой серости? В прошлом, быть может, размеры человека, его сила и разум были преувеличены, однако теперь он был слишком умален, принижен. Не пора ли пересмотреть в искусстве человеческие пропорции? Самое лучшее искусство всегда синтетично. Мне нравится крылатый синтез романтической приподнятости и рельефного реалистического образа. Полета! Больше полета! К прекрасному... Некогда я очень любил Эдгара По, водившего меня по замысловатым лабиринтам сказки. Сложны для понимания были видения М. К. Чюрлёниса. Сложны, но прекрасны и светлы. Должно же быть, наконец, человеку хоть где-то светло, красиво и свободно. Почему он должен видеть солнце черным? Смотрите: на небе действительно горят звезды! Звезды действительно существуют. И днем действительно светит солнце. И вовсе не черное. И человек действительно существует. И действительно существует мир. Не мешайте нам работать, пессимисты: вы перепутали все на свете, все поставили с ног на голову и выбросили на свалку. В мире вещей действительно есть беспорядок и хаос.

Разрешите же нам навести порядок в этом хаосе. Мы хотим вернуть каждой вещи ее прежнее место. Нужно больше порядка. (Там, где нет порядка, не может быть гармонии. И если мы стремимся воспитать гармоническую личность, нам, в первую очередь, необходимо навести порядок в неразберихе и хаосе человеческой

души.) И поэтому не мешайте нам работать. Нами руководят гуманистические принципы созидания нового человека...

«...Я знаю,— писал Александр Блок,— что в лирике есть опасность тления, и гоню ее. Я быю сам себя... Бичуя себя за лирические яды, которые и мне грозят разложением, я стараюсь предупреждать и других». И далее: «...из болота в жизнь, из лирики — к трагедии. Иначе — ржавчина болот и лирики переест стройные колонны и мрамор жизни и трагедии, зальет ржавой волной их огни». Поэт, видимо, более всего боялся так называемой «чувствительной лирики». Мещанского болота. В те годы некоторые мещане активизировали борьбу за традиционный «лиризм». И вот большой поэт, отдавший в свое время определенную дань подобной лирике, боролся изо всех сил, желая вырваться из этой трясины. Ибо в ней ржа пессимизма и смрад тления. Такая лирика никуда больше и не может увести, кроме как в пессимизм. Гипертрофированная чувствительность активно откликается на всякую мелочь, на любую обиду. А мир довольно груб, обид немало, поэтому лирик становится чувствителен, словно истеричка. Каждый булавочный укол трогает его до слез. По сути дела, его обиды — обычнейшее мещанское раздражение по поводу каждой рядовой житейской неурядицы. Или, используя терминологию самих мещан, из-за каждого «удара, нанесенного жизнью». Побережем слезы для реакции на более серьезные беды, их в жизни человечества достаточно. Надо воспитывать характер, вырабатывать иммунитет. Не следует так бояться комариных укусов. Подставим чело молниям. Великие поэты не замечали грязных лужиц.

Александр Блок, избегая гнилых болот, искал Прекрасную даму, Незнакомку. Его чуткий слух волновали подземные гулы и музыка истории. Его прекрасная Незнакомка вскоре приобрела конкретность. Это была Революция. В «Снежной маске» мир был хрупок и сыпуч, подобен снегу вьюжного февраля. Сухой, сыпучий снег. Героическая поэма «Двенадцать» по акустическому и оптическому принципу перекликается со «Снежной маской». Там тоже гремит мелодия разбушевавшейся пурги. И тот же хрупкий рисунок. Все звенит, сыплется; крошится (как ледяшки под ногами), мельтешит,



точно тени в завихрениях снега. И главное, что все тоже слеплено из мельчайших осколков, кусочков шуги. Хаотическая мозаика из снега и ледяных кристалликов. Нет уже монолита жизни. Свирепствует снежный буря. Жизнь раскрошилась. И перед глазами поэта, как в калейдоскопе, мелькают узоры из осколков жизни. И мир для него полон музыки. Струнами скрипки поет ветер. Сталью звенят белые вихри. Сталью косы. Косы смерти. Смерть вышла косить гниющие, умирающие былинки. Белый саван ее окровавлен зарницами пожаров. Кровью земли... Вьюга стальной косой выкосит гниль жизни, сгребет ее в могилу... Кончится снежная затьма, взойдет солнце, пахнет живительной весной, и зазеленеют ростки новой жизни... Стальные звонки вьюжной косыбы закономерны. Смерть постоянно очищает жизнь... Поэт внимательно вслушивается в ее стальную мелодию. И слышит в ней аккорды революционной симфонии. В этом гимне спасение большого поэта из трясины «сентиментальной лирики». Здесь его трагическая судьба, его мука, его катарсис... Что есть красота? Преисполненная ли спокойствия, гармонии, целостности, величия,— так называемая аполлонова красота? Или стихийная, неосознанная, эмоциональная, дисгармоничная красота расколотого мира и непостоянной разбитой формы,— так называемая дионисова? Красота, противопоставленная устойчивости, эпическому спокойствию, вечной гармонии аполлоновых форм? Нервный лирический хаос? Мозаика из осколков? Аполлонов принцип рационалистичен. Дионисов — поэтичен и сказочен. Блок метался меж этими полюсами. От «Снежной маски» он пришел к мраморному циклу итальянских стихов. Однако вновь вернулся к аккордам снежной пурги. К дикому посвисту и солнечным бликам, сверкающим на острие стальной косы... Душа поэта преисполнена романтическим беспокойством. История звучит для него словно музыкальное произведение, словно симфония. То слабнут ее звуки, приглушаются до пиано и пианиссимо. То вновь гремят хаосом медных инструментов, неистовством бури, поднимаются до форте и фортиссимо. И тогда слух поэта обостряется до предела: он улавливает и выделяет каждую отдельную ноту и вместе с тем внимает океану звуков. Все мировое пространство, весь космос наполнены таинственными звуками. И поэтому, как говорил когда-то Поль Верлен,— *de la mu-*

sique avant toute chose. Сначала — музыку созвучий... Весь мир звучит. Надо услышать эти звуки и умело соединить их в единую симфонию...

...Мы называем старых наших народных мастеров примитивистами. А ведь это были очень смелые художники. Они хорошо знали основные законы художественной выразительности. Они разнимали, ломали, деформировали реальные предметы, чтобы добиться своеобразного музыкального созвучия линий, своеобразного внешнего впечатления. Существующая в природе прямая линия, правильная окружность или квадрат, будучи расчлененными и деформированными, приобретают иной музыкальный ритм, иное звучание. Создавая человеческий портрет, народный художник выбирал модель с обычными реальными формами. Он убирал обтекаемость, округлость, которую придавали телу мускулы, искривлял прямые линии и получал копию модели с угловатыми, изломанными формами. У него получалась не сама действительность, не адекватная копия ее. Однако это была та же, хотя и несколько трансформированная, действительность, точнее говоря, параллель действительности, создающая иллюзию действительности. Ломаная линия отчетливо выявляла страдание, боль, озабоченность человека, сильнее подчеркивала их. Трагическое искусство требует такой гиперболизации. Вероятно, старые мастера понимали то, из-за чего еще сегодня иногда ломают копыя. Как изящно вырезаны, как грациозно посажены на коньки крыш деревянные петушки! Кажется, вот-вот полетит резной петушок, замашет крыльями, закукарекает. А стилизованные тюльпаны, лилии, руты на полотнах, вытканых руками наших матерей? Как мелодичны все эти полотенца, юбки, передники!.. На натянутых струнах-нитях ткацкого станка рождались эти расшитые сказочными метафорами песни-ткани. Простые люди понимали, что скопированная природа становится неживой. Природа в руках бездарного художника умирает. («Природа умолкает, когда ее пытаются», — говорил Гёте.) Если мы хотим в произведении искусства сохранить природу живой, ее обязательно следует изобразить несколько ярче, нежели есть она на самом деле, ибо копия ослабляет впечатление от живой природы и обязательно стирает ее краски. Подчеркнуть, сделать более яркой — значит одухо-

творить, оживить природу, отображенную в искусстве. Своими произведениями художник стремится вызвать у зрителя ощущение действительности. Но не статическое (фотографическое) ощущение. Зритель, читатель обычно желают почувствовать живую действительность. А впечатление истинности явлений художник создает, синтезируя, особым образом конструируя действительность. Античная греческая скульптура оставила нам совершеннейший портрет человека. Но разве египтяне, деформировавшие облик вещей, не выразили своей истории, своего видения действительности? Конечно, можно спорить, каким образом лучше, полнее выражается действительность. Но спорить можно и о том, кто эту действительность изобразил *интереснее*. Должен ли существовать единый способ изображения жизни для всех народов, всех эпох, всех людей? Не следует ли учитывать различные традиции и разный темперамент творцов? Разве мир не интереснее, когда он столь разнообразен? Разве наш движущийся, пестрый, многоцветный мир стал бы более интересным, если бы его унифицировали, свели к одному музыкальному ритму, заковали в рамки единой анкетной формы художественного выражения? Мир, обладающий бесконечным множеством творческих характеристик и способный обрести еще больше? Ритмическая монотонность рождается аскетическим догматизмом. Художественные искания рождают бесконечное ренессансное разнообразие. Искусство больше выигрывает, культивируя такое разнообразие. И искусство, и человек. Итак, за разнообразие...

...Поэт не может понять или изобразить (как хотите) этот мир, руководствуясь шаблонными нормами мышления. Настоящий поэт должен быть творцом. Творцом своего мира. Не иллюстратором и пропагандистом общих идей времени, а создателем собственных идей, открывателем собственных истин. (Иногда о поэте пишут довольно комично: отобразил... вскрыл... показал... Ну а что он создал? Что сказал свое? Каков его личный вклад в сокровищницу Истории? Пишут так, словно поэт лишь пассивный наблюдатель истории, а не активный ее деятель, ее творец...) Поэт должен создать свой мир. Это не значит — бежать от реальной действительности. Наоборот. Надо стоять вплотную к действи-

тельности. Только уметь видеть и выделять в ней то, чего другие не видят. У Блока был абсолютный поэтический слух. Он слышал подземные гулы еще тогда, когда обычный слух их не воспринимал. У него совсем иное понимание истории, чем у любого публициста, ученого, естествоиспытателя. История для него звучит в своих музыкальных ритмах. У них особый музыкальный ключ, которым поэт может растворить железные ворота истории. (Необыкновенно музыкален и Эдгар По. Его «Колокол», «Ворон», «Улялюм» несут в себе четкие музыкальные ритмы, определенную тональность. Начало особому музыкальному ритму, как мне кажется, было положено поэзией Уолта Уитмена. Это выход из банальной ритмической монотонии, из журчания ручейков и речушек в море звуков. Морем же владеют иные ритмические законы.) Другие поэты по-своему воспринимают движение человеческой истории. Чувствовать ее музыкальный ритм не обязательно. Но каждый поэт должен воспринимать историю индивидуально, конструировать из материала истории собственный мир. Если он проживает в мире, созданном другими, то он незначительный бедняк — квартирант, захребетник. И только. Сильный, большой поэт не боится ворочать камни, не боится нажить кровавые мозоли — он строит свое здание, свое творение, свой мир. Пусть не просится он жить в чужой мир на правах постояльца. Пусть другие приходят к нему, в его мир, — радоваться, любоваться и страдать. И чем величественнее будет здание, возведенное руками поэта, тем прекраснее построенный им мир, тем он больший поэт, тем крупнее его личность. С маленькими людишками не считаются. История коварна. Подходит она к тебе вроде добросердечно, предлагает тебе соблазнительную сделку, а затем лепит из тебя то, что захочет. Ты становишься глиной. Поэтому следует с некоторым недоверием относиться к самым заманчивым предложениям истории... Она не признает ритмической монотонности. Она создает разнообразнейшие ритмические конструкции, разнообразнейшие комбинации ритмов. От ритма истории зависит и судьба искусства. Благодаря своей интуиции и своему человеческому опыту художник улавливает эти ритмы. Вздываются и проваливаются волны истории, и на разных этапах этого прилива и отлива рождается литература, отражающая разные интервалы колебаний истории. Иногда ритм

их замедляется, история начинает дремать, даже засыпает. Она, точно человек, отдыхает после тяжких трудов и походов. Человечество погружается в красивые многоцветные сны. В этих грезах видит оно свое озорное детство или величественную, исполненную поисков и битв юность. И одновременно живет мечтами о лучшем будущем. В такое время рождается романтическая поэзия. Романтики изображают этот чудесный сон человечества и его прекраснейшие мечты. Но вот история начинает потягиваться после сна. Сильнее начинает биться ее сердце. Выше вздымается грудь. И внезапно история пробуждается от спячки. Встает с пуховиков. Раздается мощный ритмичный гул ее поступи. Человек перестает вспоминать о седой старине, отказывается от мечтательности. Он приступает к реальным действиям. История становится чрезвычайно активной. Теперь ей нужны трезвый ум, мудрость, разумное восприятие реального мира. Ее активность сопровождается непрерывными взрывами, катастрофами, катаклизмами, войнами. Динамика ее ритмов необычайно возрастает. Поэзия снов и мечтаний не устраивает ее. Этот период требует реалистической поэзии. Требует слов, отвечающих повседневному ритму человеческой деятельности. Но проходит время, история, рвавшаяся вперед семимильными шагами, устает, слабеет и на минутку останавливается. Ей хочется оглянуться, чтобы увидеть и обдумать путь, который остался позади. Снова хочется отдохнуть, помечтать и вздремнуть. Ее перестают привлекать практические дела. Снова жаждет она мечтаний и прекрасных слов. Она хочет обдумать и рассортировать явления минувшего периода, уложить их в сознании. Наступает время более ровных ритмических музыкальных звуков. Возникает новый ритм. История уже приобрела, освоила реалистическое восприятие мира, его у нее уже не отнимешь. Она обрела новый опыт. Но романтизм — это тоже приобретенный опыт. И тогда рождается сплав — прекрасный синтетический сплав реализма и романтизма. Реальная действительность синтеза окутывается поэтическими одеждами сказки, контуры предметов реального мира становятся мягче, утончаются видения искусства. Контуры предметов становятся не столь четкими, менее угловатыми. Не так легко определяются на ощупь. Романтический период истории пишет мягкими, пастельными красками.

Надо уметь уравнивать две стороны — материальную и духовную жизнь человека. Только строгое равновесие помогает вырастить гармоничную личность. Мы же иногда относимся к духовной жизни с опаской, так как она трудно поддается организации. Это не экономика, которую можно направлять с помощью циркуляров и распоряжений. Духовная деятельность нередко приносит сюрпризы. Тут действуют многие факторы. И, главным образом, непропорциональные сдвиги в сознании человека. Сознание — материал потверже металла. Иногда оно отстает, иногда забегает вперед. И нелегкое дело регулировать его. Экономика, как известно, определяет сознание людей, формирует его. Но все это происходит отнюдь не механически, не в строгой последовательности. Мы считаем — улучшилась экономика, должно измениться и мышление, психология людей. А фактически линии материальной жизни и сознания не всегда идут параллельно, словно на графической схеме. Возникают разные варианты, разные комбинации. Случаются и аномалии. Человеку необходимо гарантировать богатую духовную жизнь, ибо иначе вырастим роботов экономики и техники. Поэтому задачи литературы и искусства нельзя сводить к узко понятому служению материальной жизни. Это будет насилие над культурой, и мы не сможем получить нормальные результаты: устойчивые культурные ценности. Мы частенько философствуем, пытаясь понять, почему некоторые произведения искусства заведомо несут печать временности? Говоря проще, почему мы создаем слишком мало «непреходящих ценностей»? Если откровенно — очень уж ничтожные задачи ставим мы перед искусством и литературой, слишком малые требования им предъявляем.

«...На днях я подумал о том, — писал Александр Блок, — что стихи писать мне не нужно, потому что я слишком умею это делать. Надо еще измениться (или — чтобы вокруг изменилось), чтобы вновь получить возможность преодолевать материал». Преодолеть и победить материал... Творчество любит величайшие трудности. Художника влечет только то, что свежо, ново, чего еще нет, но что должно явиться на свет, если, конечно, ты поработаешь, попотеешь, поломаешь себе голову. И совсем неинтересно работать с аморфным материа-

лом, состоящим из разреженных молекул, который не сопротивляется воле творца, растягивается, точно изношенная резина. Художнику интереснее работать с материалом, обладающим высоким коэффициентом сопротивления. Приближается космический век. Коэффициенты сопротивления материала повышаются. В литературе и искусстве тоже берет верх сырье, коэффициент сопротивления которого отвечает требованиям космической техники. Сырье особой молекулярной плотности... Поэтическая обработка материала, свойства которого уже хорошо всем известны, набила мне оскомину. Творчество превращается в механическую версификацию. Осточертели все знакомые формулы, сырье с давно проанализированным химическим составом. Стихосложение становится ремеслом. Нет! Не желаю поддаваться соблазнительной легкости ремесла. Надо искать более сложный материал. Влекут невиданные, не употреблявшиеся еще элементы, свойства которых пока не познаны. Трансурановые элементы. Искусство тоже имеет свою таблицу Менделеева. Не все ее элементы уже найдены, в ней заполнены не все клеточки. И обязанность творца — отыскать атом нового, еще неизвестного вещества. Писатель творит. Он не просто технический исполнитель, этакий инженер, организующий производство, реализующий замыслы изобретателя. Задача у писателя значительно сложнее, чем у такого инженера. Для того чтобы найти, творец должен экспериментировать. Должен ради «единого слова» извести «тысячи тонн словесной руды». Если удастся ему победить материал, тогда рождается нечто новое — прекраснее, совершеннее, величественнее уже бывшего... Так что же? Рискнем? Отчалим с этого мелководья к большим глубинам. Ничего не поделаешь, горемычная ты моя Муза! Конечно, тяжело. Но надо. Неизбежно. Необходимо. Если несчастливое у нас получится плавание — сядем на прибрежную мель и будем покачиваться на спокойной воде, окрашенной закатом в розовый цвет. Нет, лучше уж погрузиться в темные воды глубин!..

...Иногда меня самого озадачивает характер моей лирики: ее темы, тон, звучание... Откуда ее интонация? Откуда в ней эти тоскливые ноты, эта порой всеобъемлющая печаль? К чему все это? К чему эти гиперболы? Ведь нормальный человек смотрит на жизнь значитель-

но проще. Конечно, проще. Но, видимо, поэту все-таки нужно воспринимать этот мир несколько иначе, по-своему, на особицу. Именно так. Это особое восприятие и отличает одного поэта от другого. Особое — это его индивидуальность. Нет, поэт не смеет воспринимать этот мир подобно самодовольному буржуа... Не буднично, а особо...

...Если ты считаешь, что только у тебя сжимается сердце, что только тебе больно, — настоящим поэтом, хорошим поэтом тебе не быть! Не забывай: больно и другим, а тебе — именно потому, что другим. Научись думать только так...

...Одна читательница, по-видимому искренний ценитель поэзии, написала мне однажды письмо и спросила: где та земля, которая так вдохновляет поэта, земля, где рождаются прекрасные стихотворения? Я рассмеялся и отложил письмо. Прошло немало времени, и передо мною — в несколько ином плане — вновь возник этот вопрос. А где же на самом деле, спросил я себя, та земля, на которой рождаются «прекрасные стихи»? Кажется, нет ее. Поэтому «прекрасные стихотворения» и рождаются. Если бы существовала такая земля, не было бы «прекрасной поэзии». Пожалуй, в этом суть взаимоотношений жизни и поэзии.

...Искусство служит эстетическому воспитанию человека. Но это не значит, что оно не несет никакой другой общественной функции. Искусство должно быть таким большим, чтобы в нем незаметно растворялось все, что полезно и потребно человеку. И чтобы человек, сам того не подозревая, не ощущая, усваивал все то, что несет ему это искусство. Человек не принимает искусства, из которого выпирает костяк тенденциозности. Величие настоящего искусства заключается в умении скрыть эту тенденциозность.

...Некоторые образцы нынешней прозы не являются нам искусства совершенной формы. Наоборот, заметен в них регресс сего искусства. Такая проза силится последовательно и логически поведать обо всем, что видит писатель, точно целью ее является лишь тщательное копирование действительности. Проза такого рода упрощенна и груба. Говорят: поэзия — сны человеческого дет-



ства, проза — реальность его зрелости. Поистине художественным можно назвать только такое прозаическое произведение, которое продолжает и развивает поэтическую традицию человечества. Ныне творцу совсем не обязательно излагать свои мысли в стихах. Отнюдь не внешняя форма составляет поэтическую ценность произведения. Важна поэтическая атмосфера и поэтическое решение его. Такое произведение, как «Старик и море», является современным поэтическим шедевром, написанным в прозе. Но чего только не понастряпали, именуя свое варево прозой, каких только поделок не прикрывали именем этого многострадального жанра. Как испорчен такими опусами читательский вкус... А подчас и сориентироваться трудно: где подлинное произведение искусства, а где ничего общего с искусством не имеющее, построенное на повторении избитых мест повествование. Фундамент литературы, спорь не спорь, составляют самые могучие поэтические традиции, от которых никто не посмеет отказаться и сегодня. Мы должны развивать их дальше. И это не консерватизм. Нет. Решение и форма могут быть новыми, современными, впервые созданными. Важна непрерывная внутренняя связь с вечной поэтической традицией. Одно произведение от другого может отличать множество внешних примет. И, тем не менее, если мы отбросим эти отличительные черты, остается основа, которая свойственна всем великим произведениям. Это и есть самое главное...

...Почему бытует мнение, что человек из народа не способен понять утонченных форм искусства? Разумеется, в прошлом, задавленный нищетой, он не имел возможности развивать свой вкус. Не надо сочинять легенд. Великий испанец Гойя говорил: «О народ! Если бы ты знал, на что ты способен!..» Мы воочию видим, на что способен народ, пробужденный к творческому труду. Как меняется его эстетический вкус. Надо чувствовать диалектические сдвиги не только в жизни, но и в душе человека, в его сознании.

...К утверждению оптимизма есть два пути. Один — через оптимистическое восприятие действительности. Это самый легкий и самый простой путь. А второй — через драматические и даже трагические пережи-

вания, через победы и поражения к оптимистическому выводу. Исторический оптимизм. К одному идейному результату два различных, даже противоположных пути. Через драматические и трагические переживания — значит, через боль, через страдания, через печаль, борьбу, сомнения, через все то, что свойственно человеку, что очень человечно, что близко и поэту и всякому другому человеку (*Per aspera ad astra*). Такую поэзию читатель, разумеется, поймет и примет. А критика? Она иногда упускает из виду общественную значимость всего творчества поэта, критикует его отдельное стихотворение, отдельную поэму, отдельный цикл... Забывает индивидуальность поэта, одному ему присущий облик. Что это может дать? Подавляем поэта, его творческие возможности, его поэзию. Кому от этого прок? Только не литературе...

...Произведение надо оценивать не только с точки зрения сегодняшнего дня. Следует видеть, чем обогатило оно культуру, что нового внесло в нее. Если произведение не пополнило сокровищницы культуры, то оно не выполнило своего назначения. Поэтому, начиная разговор о работе писателя, надо пользоваться солидными критериями, надо оценивать каждое новое явление с общих культурных позиций. С довольно высоких позиций...

...Для поэта всего опаснее творческий компромисс. Компромисс укладывает в гроб и самого могучего, самого лучшего творца. Творчество не терпит жонглирования, акробатики. Балансирование на канате противопоказано ему. Будь тем, кто ты есть, в противном случае ты будешь никем.

...Произведения поэта нужны людям до тех пор, пока борется он в своем творчестве за человека. За его будущее, счастье, лучшую и более светлую жизнь, за новые эстетические принципы. Как только поэт перестает сражаться за все это и удаляется с поля битвы, ему больше нечего сказать. Что остается ему? Решать пошленькие вопросы, смешить публику, создавать розовые пейзажики?.. Кому нужны такие банальные фокусы! Конечно, они свидетельствуют о проворстве, ловкости рук, но оставляют всех равнодушными... Творчество

должно быть глубоко осмысленным, целенаправленным, оно должно трогать своим человеческим содержанием. Поэт не имеет права быть внутренне пустым. Его постоянно должны переполнять яркие впечатления, большие чувства. Душа поэта должна трепетать напряженной струной, словно встревоженный, готовый к бегу скакун. Гляньте, как вздрагивает каждый мускул под атласной шерстью рысака, ожидающего бега — полета... Поэзия — это нервы...

...Язык — основное орудие писательского труда. Та почва, на которой произрастают прекрасные плоды — произведения. Но иногда языковеды принимаются, словно пригостишек, учить писателей азам языка. Всем нам вменяется в обязанность пользоваться одной языковой моделью: и писателю, работающему над сельскими темами, и урбанисту, и бытописателю, и литератору, изображающему, скажем, жизнь интеллигенции. Наконец — поэту, прозаику, драматургу... Каковы же эти требования? Словарь (или, точнее, богатство словаря — кто употребит больше слов, тот «побьет рекорд»), синтаксис, понятность фразы. Наконец, требуется еще местный колорит. Конечно, в произведение можно понатолкать довольно много разнообразных диалектных словечек и выражений... Но отлично развивается и наш общелитературный язык. Правда, редкие слова украшают язык, но и здесь необходимы определенный вкус и мера. Язык должен диктоваться самим материалом. Кроме того, не забудем, что язык писателя — это его чисто индивидуальное, субъективное отличие. Какой же — самый лучший? Наилучший, пожалуй, тот, который помогает писателю выражать его мысли полнее, талантливее и непохоже на других. Если он пользуется языком, как свинцовым прутом, выгибает из него узоры, образы, — значит, ничего больше ему и не нужно. Язык писателя — глубокая тайна: с его помощью колдует и околдовывает он читателя. (Писатель — чародей. Язык — его волшебство.) Все мы пишем на родном языке. И каждый из нас пишет на своем, несколько отличном от языка других писателей, родном языке. В этом и заключается прелесть литературы, ее разнообразие. И никто не имеет права унифицировать язык писателей. Требовать, чтобы обряжали они свои мысли в общую для всех форму. И никто не вправе при-

сваивать себе монополию — мол, он лучше всех познал язык. Писатель не какой-нибудь нерадивый школяр, чью тетрадь следовало бы править красным карандашом. Теоретические вопросы языка мы оставляем языковедам. Хотя каждому писателю было бы полезно в этом разбираться. Но повсюду не поспеешь, жизнь и так очень коротка. Писатель должен учиться языку непосредственно у своего читателя: подслушать у него и снова вернуть ему, разумеется, одновременно обучая его образно мыслить, возвращая ему язык яркий, выразительный. Тут должен осуществляться принцип: взял из жизни — и верни ей. Мне кажется, основой нашего литовского языка и сегодня является крестьянский язык. Деревня, как менее подверженная всяким модным веяниям и переменам единица, консервирует язык и дольше сохраняет его образным, хлестким, поэтичным, нетронутым, не зараженным жаргоном. Язык, как и прекрасные национальные традиции, будет существовать долгие века. Как народная мелодия, народный танец, народный орнамент... И нечего тут копыя ломать. Таким мы его получили — таким оставим сыновьям. Словарь горожан, может, и богаче (больше слов), но сколько в нем иноязычных речений, как рационален он, беден образностью! Однако можно поспорить и с теми, кто защищает косность, неподвижность языка, кто стремится не допустить в его состав новых слов. Мы знаем, что претерпевают изменения, развиваются и наши пляски, и наши песни, и наша музыка... Меняются орнаменты на изделиях резчиков и ткачих наших. Не остается неизменным и словарный состав языка, в отдельные исторические моменты он весьма подвижен. Язык идет в ногу с хозяйственной, экономической, технической, культурной жизнью народа. Следовательно, не надо поддерживать косность, но нельзя и бросаться очертя голову в другую крайность. Прежде всего нашим инструментом должен быть родной язык, богатый и образный родной язык, звучный, сочный и вместе с тем не чужающийся нового, динамичный, чутко откликающийся на стиль современной жизни. Его надо украшать, обогащать его словарь. Но делать все это сугубо внимательно, осторожно, не перегибая в ту или другую сторону. Наш язык — это язык трудящегося человека. И он должен отвечать запросам труда. Кроме того — нашего космического века.

...Жизнь всегда конкретна. Поэтому благородные, романтические мечтатели могут показаться чудаками, донкихотами, подданными царства снов. А жизнь, мол, идет своим чередом. И не следует, дескать, ей мешать. И не слишком ли странны те, кто показывает свое недовольство, испытывает недоверие к действительности, предлагает усовершенствовать ее? И усовершенствовать не по образцу вчерашнего, а по замыслам завтрашнего дня? Это мечтатели, романтики, реформаторы. Жаль, но над такими людьми чаще всего потешаются, обижают их, а то и камнями побивают... Их, романтиков, хлебом не корми — дай претерпеть каменный град... Ежели у тебя нет желания угодить в категорию подобных людей, постарайся оставаться «нормальным человеком». Сумей приспособиться, чтобы получить от сегодняшней жизни и сегодняшнего мира все то лучшее, что могут они дать тебе. И не требуй от них того, чего они пока еще не имеют и потому не могут дать. Ибо, в противном случае, попадешь в неловкое положение пресловутого рыцаря печального образа. Правда, гарантировать, что, существуя без конфликтов с современностью, ты не превратишься в мещанина, — не могу. Такое может случиться: спокойствие и удовлетворение достигнутым ведут к ожирению сердца. Вот так. Если бы преобразовывать и совершенствовать жизнь было легко, люди меняли бы условия существования без больших трудов. Грандиозные трудности изменений и героика борьбы породили в человеческой среде две эти крайности. Противоречивы интересы потребителей и мечтателей. Так было от века... Прогресс не так стремителен, как хотелось бы. Поэтому потуги ускорить его шествие нереальны (и смешны!)... Не напоминают ли они те благие, но зачастую нежизненные пожелания, над которыми с искренней добросердечностью посмеивался некий Санчо Панса.

Франц Кафка назвал процесс писания своеобразной «формой молитвы» («Дневники»). Если есть вера, должна быть и молитва. У тебя есть идея. У тебя есть идеал. Идеал этот для тебя священен. Твое общение с ним не терпит простых, будничных слов. Это не повседневный разговор. Это экстаз. Да, экстаз, ибо иначе зачем бы сражался ты за свой идеал? Следовательно, ты не можешь не согласиться, что процесс писания является для

тебя особым духовным общением со своим таинственным невидимым, но излучающим лучи света идеалом. Встает лишь вопрос: «Како веруеши?» Какому богу молишься? Кто этот бог — Жизнь или Смерть? Это главный вопрос. «Писание,— говорит Кафка,— это в полном смысле слова — заклинание духов». Творчество — постоянная борьба художника с демоном греха. Сфера его деятельности — поиски истины. По Кафке, если художник хочет заставить читателя задуматься, его литературное произведение должно напоминать последний крик погибающего. Если писатель хочет спасти человека, он обязан найти и выкрикнуть честнейшие, искреннейшие, произносимые только перед смертью слова правды. «Книга должна быть топором,— записывал Кафка,— пригодным для того, чтобы вырубить море льда, которое застыло внутри нас...» Печальные слова... И Кафка и другие обреченно и безнадежно настроенные художники смотрят на творчество довольно анархично. Классикам творческие усилия человечества казались трудом архитектора по строительству монументального, величественного, гармоничного храма. Ныне на Западе, да порой и наши доморожденные умники, представляют себе творчество бурным речным потоком. Оно, мол, неорганизовано, стихийно, хаотично, оно не зависит от воли творца и не нуждается ни в каком конструировании, основанном на принципах разума. Это бешеный поток, полный перекатов, мелей и водоворотов, то летящий, то замедляющий свое течение. И по нему, словно цепочки плотов и полузатопленные бревна, плывут обрывки ассоциаций и реминисценций, отдельные мысли и переживания, фрагменты разбитой человеческой души, обломки величественной статуи человека. В одну кучу смешались здесь навоз и золото, алмазы искренних слез и отбросы... И творцу уже не требуется четкий отбор. Если писатель захочет придать организованное, конструктивное движение этой мутной, хаотической реке, этому стихийному потоку, он уже превращается в «рационалиста». Человеком, видите ли, управляет механизм подсознания, инстинкты, половое влечение (либидо Фрейда). Демиург человека — эгоизм. Человек слаб. Человек бессилен... Подобный хаос воцаряется и в литературной форме. Долой устарелые классические каноны! — провозглашают любители новаций. Организованная фабула надоела! Надоела ком-

позиция, последовательно рассматривающая явления жизни, надоели архитектоника и сюжет. Сюда все проникает, просачивается из лежащего по ту сторону гор Сознания озера Души — спокойных водных пространств, заросших водорослями. Там квакают лягушки, кишат каракатицы и другие твари, — все тянется на поверхность, рвется наружу — никакой стабильной вещной формы. Все неустойчиво. В природе чаще всего царствует асимметрия, бесформенность. Найди-ка два одинаковых камня! Ныне искусство взяло на вооружение это отсутствие определенной формы. Да, вместо классической архитектурной симметрии здесь во главу угла поставлена асимметрия. Поэт был связан каноном стихотворения. Чтобы освободиться от него, он осваивает непринужденную импровизационную манеру, выбирает свободный метр. Поэзия его течет широким, довольно сумбурным потоком между двумя скалами — Сердцем и Разумом. Распадается графический рисунок стихотворения. На осколки рассыпаются строфы. Теперь ритмы каждой строфе — иногда даже каждой строке — диктуют мысль и настроение поэта. Рифмы теряют свое организующее значение и ценность звонкого благородного металла. Граница, разделявшая поэзию и прозу, исчезает. Поэзия теряет музыкальное звучание. Рождаются заумный гибрид поэзии и прозы. («Et moi aussi je sui reïntre»<sup>1</sup>, — заявлял Гийом Аполлинер). Поэтические алмазы сметены в одну кучу с ржавым философским металлоломом, крохами личной исповеди, обломками публицистического бетона... («В некрасивом — прекрасное!» — бросил когда-то романтик Виктор Гюго. И сейчас происходит нечто подобное — некое превращение, перегруппировка былых ценностей, экспериментальное производство новых вещей. Коренным образом изменяются мерил красоты.) Согласен, ничто не может стоять на месте. Что было бы, если бы жизнь однажды остановилась? Все должно течь и постоянно изменяться. Но куда течь? К смерти? Или к жизни? На что меняться: на лучшее или на худшее? Из красивого в некрасивое? Или из красивого в еще более прекрасное? Иначе говоря, какому богу молиться: Смерти или Жизни? Здесь есть разница. Что бы мы ни утверждали, а она есть!.. И может быть, дело не в форме. Да, будем ис-

<sup>1</sup> И я тоже являюсь живописцем (франц.).

кать, искать нужно всем. Только выясним до конца цель этих поисков. Кто не верит в человека и пессимистически относится к его судьбе, для того творчество является смертным приговором самому себе... А ночные бабочки все летят на свет и бьются хрупкими бархатистыми крылышками о прозрачное стекло яркой электрической лампочки. Через окно в комнату проникает прядь росистой утренней зари, в которую вплетены нити звонких птичьих голосов. Время вставать из-за письменного стола...

### КОНСТРУКЦИЯ ИНЕЯ НА ОКНЕ

...У ног легла собака, засыпая...

(Мечтал... Творил... Не получилось снова...)

...На белых окнах колоннады мая  
из инея я строю ледяного...

Проект весны мне удастся сразу —  
сады, дома в тумане беловатом,  
и парки...

...Два огромных теплых глаза  
вдруг озарили мой оконный ватман...

Там, за окошком, ветер воет волком,  
он подгоняет птиц к порогу прямо...  
А я гляжу, не трогая двустволку,  
на мой проект гляжу в оконных рамах...

Спит пес... Ему представилась охота...  
Два теплых глаза светят из-за шторы...

А я хочу весны, и мне охота  
размалевать застывшие просторы...

Я иней, как страницу, закрываю,  
я на окне открою краски лета...

...Я руки возле печки согреваю,  
она теплее летнего рассвета...

...На белых стеклах — колоннада мая,  
весенняя моя архитектура...

...Творю: стремлюсь достичь... и достигаю...  
Спит пес в ногах... И ветер воет хмуро...



## ЗАИНДЕВЕВШЕЕ ОКНО

Нет правила, которое нельзя было бы нарушить во имя чего-то более прекрасного.

*Бетховен*

**И** известно ли тебе, человеке, что твой главный враг — ты сам? Самое трудное — преодолеть самого себя. В твоей душе вечно сражаются два соперника. Добро и зло. Один облачен в черный фрак и цилиндр. Это зло. На втором — белая туника. Добро. Некогда изображали единоборство между черным и белым ангелами. Человек — это Мефистофель и Фауст. И прописаны они на общей жилплощади, обитают в одном скелетном каркасе архитектурного сооружения, именуемого человеком... Но никакого сосуществования, никакого равновесия. Напротив: постоянные свары, вечная неудовлетворенность, раздоры и борьба. Фехтование на шпагах. Жалобные стенания и душераздирающие вопли. Субъект в черном фраке, говорят, куда более ловок, и потому победа чаще на его стороне. Он — черный демон. Он, говорят, словно ответственный квартиросъемщик, заправляет всем скелетным каркасом этого совершенного архитектурного сооружения. Такие ходят слухи. Я не верю. Точнее, не хочу верить. Известно мне, что ты наблюдаешь за человеком. Наблюдаю за ним и я (как, впрочем, и за самим собой). И мне кажется, что черный демон лишь изредка овладевает им и получает над ним власть. И тогда человек дейст-

вительно слабеет. Но это случается не часто. Бывают мгновения, когда Фауст, повергнув на землю, попирает ногами свою собственную черную тень. И тогда человек торжествует — празднует победу. В такие минуты его Душа тянется вверх, как крона пальмы. В такие минуты он вырастает. А ты ложно утверждаешь, что человек не меняется, не растет, не перерастает себя, что модель человека вечна. Я считаю иначе: я думаю, что нет неизменной модели человека. Но если ты полагаешь, что на планете ничего не произошло — от пещерного бытия до современности (что земля не вращается, стоит себе на месте!..), что человек на ней не изменился (остался пещерным жителем с палицей в руке) и нет на планете никакого прогресса (мы живем в палеолите и ближайший хоть чуть-чуть цивилизованный сосед, с которым можно поговорить на серьезные темы, пофилософствовать, всего лишь неандерталец, пасущий стадо динозавров), тогда, разумеется, ты прав — разговор надо начинать сначала. Мы остановились на полете человека на Луну; но это чистейший бред, фантазия, иллюзия и блеф, и потому закроем временно на этом месте Книгу Бытия и вернемся к исходной позиции, откуда начали мы свой долгий, утомительный и тяжелый путь к далекому голубому горизонту, вернемся к первой букве, с которой начали учиться читать трудную Книгу Бытия. И начнем путешествие заново. Но предупреждаю: берегись, если ты лжешь, если верна не твоя правда, а моя. Тогда я тебя проучу, милый мой демагог! Возьму из рук этого (излюбленного тобою) пещерного нашего современника дубину и хорошенько всыплю... Нет! Неправда, что человек капитулирует перед демоном зла. Ничего подобного. Человек каждодневно борется с этим циником, с этим черным субъектом, хотя и терпит его в своей груди до гробовой доски. Это другой разговор. Терпит. Трудно победить. Но он борется. И каждое светлое мгновение, отвоеванное у черного врага, — это время роста, очеловечивания человека... Кто тормозит движение человека? Кто мешает ему расти? Его собственная тень — Эгоизм. Не надейся, дружище, что спрячешься от меня. Луч, исходящий из моих глаз, подобен лучу лазера, и я пронзаю им твое сердце. И вижу, что ютится в нем. Алчность? На этот раз угадал. Богатство... Вещи... Да, ты не можешь освободиться от вещей. Ты превращаешься в их раба. Ты трусливо водру-

жаешь над «своим огородом» — над грядкой с капустой, помидорами и огурцами — белый флаг. Хочешь кончить войну? Капитулируешь? Сдаешь свой окоп? Подожди... Твой белый флаг помят. Но ветер расправляет его, и я вижу уже порядком полинявшие буквы: СОБСТВЕННОСТЬ... Ага, собственности возжаждал?! (Ныне это запретный плод...) Ясно... Разве я за нищету? Нет, я не против достатка. Материальные ценности необходимы. Человек должен жить безбедно, светло и красиво. Не станем ломать копыя из-за этого. Но мне кажется, что индивидуальная собственность должна уменьшаться. Это она разделяет людей, разобщает их. Делит на биологические клетки. Огораживает заборами индивидуальные огородики. Необходима общая большая собственность, коллективное богатство, откуда бы каждая личность имела право получать столько же, сколько и другая, — полностью удовлетворяющую ее потребности долю. Это куда более совершенный способ распределения богатства. И человек, пользующийся такой формой собственности, достаточно богат и в то же время нравственно чист. Против ветра не подуешь. Так-то... А теперь вылезай из своего окопа, капитулянт!

...Не жалуйтесь... Конечно, поэзия — трудная работа. И жизнь поэта — трудная жизнь. И ежели вы боитесь трудной жизни и трудной работы, то оставьте поэзию в покое, ступайте и найдите себе работенку полегче... Больше всего не терпит поэзия измелечания — мещанского страха и сытого спокойствия. Если вы настоящий поэт, постарайтесь пореже тянуться ладонью к своему левому боку. Поэт не должен беречь сердце. Это сразу же проступает между строк, видно без увеличительного стекла, невооруженным глазом. Не щадите своего сердца, поэты!..

В наш век поэты должны крепче закалывать металл своего сердца. Много волнующего, сложного, трудного приходится пропускать сквозь него. Закаленный металл не будет столь чувствителен к сигналам сентиментов. И дольше выдержит. Сегодня, в нынешний век, сердца людей стали тверже. Почему же у поэтов сердца должны оставаться мягкими? Пусть же станет более прочным и металл их сердец. Такой век, ничего не поделаешь...

...Возвратился с литературного вечера. И все думаю, что так не понравилось мне там. Что так грустно настроило меня? Создалось впечатление, что мы, пусть даже умело маскируясь, потакаем слушателям. Настоящий поэт не должен им потакать. И если поэт выходит на эстраду, то и там должен он серьезно работать. А мы нынче мечтаем об одном — сорвать побольше аплодисментов, заработать похвал больше, чем стоящий рядом коллега. Что это? Предвестие атрофии творческих сил? Когда-то нас волновали более возвышенные желания, мечты, претензии. Мы думали, что еще молоды, что все впереди... Но именно теперь пришел такой возраст, когда каждый должен очень требовательно оценивать свои силы. Неужели осталось у нас лишь единственное желание — любой ценой сохранить былой престиж, некогда завоеванный авторитет, чтобы не упорхнул он из рук, словно воробей... О как часто это ложное чувство водит за нос даже весьма своеобразных поэтов!.. И смех и грех... Покричали какие-то студенты, что мы, мол, пишем примитивно, не можем освободиться от власти канонов, что не хватает нам мыслей, подтекста, слишком мизерны конфликты, слишком мало в поэзии нашей драматизма и боли, глядь, стихи иного поэта начинают изменяться. Откуда ни возьмись, появляются в них философские проблемы, завязывается драматический конфликт, они начинают звучать минорно, и намечается в них вдруг этакая импрессионистическая линия поэтического рисунка... Но рождается все это без сколько-нибудь глубокой внутренней потребности. И поэтому — плоско, неоригинально, не прочувствованно. Выходим мы на эстраду и читаем стихи, написанные в одной и той же манере. И что же? Каково впечатление?.. Лжива такая поэзия. Как бумажные цветы. Не лицедействуем ли мы, друзья? (Что поделаешь, у каждого века, как сказал некогда «сверхчеловек» Ницше, свои гримасы...) Но так нельзя. Надо искать настоящую дорогу.

...Мне претит ограниченность, замкнутость, сентиментальность, которую культивируют некоторые приверженные старине интеллигенты. В этом — некритический взгляд на собственную жизнь, искусство, культуру. Превозносят неизменность некоторых отживших форм развития. Мне кажется, необходимо усваивать и более

трезвое, более реалистическое национальное чувство. То есть в первую очередь — трезвый взгляд на нынешний день жизни своего народа, правильное отношение ко всему новому, жизнеспособному, прогрессивному. И критическое отношение к тому, что отживает свой век, уходит в прошлое. И затем — реальный взгляд в будущее. Да, в будущее...

...Что требуется от писателя новой формации? Прежде всего, верный взгляд на жизнь народа. Именно это и вызывает сегодня немало споров. Нельзя отсечь прошлое, нельзя укрыться от всех посторонних влияний. Факторы прошедшего еще живо воздействуют на нынешнего писателя. Это семена, некогда зароненные в нас, и нам постоянно приходится выпалывать их ростки. Необходим здравый, трезвый, народный взгляд. То есть на жизнь надо смотреть с позиций человека труда. С позиций работающего человека. Терпеть не могу изнеженности, вялости, анемичности. Мне нравится писатель, ладони которого тверды, как у рабочего, плечи широки, грудь мускулиста, все тело полно здоровья и силы. И в этом прекрасном теле — необыкновенная душа и светлый разум.

...Пора развеять одно ошибочное представление. Кое-кто присвоил себе монопольное право на традицию. Дескать, они одни являются прямыми наследниками исторических и художественных памятников, фольклора — словом, всех тех сокровищ, которые своим талантом, умом и работающими руками создал народ. А мы, законные наследники всех народных богатств, всех славных его, народа, традиций, порой робели и не умели отстаивать свои права. Время понять, что все великое и прекрасное, созданное нашим народом в прошлом, все то, что создает он ныне, — это наше, сыновей этого народа, общее достояние.

...Все чаще задумываешься над судьбой поэзии. У литературы в целом самочувствие неплохое. Проза живет. Учит мудрости, учит глубоко проникать в суть явлений. А поэзия воспитывает чувства человека. Мы живем в рационалистическое время. Человек предпочитает конкретность. Люди все придирчивее выбирают автора и книгу. И поэзия все чаще отодвигается на второй

план. И для того чтобы выжить, поэзия все усложняется, становится «умнее», философичнее. Поэзия чувства — только чувства — уступает место поэзии мысли. Ничего не поделаешь, такой век. Такой цвет времени... Хотя, мне кажется, впадать в панику не следует. Надо постараться найти какой-то приемлемый для современного периода синтез мысли и чувства. С каждым днем мы все сильнее испытываем влияние науки и техники. Взгляд человека обратился к космосу. И уже наивными кажутся ему поэтические произведения, еще вчера волновавшие. Наивными и примитивными. Его можно понять. Потому что и для нас самих, для поэтов, уже довольно наивно звучат наши собственные вчерашние строки. Элементарные, как арифметические задачки для начальной школы. Многое уже и самим нам читать не хочется, — как же заставить читателя? Как убедить его, что очень сложно к двум прибавить два?.. Если уж писать, то непременно что-то глубокое и серьезное. К чему заниматься бесполезной игрой? Пока еще не время откладывать перо. Но надо нащупывать следующую ступень...

...Скажите, что это за поэты? К какой человеческой категории принадлежат? По-моему, ни к какой. Это так называемые «независимые поэты», которые просто шатаются по белу свету и, надо сказать, здорово скучают. Честно говоря, они могли бы уже и не именовать себя поэтами, потому что им нечего сказать людям. Как можно жить среди людей и не чувствовать никакой связи с ними, не знать, каково твое место среди них? Может ли поэт, живущий в обществе, быть совершенно свободен от любых норм общежития, не нести ответственности за свои поступки, за поступки других людей?.. Такой поэт вправе считать себя свободным лишь в одном случае: ежели он удерет в необитаемую пустыню и там, наедине с самим собой, займется самолюбованием... Даже врача-психиатра не подпустит к себе!.. Согласен, психический склад поэта сложнее, чем у других людей, его радары, пеленгаторы и телевизионные установки быстрее реагируют на внешние сигналы. Пусть такова его природа. С этим можно не спорить. Однако не смеет поэт, живущий среди людей, презирать (*Odi profanum vulgus*) общество. Это антигуманизм... У настоящего большого поэта и боль велика. Я даже сказал бы — безгранична. Можно назвать множество лю-

дей, которых именно это страдание сделало поэтами. А что же сии претенциозные снобы? Читая их, тоже чувствуешь страдания поэта. Но они столь ничтожны, столь мелки. И радоваться эти люди тоже не умеют. Не потому, что они не люди и, следовательно, не испытывают свойственного человеку чувства радости. Они не умеют быть счастливыми по одной причине — это нынче не в моде. Хотя за чаркой они с отменным аппетитом уплетают добрый кус хорошо прожаренного мяса, любят соленый анекдотец и не прочь плотоядно поржать над ним. Grimасы боли берегаются для поэтического творчества. В жизни — практичный рационализм и реалистический прагматизм. В творчестве — показное страдание, этакий тоскливый вой на луну... Читаешь их стихи и не можешь понять, чего же хотят эти поэты. Одно ясно: неудовлетворены они устройством мира (хотя существование мировой скорби вполне закономерно, и надо, чтобы она была). А что им делать? Не ведают. Скорее всего — ничего. Просто скучно живет, видите ли, — и все тут... Делать ничего не надо, пусть все катится кувырком в бездну, в тартарары. Ничего не надо делать. Руки у нас чистые. И это главное. А что до всего остального — пропади оно пропадом. Не наше дело. Разве с нас спросится за неурядицы сего мира? Сидят, кейфуют и мурлыкают, перемежая мурлыканье вздохами... Да, ничем другим нельзя так хорошо отгородиться от мира, как искусством, — утверждал Гёте... Но он тут же гениально добавлял: ничто так крепко не привязывает к миру, как то же искусство.

...Деньги делают человека свободным? Не спешите. Один очень любимый и читаемый вами автор (я когда-то тоже любил его и до сих пор чрезвычайно высоко ставлю его первую простую солдатскую книгу «На западном фронте без перемен») сказал: «Деньги — это свобода, выкованная из золота». Слышали? Выкованная из золота. Какая ирония таится в этих словах! Можешь ли ты, человек, выковать себе свободу из золота?! Абсурд... Золото ловит человека в свои сети, сковывает и привязывает его к себе. Нет большего раба, чем человек, очутившийся во власти золота. Он заболевает ужасной болезнью: неутолимой алчностью. Сколько бы ни собрал он этого добра — ему все мало. Болезнь страшная, неизлечимая. Существует ли более страшная фор-

ма рабства? Даже нищета не так ужасна. Нет, почтеннейшие, не золото дарует человеку свободу. Не деньги. Труд... Творчество... Созидание... Чем больше человек работает, познает, свершает, тем больше высвобождается он из-под власти крепко держащей его в своих объятиях природы.

...Почтенный критик! Хочу дружески поспорить с тобой. По-твоему, писатель всегда может допустить ошибку. Критик же — никогда. Почему? Так ли это на самом деле? Разве критики абсолютно непогрешимы?.. «А бывает и так: писатели начинают читать критику. Если верить критикам, когда те поют тебе хвалы, приходится верить и в дальнейшем, когда тебя начинают бранить, и кончается это тем, что ты теряешь веру в себя. Сейчас у нас есть два хороших писателя, которые не могут писать, потому что они начитались критических статей и изверились в самих себе. Не брось они работать, у них иногда получались бы хорошие вещи, иногда посредственные, а иногда и совсем плохие, но то, что хорошо, осталось бы. А они начитались критических статей и думают, что надо создавать только шедевры. Такие же шедевры, какие, по словам критиков, выходили раньше из-под их пера. Конечно, это были далеко не шедевры. Просто вполне сносные книги. А теперь эти люди совсем не могут писать. Критики обесплодили их». Кто мог так критически отозваться о критиках? Эрнест Хемингуэй. Да, этот героический, всю жизнь смело бившийся с несправедливостью достойнейший американец, настоящий человек и отличный писатель. (Когда я был на его родине, в США, «влиятельные люди» с презрением и ненавистью произносили имя своего выдающегося соотечественника.) Так-то. Чего не случается в жизни!.. Если сегодня литератор пишет так, критик советует ему писать иначе; когда же писатель напишет иначе, критик порекомендует ему обратное — работать, как прежде. Эта игра в кошки-мышки может затянуться надолго, а то и на всю жизнь...

...В человеческом сознании остаются все первоначальные впечатления. Если бы можно было проследить за подсознанием, распутать этот хаотический клубок ощущений, мы узнали бы, как возник сам человек. Где-то глубоко в его сознании хранятся остатки впечатле-



ний его пращура. Надо только научиться читать подсознание: этап за этапом, пласт за пластом вгрызаться все глубже и глубже — в остатки, черепки первичного слоя. Это нелегкое дело, но лишь таким путем можно воссоздать картину сознания прачеловека.

...Мне кажется, что лет до сорока человек не задумывается или редко вспоминает о собственной смерти. Перевалив этот рубеж, он все чаще начинает вспоминать о ней. Сначала со страхом. Но потом сама природа помогает человеку преодолеть чувство страха. Он начинает устывать. Жизнь уже не доставляет ему такой большой радости, как прежде. Человеку уже хочется отдохнуть от тяжких забот, бед и болезней. Смерть начинает казаться естественным отдыхом после долгой, изнурительной дороги. Природа формирует психику человека, помогает ему подготовиться к вечному отдыху. Ведь если бы, умирая, человек считал, что после него ничего не остается, ему действительно было бы страшно. Но если он сознает, что исполнил свое назначение, что после него остаются жить другие люди и нить жизни не обрывается, то какое значение имеет его личная смерть? Он не умрет в другом человеке. Человек вечен. Меняются лишь имена и фамилии. А человек жил, живет и вечно будет жить. Сама природа убеждает человека, что смерть не страшна, что она необходима. Если бы не было печали ухода, не было бы и радости прихода. Естественная смена. Как день и ночь. Вечное движение. Природа не знает успокоения. Это самый беспокойный, самый мятежный, самый суровый творец...

...О великая наша мать! О Природа! Ты творишь чудеса. И одновременно безжалостно издеваешься над прекраснейшими своими созданиями. Как же противоречива ты! Создала и подарила миру великого композитора, гения, гималайскую вершину музыки — Бетховена. И (как же ты жестоко!) отняла у него самое ему дорогое — слух... Почему? Не для того ли, чтобы не услышал он сотворенного им и не испугался своей гениальности? А испугавшись, не убежал бы сам от себя?.. Почему? Мы не понимаем странного твоего поведения, мать-природа. Почему ты бываешь столь коварна и жестока по отношению к художнику? Одной рукой даруешь ты ему талант, а другой отбираешь все радо-

сти жизни — счастье, удовлетворение, отдых. И художник, подобно рабу, прикованному к галере, знает один только тяжкий труд. Труд гения напоминает труд каменобойца: ему тоже приходится дробить огромные глыбы, чтобы создавать щебень — удобные для пользования понятия и предметы. Почему ты мучаешь своего сына: либо безмятежная жизнь, бюргерское удовлетворение и незаметная судьба, либо никаких земных радостей, одни только страдания и — в награду — судьба гения... Великая Природа! Я понимаю теперь, почему умирающий гений, помнишь, нашел в себе силы с иронией улыбнуться и погрозить дрожащим кулаком твоему небу, изрезанному зигзагами молний. Я отлично понимаю... Тяжко всю жизнь заниматься титаническим трудом, ворочать горы огромных камней и умереть, не утолив сердечной жажды... Ни глотка, ни капли... Всю жизнь — тяжелейший труд каменобойца. Ах, мать Природа, почему ты такова? Я прижимаюсь ухом к твоему черному телу, но ты безмолвствуешь. Так и умру, не узнав, что руководит твоими желаниями и действиями... Да будет!..

...Грош цена искусству, окрашенному в розовые тона, — лимонадной поэзии, лимонадной музыке, лимонадным «картинкам». Розовое — не цвет глубины. В глубину идут через черный и кроваво-красный цвет: в глубь, в глубь человеческого сердца, в душу, которая трепещет, дрожит, страдает, мучается... Искусство должно потрясать. Если оно не потрясает — это подделка, а не искусство. Если художник не выражает собственного страдания, не несет нам ощущения своей боли — он не может познать, не может излечить боли и страданий другого человека. Настоящее искусство — это всегда сложное искусство.

...Мы живем в такое время, когда отношения между разными группами рода человеческого, даже между отдельными людьми, стали особенно сложны. И потому литература и вообще искусство призваны решать не какие-то отдельные, локальные вопросы, а весьма настойчиво бить в одну точку, пытаюсь решить главный вопрос: в чем все-таки смысл человеческой жизни? Какое завтра ожидает людей, каков будет мир, над которым нависла смертельно-опасная туча? Этот вопрос

авяют писатели всего мира. И правильно делают, ибо это вопрос номер один. Правда, не все одинаково относятся на него. Очень жаль, что немалая часть талантливейших писателей и художников решает пессимистически проблему человеческого будущего. Создаются целые концепции смерти. И это пессимистическое искусство пытаются обосновать теоретически, научно. «Чем грашнее делается мир (а именно теперь он страшен, как никогда), тем абстрактнее искусство, напротив — частливый мир создает реалистическое искусство» (Василий Кандинский). Да, это верная констатация факта, мы знаем, что так оно и есть... Но что нам с того? Некоторые теоретики искусства, как те шекспировские догильщики, своими философствованиями стремятся одготовить человеческое сознание к смерти, чтобы умирать было легче. Человек-де должен свыкнуться с наойливой мыслью: смерть неизбежна, однажды все равно придется умереть... Жизнь человека, по выражению Гафки, подобна жизни сороконожки (вспомним былую ерминологию: прах земной... червь... etc). Человек лишь рудится да размножается. Стереотипное размножение — распространение биологически однородных экземпляров... Сам человек не знает, не понимает того, что он наглухо заперт в тюрьме — лишь в этом его свобода. По утверждению М. Хейдеггера, единственная сфера человеческой свободы — смерть. (Человек волен умереть. Не существует запрещающих смерть законов, и помещать умереть человек человеку не может.) «Только жизнь, — заявлял Хейдеггер, — в которой свободой действия обладает смерть, придает свободу существованию и приводит экзистенцию к ее логическому концу». Фактически — к великому Ничто... Страшный фатализм! Страшная ирония философа, когда он высмеивает мыслителей, мечтающих о будущем человека. Эти философы-гуманисты связывают понятие будущего с тем, что еще не родилось. Будущее — это вакуум, который должна заполнить новая материя. По Хейдеггеру, и прошлое, и настоящее, и будущее — все едино. Ничего нового нет, ничто не меняется. Уже в далеком прошлом подготовлено далекое будущее человека. Время замерло и стоит на месте. Материя качественно не развивается. В пространстве — полный застой. У человека нет будущего ни в пространстве, ни во времени. Монотонно воспроизводится однообразная, стереотипная модель человека,

все тот же портрет, в уголке которого можно не помещать даты создания. Это не имеет никакого значения: Экзистенциалистская формула человека полностью отрицает историю развития его чувств и мыслей. Для нее пещерный неандерталец, сжимающий в руке дубинку, стоит в одной геометрической плоскости с Эйнштейном, держащим в руках чертежи мегагалактик....

...Большое и настоящее искусство сближает людей — делает их братьями. Особенно эмоционально настраивает музыка. Когда слушаешь прекрасную, волнующую мелодию, душа проясняется, и хочется творить добро. Все вокруг озаряется светом, который пробивается из человеческих глаз сквозь кристалл слезы, наполняется теплом, идущим прямо из сердца. Если бы вселенную залила многоцветная, сконструированная из космических звуков музыка, если бы она радугой обняла земной шар и звучала повсюду — люди действительно стали бы братьями...

...Зачем уступаем мы кому-то область психологических глубин и подсознания? Почему отдаем другим сферу утонченного анализа? Мы тоже должны научиться читать едва уловимый шифр человеческой души, и тогда человек станет понятнее нам. Если же мы никогда не сделаем попытки проникнуть в эту область, она навсегда останется для нас темной, зловещей и полной опасностей. Писатель, в первую очередь, должен познать себя, открыть самому себе собственную личность — не извне, а изнутри. И чем глубже поэт проанализирует свою душу, чем глубже проникнет он в нее, тем сложнее и в то же время интереснее станет он для других людей, тем большую получит возможность долго жить. В литературе доступнее всего внешнее — верхний слой. А человек глубок. Неисчерпаем. Дна его души не видно. Так погрузимся же вовнутрь человека. Только там находятся все основные сведения о нем. Там, в безмолвных лабиринтах, иероглифами начертана вся биография и история сфинкса. Надо уметь проникнуть в эти лабиринты, найти эти зашифрованные надписи и научиться разбирать иероглифы. Это великое искусство.

...Чтобы хорошо рассмотреть картину, следует отойти от нее на некоторое расстояние. Стоя вблизи, можешь

разобрать детали, но целого не увидишь. Также не сумеем мы обобщить явления жизни, если будем привязаны к ее отдельным деталям. Мне никогда не удастся написать хорошее стихотворение сразу же по прибытии на новое место. Меня просто захлестывает обилие свежих впечатлений, деталей. Эта груда нового материала, этот калейдоскоп подавляет меня, я чувствую себя рассеянным, не могу сообразить — что главное. Но проходит какое-то время. Увиденное откладывается в сознании определенными пластами, из которых я потом добываю ценное сырье, как шахтер — руду, и выплавляю металл. Память дает самые верные обобщения.

...Иногда в голову лезут странные мысли: зачем нужна поэзия? Помогает ли она кому-нибудь? Все великие поэты мучаются, словно безумцы, мечтая о совершенном, духовно чистом, благородном человеке... А человек? А человек творит свое: читает хорошую поэзию — возвышенное послание поэта, обращенное непосредственно к нему, царю природы, и тут же лжет, ворует, убивает. Да... Все так... Но с другой стороны, что стало бы, исчезни в мире поэзия, музыка, живопись? Кто облагородил бы человека? Поднял его? Боролся бы за него? Человек оставался бы варваром, рабом примитивных инстинктов. Вечный дикарь, он свирепствовал бы в окружающем его мраке. Что ж, воздействие поэзии не мгновенно, не непосредственно, но — капля за каплей и камень точит... Человеческое сознание идет вперед медленными шагами, чувства тоже совершенствуются не вдруг, мало-помалу, незаметно. Но все-таки идет человек вперед, становится чище, мудрее, прекраснее. И потому стоит учить его чувствовать, совершенствовать душу. Пусть порой охватывает поэта разочарование (увы, это бывает), пусть, умирая, сетует он, что напрасно прожил жизнь, что не удалось ему совершить ничего хорошего. На самом деле это не так: труд его — малая капля, но, сливаясь с другими каплями, она смывает с человека каменный панцирь варварства...

...До определенного возраста поэту все кажется ясным. Он лишь наблюдает и фиксирует. И все вокруг представляется ему столь простым и понятным, что любое недоверие, любое сомнение в правильности высказанных им мнений вызывает у него раздражение, сердит

его. Поэт стремится всех убедить в своей правоте. Но настоящая поэзия возникает лишь тогда, когда поэт размышляет, никому не навязывая своих выводов, сам хочет разобраться в этом таинственном мире. Когда перед ним самим встают вопросы: что? как? и почему?.. Спрашивает и не находит ответов. Потому что найти их нелегко.

...Часто за внешними атрибутами поэзии (ритмом, рифмами) очень умело скрывается самая банальная проза. Форма служит ей маскировкой. Но возможно ли создавать поэзию, если ход мыслей сугубо прозаичен? Разве поэзия — только определенная форма? И критики или поэты, ведущие «священную войну» со свободным стихом, с определенными стилистическими свободами, с «приспешниками верлибра», невольно напоминают мне те пресловутые опоры «милостью божией установленного режима», тех сторонников монарха, которые готовы положить животы своя ради сохранения «извечного порядка», ради поддержания «дисциплины»... А разве этот извечный порядок не изжил себя? Разве возможен вечно неизменный стиль?

Бытует еще и такое мнение, что литературе необходимы художники двух родов (причем, и те и другие имеют якобы одинаковое право на существование): одни экспериментируют в области формы (глубокое содержание — не их удел, кишка тонка) и таким образом стимулируют ее развитие, а другие, используя достижения первых, облачают глубокое содержание в прекрасные одежды. Так ли это? Гм... если делить подобным образом, то опасностей формализма не избежать. Появятся мастера чистой формы, которые тем лишь и станут заниматься, что будут ее всячески совершенствовать. Это не легко, но все-таки легче, чем насыщать форму большим, глубоким содержанием... Если мы узаконим такое «разделение труда», то фактически признаем некое деление на касты. В поэзии появятся аристократы в белых перчатках, считающие ниже своего достоинства марать руки, и пролетарии, вынужденные делать за них черную работу. Это было бы признанием неравенства. Искусству же необходимо гармоничное равновесие, баланс формы и содержания. И поэтому в нем должен господствовать принцип равенства: все обязаны выполнять трудную работу. Не будем делать исключений. Экспериментировать

нужно, а метаться — не к чему! Искусству, по-моему, всегда помогает, выводит его на верную дорогу из самых сложных ситуаций эпикурейское *чувство меры*. Крайности же больше всего вредят ему, могут увлечь по ложному пути. Если шагать по обочине, по самой кромке шоссе, можно свалиться в кювет... Лучше уж держаться подальше от края. Тогда меньше шансов поломать ноги...

...«Учение о внезапном, сверхчеловеческом бессмертии продиктовано эгоизмом; учение о продолжении существования человека в человеке — продиктовано любовью» (Карл Грин). В каждом своем творении художник должен стремиться все глубже и вернее познавать себя. Ибо, только познавая себя, совершает художник свою самую заветную исповедь. А исповедоваться он должен не для привлечения любопытных, не из любования собственной личностью, не из любви к себе, но из любви к другим. Другим — о себе...

...Приходит такое время, когда поэт не то чтобы устает, просто начинает с неприязнью относиться к рекламе своих произведений. Точно стесняется их. Его угнетает известность собственных стихов у широкой публики. Почему? Вероятно, потому, что рождается у поэта мысль, что пишет он недостаточно хорошо, что в то время, как многие люди заняты серьезными делами, он, поэт, выдумывает «какие-то никому не пужные пустяки». Это чувство возникает потому, что стихотворение не очень емкая форма, в стихе не все скажешь, а у поэта появляется желание сказать нечто большее, полнее выразить себя. Возможности стихотворения ограничены, другой формы он еще не нашел, другим жанром не овладел. И тогда наступает пора страданий. Хочется сказать больше, шире, глубже, совершеннее, а возможности жанра не позволяют. К черту всякую рекламу, всякую публичность! Хочется запереться наедине с самим собой и искать, искать, искать... что-нибудь лучшее...

...Бывает поэзия одноплановая, а бывает такая, в которой можно найти и второй и третий (и т. д.) планы. Поэзия одного плана неинтересна: тощая, насквозь просвечивающая, бумажная. Многоплановая — сложна: первый план — видимый, сюжетный, тематический,

внешний; второй — более глубокий взгляд, мысль, настроение; третий — уже с трудом обнаруживаемые подводные течения, ассоциации, интуитивные пласты подсознания... Одноплановые стихи пишутся в наивной юности. Потом постепенно появляется в них второй план. Затем и третий. Каждая последующая ступень дается с трудом. Тут уже необходим определенный философский подход. Надо в совершенстве владеть инструментами, техникой, формой. Безупречно владеть...

...Читаю превосходную гуманистическую книгу Иоганнеса Бехера. Глаз невольно останавливается на интересных мыслях. Например: «Что уж говорить о победе, главное — выжить!» Эта фраза Рильке, — комментирует Бехер, — перекликается с «J'ai vécu» какого-то аббата времен французской революции. Оба выражения — лейтмотив многих книг, более того, это девиз миллионов людей. Этими словами отказываются от стремления изменить мир, способствовать победе добра. Или: «Величие человека составляют его мысли». Эти слова Паскаля, — отмечает для себя Бехер, — надо нести как знамя в борьбе против всех, кто хочет подавить в человеке разум и любовь к людям, сделать его античеловеком и превратить в варвара. И еще: «Я могу представить себе человека без рук, без ног, даже без головы... Но я не могу представить себе человека без мыслей; это был бы камень или дикий зверь». «У сердца тоже есть разум, — утверждает Паскаль. — Формой надо овладеть так, чтобы уметь пользоваться ею даже во сне...» Иоганнес Бехер говорит, что существует литература как ремесло (литературные ремесленники!). Эта литература, не имея своего мнения, сопутствует политическим событиям, лишь иллюстрируя и освещая их. Иное дело — литература, говорящая новое слово, стремящаяся внедрить в умы нечто, ранее не существовавшее. К сожалению, ремесленники зачастую захватывают место, которое должно бы принадлежать подлинным писателям, оставляя настоящей литературе небольшую, чуть ли не «штрафную площадку»... Если случается нечто подобное, Бехер рекомендует забыть добросердечие и указать ремесленникам их настоящее место...

...Любой порядочный человек считает, что его окружают порядочные люди. Каждый подлец уверен, что



все люди на свете — подлецы. Всякий мерит на свой аршин. Однако человеку, если он хочет превратиться в человека, обязательно нужен другой человек. Он, как говаривал Гёте, словно в зеркале, видит в другом человеке самого себя. Человечество формируется только коллективно: отделенный от всех индивидуум никогда не вырастает, — человека растит человек. Очень важно понять эту взаимосвязь, эту взаимозависимость людей во всей сложной механике гуманизма.

...Я пишу не для того, чтобы меня не понимали и потому не читали. Писать, имея перед собой такую цель, — бессмысленно. Лучше уж вовсе не писать. Нет, я пишу так, чтобы меня можно было понять. И пишу для того, чтобы меня читали. Ибо если меня не станут читать, моя жизнь потеряет всякий смысл. Смысл ее лишь в неразрывной связи с читателем...

...Борьба с демонами. — страшная борьба... Когда я чувствую, что внутри просыпается мой злой гений (когда гнетет меня недобрая мысль или упрекает за что-нибудь голос совести), мне не остается ничего другого, как сесть за рабочий стол и начать спор, творческий диалог с этим внутренним оппонентом. Приходится крепко помучиться. Противник ставит один за другим каверзные вопросы, сеет сомнения. Я вынужден отвечать на каждый его вопрос... Душевное равновесие обретаешь только тогда, когда демон, жаждущий истины, удовлетворится твоими ответами. Акт творчества — это и есть бесконечные ответы на сомнения, вопросы, упреки и насмешки внутреннего злого демона. Мне никак не удавалось одолеть одно страшное чувство, пока не написал я поэмы. Когда написал, стало значительно легче, и демон этот больше не мутит мне душу, не мучит меня. Но появляются другие демоны... И я должен отвечать на их вопросы в каждой новой книге. И чем дальше, тем труднее. Видимо, так придется мучиться до последнего часа, пока не изведешь вконец...

...Гёте утверждал, что поэт, когда он описывает лишь немногочисленные свои субъективные ощущения, — еще ничто; когда же он в силах понять и выразить мир, он становится поэтом. И человек, по словам этого великого художника, если он желает быть свободным и неза-

висимым от таинственных сил природы, должен подняться над ней. Если это ему не удастся, то природа подавляет его своим величием и таинственностью, и человек становится рабом природы. А ведь он должен быть ее властелином! Эта мысль важна и для поэзии, которая постоянно нащупывает связь между человеком и природой. Наша лирика в большинстве случаев традиционна — в том смысле, что она чрезвычайно возвеличивает и поэтизирует природу, а человек, в ее изображении, по сравнению с гигантом — природой, ничтожный карлик. Поэты боготворят каждую частичку природы, с упоением описывают наш удивительный мир. Но не понимают, что наносят этим вред самим себе: недооценивают своих человеческих сил, лишаются гордости и веры в себя, их подавляет и нивелирует Великая Природа... Когда же поэт пассивен по отношению к природе, тогда рождается и пассивная поэзия. Не пейзажный эмпиризм нужен, не внешний рисунок, а проникновение в самую суть явлений. Капитуляция перед природой — идеализм; капитуляция перед тайной — фидеизм. Смелое, единственное достойное человека отношение к природе — это взгляд на нее как на подвластную ему материю. Мыслящий мозг, разумная материя выше элементарной материи природы. Человеческая мысль проникает в неведомые тайны бытия, исследует их. Это исследование идет в двух направлениях: одно познает элементарные частицы природы (атомная физика), другое — космос, величие вселенной, ее тайны (космогония). Вглубь и ввысь. Эти линии, направленные в противоположные стороны, должны встретиться в одной точке, сомкнуться. И будет завершен еще один из циклических кругов развития человечества. Человек еще больше возвысится над природой. Душа и мысли его устремляются сегодня в космос, к не исследованной еще тайне. *Линия нашего века — космическая линия.* И поэтому рождается поэзия космического гуманизма, украшенная сверканием звезд.

...Иногда молодые художники начинают испытывать разочарование: стоит ли творить, если творчество не оказывает на жизнь никакого влияния? Вроде бы жизнь идет одной дорогой, а искусство — другой. Но искусство было, есть и вечно будет необходимым. Оно безусловно оказывает свое — пусть очень своеобразное —

воздействие на жизнь. Иногда кажется, что великие мастера без особых раздумий следуют в своих произведениях лишь внутреннему влечению. Но наивная непосредственность искусства и составляет его красоту. Конечно, Уолт Уитмен — мечтатель. И демократические концепции его скорее поэтические, чем конкретно политические. Но, право, было бы неплохо, ежели бы жизнью управляли законы, созданные поэтами. Уитмен — не реалист-политик. Он — романтик. Как и Маяковский... Политическое воздействие на жизнь — прямое и быстрое. Поэтическое — опосредствованное и совершается во много раз медленнее. Но представить себе мир без искусства невозможно. Это был бы бесконечный мрак. В какие-то моменты человеческой истории значение искусства возрастает. В иные — вдруг падает. Но художник всегда должен верить, что он нужен миру. И приносить себя в жертву ему, бороться за то, чтобы значение искусства не уменьшалось, а росло. Напрягая все свои силы в тяжелом труде, он должен верить, что труд его необходим людям как пусущный хлеб. Он должен быть фанатически предан своему труду. Разумеется, значимость искусства зависит от эпохи, от общей исторической атмосферы, от материальной жизни народа. Но в значительной мере оно зависит и от самих художников. Объективные законы и воля субъекта....

...А все-таки лирика должна быть предельно искренней. Образцы философской, публицистической поэзии, где Разум аннексирует и эксплуатирует владения чувства, имеют право на существование, но лишь лирика — исповедь поэта. Лирический дневник. Поэт должен рассказывать *всё* до конца, тогда диалог его с читателем будет искренен. Как только мы начинаем утаивать что-нибудь, диалог становится искусственным, перестает волновать читателя. Да поэту и нечего скрывать от него... Пришлось отражать две экстремистские опасности: бесплодный эстетизм, с одной стороны, и узкий догматизм — с другой. Однако наше творчество ничего общего со старым эстетизмом не имеет. Если и встречаются еще в нем отзвуки былой приверженности к чрезмерной переоценке внешней формы, то они тают среди новых и куда более стойких элементов содержания. Надо лишь радоваться, если поэту удалось тем или иным способом достичь в своем произведении интересной и совершенной

формы. Эстетизм, так сказать, «чистой воды» получил от действительности крепкий удар. Правда, он еще пытается подняться. Но уже не в классическом своем виде, полном презрения к инакомыслящим. Нынче его облик намного демократичнее. А догматизм? Догматизм еще сковывает наши мускулы. Не обнаружив в произведении желательных ему элементов, догматизм тут же спешит окрестить его антиобщественным. Между догмой и живой жизнью всегда существует определенный антагонизм. Наши желания и мечты зачастую обгоняют медленную поступь жизни. И тут-то проявляется нетерпеливость и непоследовательность догматизма. Он не желает ждать, пока поспеют, созреют плоды жизни. Ему сегодня же вынь да положь желаемое. Его требования далеко обгоняют реальность. И одновременно он отстает и проявляет себя консервативно в области формы. Догматизм — сторонник застывших форм. Он полагает, что его каноны формы — единственно правильные, устойчивые и неизменные. И, наконец, догматизм убежден, что он всегда прав. А между тем существует другой — диалектический, гибкий, отвечающий изменениям жизни метод оценки явлений.

...Философская поэзия, конечно, не является *лирикой действия*. Это мыслящая поэзия. Но разве человек не должен философски осмыслить свой мир? А от мышления прямой путь к действию. И тогда возникает потребность в поэзии действия, в активной лирике, призывающей к действию, к борьбе. Необходимо и то и другое. Литература подобна трибуне. Что получилось бы, если бы каждый выходящий на трибуну оратор повторял предыдущего, говорил то же, что и он, и теми же самыми словами? Истина рождается в диалоге, в борьбе различных мнений. Не должно быть одного, бесконечно повторяющегося оратора. Не может быть одного мнения. Не может быть одной темы. Не может быть одного решения. Не может быть одного стиля.

...Еще раз о декларативности, ибо она, смолкнув на какое-то время, снова лезет на передний план. Что такое декларативность? Это вдалбливание в голову. Разве нужен ей искушенный читатель? Ей подавай самого примитивного. Уважающий себя серьезный читатель никогда не позволит, чтобы поэт долбил ему голову. Разве

нельзя высказывать те же мысли тоньше, образнее? «Я люблю свою землю!» — декламирует некий поэт стереотипный шаблон. А другой не заявляет этого впрямую. Он говорит: «Я люблю женщину, своего ребенка, природу» и т. д. Разве это не компоненты той же самой Родины?.. Они, как бы невзначай, приучают читателя мечтать, любоваться, верить...

Должен ли поэт начинать с верлибра? Пусть сначала освоит элементарную технику версификации. Да, да, правила классического стихосложения!.. Оказывается, гениальный Пикассо сначала делал с натуры точнейшую копию и лишь затем думал, какие моменты следует подчеркнуть и выделить. Художник прежде всего должен научиться рисовать. И не как-нибудь, а хорошо. То же самое — поэт. Он должен усвоить все правила поэтики. А дальше — его дело. Канон необходимо знать досконально, даже в том случае, если собираешься его реформировать.

...Активное отношение к действительности очень важно для поэта. Если его нет, поэт гибнет. Его уделом становится иллюстративность, констатация факта, статичность. Он уже не участвует в жизни, уже не борется. Он лишь пассивный наблюдатель. Это самая скверная позиция. Она совершенно неплодотворна. Ибо никого и ни на что не может подвигнуть...

...Прочел книгу воспоминаний. Итоги жизненного опыта и сумма выводов одного писателя. Он страстно полемизирует с современностью. Слово его небезынтересно, наполнено искренним волнением. Это трагическая книга. По прочтении ее становится грустно. Писатель всю жизнь титанически сражался за подлинное искусство и не видел для него никакой перспективы. Отсюда — трагедия. Стремился ко многому, а достиг сравнительно малого. Молодость всегда полна замыслов, хочет своротить горы. Пройденный же путь видится иным. Стоя у разверстой черной бездны, человек оглядывается на оставленный им позади длинный пунктир следов, пересекающий пройденные пустыни. Да, пустыни. И лишь редко-редко находит его взгляд зеленые оазисы. Зеленые островки в безжизненном море песка...

...Классика всегда проста, сурово строга и понятна. Ясен классический образ мышления. Ясны теоремы Пифагора. Ясны законы небесной механики Ньютона. Предельно просты и ясны классическое искусство и классическая литература. Классике чужд релятивизм. Все контуры резко очерчены. Все контрасты четко обозначены. В ней нет нюансов. Сомнения принесло с собой новое время. И возникла идея — пересмотреть классику. Слишком уж элементарны были ее законы. А в жизни появилось много сложного. Не так-то просто оказалось, опираясь на ясные и четкие законы, познавать строение вселенной и созидать в ней жизнь. Тогда в искусстве появилось множество разных школ, направлений, множество нюансов: простые и ясные критерии классики уже не помогали понять и объяснить бытие.

...Новый стиль — не кабинетное изобретение и не пугало, каким считают его некоторые люди. Закон единства материала и стиля, содержания и формы должен соблюдаться, и он соблюдается. Материал для творчества всегда поставляла и поставляет жизнь, и стиль тоже формируется ею. Формула жизни — не статичное, одинаковое для всех времен уравнение. Это меняющаяся и постоянно уточняемая формула. Жизнь — не узкое, а многогранное, многозначимое понятие. Она не только материал, но и форма его. Форма и стиль организуются и изменяются подобно тому, как организуется жизнь и изменяется природа. Когда в природе появляется новый образ (если природа меняется, то возникает и новый внешний облик мира), обогащается и глаз художника. Когда появляются новые ритмы и рифмы (городов, заводов, рек, электростанций, космоса), они активно включаются и в творчество. Ухо и глаз творца должны быть чутки к изменениям мира. В этом — гарантия, что он не отстанет от жизни...

...Поэт должен учиться у художника. Сначала стихотворение монтируется по всем правилам, по всем поэтическим канонам. Делается приблизительный, отвечающий натуре эскиз. Потом заготовке необходимо вылежаться. И когда снова извлекаешь ее из ящика письменного стола, уже можно несколько деформировать эскиз: один образ или какую-то мысль выписать четче, подчеркнуть; другой, мешающий восприятию це-

лого, убрать. Стихотворению необходимо подольше оставаться в лаборатории поэта. Не надо спешить. Оно должно пройти несколько творческих стадий — от эскиза до совершенного, окончательного варианта. Только так создаются шедевры...

...Работа поэта — сизифов труд. Раз за разом придется поднимать на вершину горы один и тот же камень. А ведь знаешь, что он снова скатится вниз и снова придется спускаться, взваливать его на плечи и тащить вверх. Такова судьба поэта. Другого выхода нет. Почему? Да потому, что приходится постоянно доказывать уже хорошо известное, уже ставшее аксиомой. Для всех — аксиома, а для поэтов — нет. И еще потому, что так назначили, так захотели боги... Но Сизиф, оказывается, сильнее богов, ибо он свершает подвиг, диктуемый уже его собственной волей. И подъем этой каменной глыбы зависит уже не от воли богов, а от желания Сизифа. Камень принадлежит ему. Так выше богов вырастает Сизиф. «Кто стремится к недостижимому, тот любезен мне» (Гёте). Не падай духом, золотом пота покрытый Сизиф! Выше голову!..

...Вы говорите: стихотворение стало угловатым, некрасивым, шероховатым, необтесанным, слишком шумным. Верно. Изменились интонации. Нашему слуху были привычны нежные, лирические звуки, тонкие нюансы, тона и полутона. Но стихотворение все-таки страдало от некоторого однообразия интонаций боли и печали. Сама жизнь привнесла в стихи такие звуки, которых поэт раньше избегал, которые считались дурным тоном, были инородным образованием в ткани изысканной поэзии, короче говоря — резали слух. Жизнь внесла в поэзию много диссонансов, диспропорций, дисгармонии. В нее проникли и утвердились там терзающие слух ноты иронии, сатиры, сарказма. В поэзию ворвались запахи земли, пота, грохот труда, гул толпы. Поэзия пополнилась новыми образами, новыми звуками и интонациями. Все это пошло ей лишь на пользу. Пока трудно сказать, как будет развиваться дальше этот процесс. Да и не стоит гадать. Пророчества иногда не исполняются... Возможно, возникнет желание частично вернуться назад — к интимности, к приглушенным интонациям, к магии слова. Может, такое тоже нужно... Но революционный период

«бури и натиска», штурм, сокрушающий начало омертвевших догм, старых канонов и просто предрассудков, необходим и закономерен. Может быть, слух человека, привыкший к традиционным звукам и интонациям, еще не изменился. Это медленный процесс. Но слух тоже изменится, обогатится звуками новой поэзии и полюбит их. С течением времени кое-что из найденного, конечно, надоеет, и человек снова потребует чего-то нового.

...Разве искусству достаточно констатировать общеизвестную истину, что всех нас ждет неминуемая смерть? Разве достаточно сконцентрировать все внимание человека на этом единственном пункте, на одном неоспоримом факте, философском выводе? Вероятно, знать об этом следует, но гораздо важнее дать человеку ответ на мучительный вопрос: как надо жить? Однако часто трудно ответить на вопрос «зачем живу?» и самому себе. Просто существую? Этого слишком мало. Неужели я получаю удовлетворение от того, что, может быть, обладаю чем-то таким, чего нет у остальных? Мещанство!.. Отвратительно!.. Так что же? Сегодняшний человек упорно ищет философское обоснование в подкрепление своей жизненной практики, ему необходимо оправдать свое поведение. Почему я поступаю так, а не иначе? Я очень хорошо должен понимать, чувствовать и знать это, ибо если я этого не разумею, значит, бреду на ощупь в каком-то мрачном лабиринте. А я хочу, хочу знать!.. И наконец, я не могу понять все сразу, досконально разобраться во всех вопросах. Слабеют моя мысль и мое чувство... Жизнь внезапно становится столь огромной, что охватить, обнять ее невозможно. Но я благодарен ей за то, что потрясла она меня до глубины души, что заставила заново искать ответы на вопросы, о которых я раньше вовсе и не помышлял. Ныне же шумит спелыми колосьями целое поле этих проблем. Да, ждущее жатвы поле...

...Меняется самый смысл и цель творчества. Раньше мне казалось, что к человеческим ранам нужно прикладывать болеутоляющие компрессы, «компрессы компромиссов» (К. Бинкис). В творчестве царило идиллическое настроение. Идиллия — это прекрасно. Но разве человек может удовлетвориться ею? Оказывается, надо всколыхнуть, потрясти его душу и... И ответить на все его



вопросы?.. Нет! Посеять семена проблем, и пусть мучается, пусть сам ищет ответы... Ты без конца твердил человеку: загляни в себя. Таков ли ты, каким я тебя рисую? Оказывается, не таков... Я преувеличивал... Я лгал тебе... Я показывал тебе безупречного героя... А можешь ли ты быть таким? Нет, не можешь. И ты отшвыриваешь мою книгу. А не следовало ли показывать тебя иным: не монументально завершенным и гармоничным, а терзаемым сомнениями, смятенным? Показывать не законченную скульптуру, а весь процесс ее лепки? От несовершенного — к более совершенному? Да. Надо раскрывать внутреннюю реальность человека. В творчестве должны отражаться его противоречия и сомнения. Будем же показывать человека не упрощенным, а бесконечно сложным. Человек велик не тем, что уже сформировалось в его сознании, не угасшей внутренней борьбой. Когда все уже завершено в душе его, он становится прозрачным, словно осколок стекла. Он не захватывает внимания, не волнует, как потухший вулкан. Интересен лишь кипящий лавой, грохочущий... Человек велик, когда не может еще осмыслить происходящие в собственной душе процессы, когда формируется в нем нечто еще не познанное, когда он хочет понять самого себя. Поэтому-то указатель направления поиска в искусстве повернулся в эту сторону. Что же теперь будет? Прежний путь был куда легче. Если человек понимает сам себя, — отсутствуют сложные конфликты и в искусстве, в этой науке познания человека. Но когда человек еще не понимает себя, а лишь стремится понять, тогда в искусстве усиливается стремление к самоанализу — вспыхивают отсветы глубинных процессов, совершающихся в действующем вулкане. Итак, каков же этот вулкан — полный противоречий, беспокойный? Или потухший, остывший? Если человек окончательно сформировался и для него не существует больше никаких мучительных проблем, тогда ему нужна более или менее ясная поэзия. Слова в ней становятся однозначными, не скрывают за собой символов, не несут какого-то особого подтекста. Если же вулкан не потух, ему необходима незавершенная мысль, не пройденная до конца дорога, ибо неясно еще, как ответить на вопрос, ибо человек знает лишь то, что «ничего не знает». Дорогой мой, попытаемся вместе поискать ответ. Меньше станем доверять своему знанию, своим силам. Будем искать плечо читателя-друга. И ра-

ботать вместе с ним... Так труднее? Гораздо труднее: Легче всего поставить все точки над «і». Но это неправильно. Жизнь каждый день преподносит нечто новое. Успокаиваться преступно. Еще столько тайн. Надо искать, искать и искать (адекватно Достоевскому: «страдать, страдать, страдать»). Если бы все было ясно, зачем тогда писать? «Искусство — вечный поиск» (П. Пикассо).

...Мой добрый друг, кому нужно такое рвение? Безусловно, достоин хвалы тот, кто, по словам Гёте, стремится к недостижимому. Но разве не следовало бы нам быть скромнее и проще? Никакой новатор ничего из ничего не создаст. Только из деталей, из мелочей, из уже созданного. Осмыслит по-новому, переработает... Да, да. А ты все беспокоишься, мучаешься, стремишься к чему-то и не можешь ясно сформулировать — к чему? Трудно согласиться с некоторыми твоими утверждениями. Ты заявляешь: мы ничего не можем брать у прошлого, ибо у нас иное направление. Что же остается? Отказаться от всего, бежать в пустыню, стать анахоретом и пытаться на голом месте сотворить нечто невиданное, огромное, необыкновенное (выросла ведь на пустом месте новая бразильская столица!)? Похвальное желание. Но... почему не синтез всего, что было хорошо и красиво, что уже хорошо, уже красиво? Синтез культуры — самый трудный путь.

...Сегодняшняя поэзия опережает прозу. И не чем-то особенным. Нет. Опережает своей смелостью. Прозе труднее. Огромен ее фронт, и ей просто сложнее маневрировать. Проза — тяжелая артиллерия. Но приходит время заговорить и тяжелой артиллерии.

...Голова человека — чудесный клубок мыслей. Течет и течет нить мысли... И никто не в силах остановить ее. Можно оборвать на время, но не остановить. Движение мысли не зависит от воли отдельных личностей. Неразрывна прекрасная вечная нить...

...Страшусь поэтической гигантомании: Ты мечтаешь об эпических полотнах. Лепишь один к другому осколки жизни, чтобы создать монумент... Боюсь поэтической гигантомании. Боюсь эпических, крупноформатных поло-

тен. И пишу стихи. Собираю красивые камешки и многоцветные ракушки, люблю ими и складываю из них мозаику — книгу стихов. А читатель пусть уж сам составит себе образ мира из множества сверкающих осколков. Единство мира не исчезает и тут. Я только считаю, что мозаика, сложенная из большого количества маленьких, хрупких и интимных стихотворений, тоньше, теплее. Единство мира кажется раздробленным на множество мелких частиц. Но каждый такой осколочек ярко сверкает. Большой монумент, высеченный из монолита, производит слишком однообразное впечатление. Он концентрирует внимание в едином фокусе, в одной точке. Произведение же, составленное из частиц, обладает огромной центробежной силой, широко рассеивает внимание по сторонам. База любого монументального произведения узка, и оно поднимается вверх (колонна). Творение, составленное из частей, широко: детали его распространяются по всем направлениям. Монументальность может перерасти в своего рода манию, и поэт станет своеобразным маньяком. Современная эпическая поэма вдруг, иногда вопреки воле своего создателя, может начать раздуваться, разбухать, деформироваться и растекаться по земле, подобно тесту. И превратится она в бесформенную массу. Классика во многих отношениях уже неповторима. А стремление уподобиться ей (преимущественно внешне) опасно. Не получится ли тут ложная, псевдоклассическая монументальность? Замечаю, что монументалисты начинают этак свысока относиться к творчеству художников малых форм, интимных поэтов, камерных композиторов. Они постоянно твердят, что нужда в *таком искусстве* прошла, что изменилась, дескать, жизненная база, возникли иные условия, что искусство такого рода уже не отражает действительности и... надо создавать нечто совершенно новое, небывалое... Но понимают ли они, что в своем стремлении к новациям отстаивают давно уже похороненные взгляды? И их идеи клонятся к тому, что тоже *уже было*? А именно — к классике. Подобные попытки делались. Старались преградить путь живому, человеческому искусству, согретому подлинным гуманизмом и искренним чувством. На пути такого искусства воздвигали монументы из холодного камня, безуспешно пытались копировать античность. (Монументальность-то скопировать удалось. Но человечность, простота, тепло, грация и другие чер-

ты классических произведений были в этих монументах вытеснены напыщенностью, высокомерием и позой.) Играть в монументальность не следует. Это опасно для искусства.

...Началась эра атома и космоса. А поэты, музыканты, художники не готовы к приятию ее. Повседневные заботы пригибали поэзию к земле. Не хватало времени взглянуться в пространство, в даль, взглянуть на звезды. Мы привыкли буднично ползать по плоской поверхности. Стали практичными. Вся наша лексика, все краски и звуки, которыми пользуемся мы, стали заземленными, неяркими, приглушенными, несмелыми. (Рафаэль и Веронезе умели передавать чувство бесконечности, рисуя синеву небес — прозрачную, словно голубой глаз, и Бетховен мог, как Зевс-громовержец, единоборствовать с космосом.) Нам же не хватает словаря, недостает образов, метафор, годных для описания космической романтики. Земной наш словарь слишком беден, слишком утилитарен. В слове (вернее, в словесной массе) надо отыскать ритмы космических пространств, ассонансы космических звуков. Кое-кто пробует писать, кое-кто пытается рисовать, поднимая космические темы. Первые робкие шаги. Не хватает фантазии, слуху неведомы космические звуки... Земной опыт здесь не поможет. Надо искать более широкий, условный образ, искать язык символов и аллегорий. И разумеется, необходим смелый романтический взлет, подобный космическому полету. Больше необыкновенной неземной красоты...

...Творец, ты обязан работать всегда, когда тепло и когда холодно, когда сыт и когда голоден, когда хорошо на душе и когда скверно. Даже в тот час, когда решается судьба твоего детища. Ты должен все забыть. Скрыться, как скрывается в своем домике улитка, от всех соблазнов и думать лишь об одном — о том новом произведении, над которым сейчас работаешь. Если то, что создано, хорошо, оно когда-нибудь все равно будет оценено по заслугам, а творец — вознагражден: немного дольше проживет на свете. А это самое главное... Именно в такой вот памятный день я заставил свое сердце не волноваться и забыть обо всем. И написал отличные стихи. И настроение, как после всякого успеха, светлое и доброе...

...Я был наивен и полагал, что замеченные мной недостатки легко поправимы. И бросился с ними в бой... Ныне же столкнулся с сильнейшей, текущей мне встречью волной. Что случилось? Ничего особенного. Просто я как бы повернулся несколько необычной стороной: высказался против архаики, против анахронизмов, оставшихся еще в нашем быту, образе мыслей, творчестве. Призывал товарищей расширить свои возможности. И теперь пожинаю плоды своих трудов... А мне-то казалось...

...Написал книгу стихов о человеке. Но разве это не самое начало? Можно сказать, я лишь нащупываю мысль и тему. Громадная тема. А книга — только первый шаг. Первая робкая попытка написать что-то посложнее, поспорить ради человека с различными мнениями о нем, поискать решения человеческих проблем не в бытовой, а в философско-гуманистической плоскости. Пришло время более глубоких раздумий. Объектом человеческого мышления становится сам человек. Начинаем раздумывать о судьбе человека. Лирика пробует мыслить. Но это не усложненная лирика: ее содержание просто и понятно, философские позиции ясны, гуманистичны. Человек действует, живет и трудится, освещаемый солнцем. Он не бродит во мгле. Однако эта идея была понята не сразу. Пришлось услышать даже циничные насмешки. Я, правда, избрал несколько необычный путь: расчленил целое на части. Может, и правда подобным образом поступали кубисты. Монолит? Нет, человек. Но собранный из отдельных элементов (руки, ноги, губы, глаза, шаги и т. д.). Кое-кому было приятно над этим поиздеваться, этак со вкусом похихикать, переваривая пищу после обеда. Что ж... Мой взгляд не изменился. Человек столь велик и сложен, что охватить его единым взглядом трудно. Я изучал и собирал из отдельных частей монументальный скульптурный портрет человека. Теперь надо делать следующий шаг. Хотелось бы написать большую книгу, где был бы представлен не только *скульптурный*, внешний, но и *внутренний* портрет человека, может быть, и все окружающее его. Все больше раздумий о судьбе человека, о смысле его жизни. Надо работать над большой, волнующей книгой, центральной осью которой должен стать человек. И вокруг него пусть вращаются вся его жизнь, все вещи, явления и предметы, все чудеса природы. Поэзия

(особенно лирика) — исповедь поэта. В искусстве каждый художник прежде всего стремится увидеть себя, хочет выразить и познать себя. Это не субъективизм. Художник — такой же человек, как и все. Он только приподнимает уголок занавеса, скрывающего от других чудеса этого мира, и показывает неведомый им таинственный мир красоты. Диалог между людьми. Человек говорит с человеком. И человек понимает человека...

...Ночь. За окном падает и падает снег. Слышу, как шаркает скребком по асфальту дворник. Хочет очистить тротуары, чтобы утром легче было пройти. Усердный работник. Заботливый человек... А шум города стихает. Дома уже спят. Только я все сижу, не могу прекратить свою работу. И сердце как-то тупо и тяжело давит, и голова гудит. Но в ней полно замыслов, полно планов. И нить мысли бежит, бежит... А за окном крупными белыми хлопьями, похожими на бесчисленных ночных бабочек, падает снег, кружит в лучах фонарей. Тихо и спокойно. Кажется, весь мир погрузился в сон. Только в комнате у настольной лампы не спится чудачу-поэту, и скребет, чистит тротуары дворник. Может, и он — чудак?.. Другие дворники, кажется, не выходят по ночам сгребать снег. И другие люди мирно спят. Утром, хорошенько отдохнув, встанут и примутся за дела... Так поступают нормальные люди. А я все думаю об этом дворнике-трудяге. Однажды мне рассказывали о нем. Он смешной и одновременно рассудительный человек. Сказали ему, что тут живет писатель. Дворник ухмыльнулся и спросил: «Писатель? Ну и что? Умел бы я писать, тоже книги сочинял бы. Писатель! Подумаешь, большое дело!..» Да, странный человек. Обычно люди так не работают. Надо беречь силы. А этот? И день и ночь метет и скребет свою улицу. Странный... Вот как думают о человеке: если слишком усерден, слишком много работает, значит «не все у него дома»... Глубокая ночь. Летят ночные бабочки — крупные хлопья снега. Дворник скребет тротуар. И сметает снег в кучи... Кажется, во всем мире воцарилась тишина. Вся вселенная глубоко-глубоко спит. Лишь двое бодрствуют... Разве так уж необходимо, чтобы людям было удобнее, лучше, красивее? Выйду-ка на улицу. Поговорю с дворником...

## НОЧНАЯ ПРОГУЛКА

Снег...

Бело...

Ах, наверх взгляните!

Паутина какая —

бела и длинна!..

Я хочу разорвать эти нити,

я хочу из них выбраться,

словно из тяжкого сна!

...Не могу!.. Не могу!..

Несмотря на усилья!..

Кстати, птицы в отлет собрались в предчувствии выюг.

Мне бы тоже расправить крылья,

рядом с синею сказочной птицей лететь бы на юг...

Ветра зимнего

переплясы...

...Холодно мне...

А снег так бел и так чист —

он лежит, как *fabula gasa*,

словно чистый,

словно неисписанный лист.

Белоснежную нитку беру я в руки —

и, как жизнь, разматывается колобок

белой пряжи...

Бегут между пальцами струйки...

Уменьшается, тает, раскручивается клубок...

Полегчало, чувствую. Полегчало.

И барочной ночной философии

сбросил я гнет...

...Возвращаюсь в пространственные начала —

из исходной

в конечную точку.

И вот,

начинаю в душе — на чистой таблице —

след — пунктир

в измеренье пространств и времен...

А над снежным простором  
поют певички  
песню вечности.  
Ею сугроб занесен...

В воздухе дрожь паутины, как легкого газа...  
...А в той паутине — глубь,  
и там два грустных чюрлёнисовских глаза  
и эфемерная улыбка губ...  
— Ах, ведь это сказка!  
Чюрлёнисовское найтье —  
белая-белёшенькая  
паутина снежного дня...  
Но она раскручивающейся нитью  
опутывает меня...  
Я хочу разорвать их,  
вырваться из этих  
мною перепутанных  
снежных тенет...  
...и?...  
— О — нет...

## ПАУК

...В паутине дрожащей  
белейшего снега —  
в центре — черный рояль,  
как паук-крестовик...

Шелковистою бабочкой, прыгнувшей с неба,  
бьется девушка в вальсе, как солнечный блик...

Этот вальс уже умер, успел превратиться  
в бронзу старых надгробий и в каменный бюст,—  
для плясуньи он жив,  
и жива танцовщица...

...Я на танец гляжу, и томит меня грусть...

А рояль, как паук,  
он испил ее крови...

Бьется шелковый вальс,  
как ночной мотылек...



Поезд ближе, все ближе... На темном перроне  
я услышу: прощай! Этот миг недалек...

Блещут волчьи глаза над гремящим железом,  
черным гробом вагон подплывает,  
и вспять  
уплывает перрон...

...Поезд скрылся за лесом...  
Я гляжу вслед ему и грустнеею опять...

### УЛЯЛЮМ

Я подумать боюсь!..  
Но от дум не уйти —  
вечна память —  
могу позабыть ли!..

...Поезд тот не свернет со стального пути,  
а два глаза к окошку прилипли...

Страшный поезд унес ее в темный туннель,  
навсегда мое счастье похитил,  
и туннель перед ним словно черная цель,  
по которой стреляет грабитель...

Поезд,  
поезд...  
...в купе его полдень угрюм,  
мнится ночь беспросветной и длинной,  
и в могиле своей заперта Улялюм,  
навсегда обвита паутиной...

Бьется сердце железному поезду в такт,  
в такт гремящему старому вальсу:  
— Это ты,  
это так,  
это ты,  
это так! —  
И уходит все дальше и дальше...

У... у... у... — этот поезд...  
Вокзал недалек...  
Эта станция будет прекрасна!



С удилицем мотаюсь,  
пересекаю лес...  
Увидеть не пытаюсь  
в ручье моих небес...

Зима легла до срока  
бела и глубока,  
как Александра Блока  
заветная строка...

...А слово остается...

## ПИСЬМО

Снег. Покрывало. Льянное.  
Правда. В строках. Письмеца.  
Вьюга. Письмо. Ледяное.  
Вечер. Метет. Без конца...

Снег. За окошком. Ложится.  
Трубка. Дымится. Во мгле.  
В окна. Никто. Не стучится.  
Холодно. Мне. На земле.

А человеку. От века.  
В мире. Тепло. Суждено.  
И человек. К человеку.  
Должен. Стучаться. В окно.

Вьюга. Письмо. Ледяное.  
Вечер. Метет. Без конца.  
Снег. Покрывало. Льянное.  
Правда. В строках. Письмеца.

## МОТЫЛЬКИ

Кружат и кружат снежинки,  
маленькие мотыльки...  
Кончился вальс под сурдинку:  
кружат и кружат снежинки,  
веселы, нежны, легки...

Кружимся в вальсе, несемся,  
мельничным крыльям под стать —  
ждали — поднимемся к солнцу,  
с вальсом к нему вознесемся,  
будем под небом летать...

Крылья кружились, кружились,  
но налетел тяжело  
ветер, как ворон, спустились  
тучи, и крылья разбились,  
мельницу нашу смело...

Вейтесь, кружитесь, снежинки,  
музыка вальса слышна...  
Кончился вальс под сурдинку...  
Вейтесь, кружитесь, снежинки,  
бабочки летнего сна...

## ПУРГА

...Вальс кружился —  
белый, белый  
снежный ком...  
Голос мой  
день целый, целый  
мчался вслед...  
Снежный вальс  
гудел, гудел и  
вечерком  
голос мой  
слабел, слабел и  
падал в снег...  
...Кружит снег,  
все кружит, кружит  
вальса нить,  
и все туже  
вьет и выюжит  
ткацкий стан...  
...Будет вальс  
во стуже, стуже  
вить-кружить...  
...Белый голос  
спит, завьюжен...

**А орган  
баховскою фугой —  
динь-дилинь-динь-дон.  
Колокольчик сердце  
осыпает льдом...**

**— Что там! Чьи там сани!  
— Чьи там поезда!  
— Снежный вальс рояля  
катится сюда!**

**Баховы органы —  
динь-дилинь-динь-дон!  
Колокольчик сердце  
осыпает льдом...**

**...Спит мой белый голос,  
а над ним — снега,  
спит он, словно озимь,  
а над ним — пурга...**

**Занесла пороша,  
заволок туман,  
занесли сугробы  
баховский орган!**

**Динь-динь-динь! —  
в сердце стынь,  
но не сгинь,  
но не сгинь —  
— динь —  
— динь —  
— динь — — —**

...Еще Микеланджело говорил, что «рисуют головой, а не руками...». Того же самого — чтобы думали, когда рисуют, — требовал и Стендаль. Роден очень точно сформулировал эту мысль: «Картина не протокол». Ничего особенного не откроет нам наружное сходство сущего и написанного художником мира. Литература и искусство скорее отражают общие тенденции жизни, основное направление, интеллектуальные устремления... В настоящее время у человеческого общества больший прогресс в экономике, политике, науке, чем в культуре. Время, в которое мы живем, конкретно и реалистично. В борь-

бе за счастье человека первое место в нашем веке принадлежит экономике. Конкретное и четкое предложение благ человеку. И человек не отклоняет этого предложения. Оно имеет для него первостепенную важность. Следом идет политика. Затем наука. Литература и искусство не обладают такими эффективными ресурсами, не могут делать столь соблазнительные предложения. Они их и не делают и поему часто отходят на второй план. Становятся необходимостью второстепенного значения. Прогресс материальной жизни, победы демократии, гигантские искания науки — вот что характеризует, вот что является самыми яркими чертами нашего века. В практической деятельности, в науке, производстве все чаще слышится слово «новатор». Поощряются наиновейшие методы в научных исследованиях, в технике и организации труда. Поощряется все, что неожиданно удивляет, что отражает беспокойство, неудовлетворенность достигнутым и постоянные искания человека-творца. Словом, прославляется борьба. Борьба за новое. В первых рядах искателей и производителей материальных ценностей шагают новаторы. А в искусстве? Труднее. Однако и здесь пробивает себе дорогу новое. Художник начинает понимать, что без поисков нового искусство не отразит тех беспокойных исканий, которые так заметны сегодня в человеческой деятельности. Значит, формула такова: искания в жизни (в практике) рождают искания в литературе и искусстве (в духовной деятельности). На производстве и в науке слово «новатор» окружено уважением, произносится с гордостью. О литературе и искусстве этого, увы, пока сказать нельзя. Тут слову «новатор» иногда придают уничижительный, насмешливый оттенок. Не понимаю, почему происходит такое даже в прогрессивном обществе. Во все времена литература и искусство шагали в ногу с жизнью, помогали человеку формировать идеалы, обогащали духовное содержание, облагораживали душу человека. Искусство прокладывало дорогу прогрессу. Ныне, увы, создается впечатление, что прекрасные традиции и непосредственные функции искусства по воспитанию человека перенимает наука. Литература как бы устала, замедлила темп и стала плестись в хвосте. Мне кажется, что не без оснований повторяют сегодня крылатое слово поэта: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне». Есть немало количество индивидуумов, которые вроде бы идут

куда-то, но куда — не ведают. И даже не собираются никуда прийти. Просто топчутся на месте и только... С космической скоростью рвутся вперед люди с молодым сердцем. Эта группа людей, юных сердцем, обязательно хочет прийти к цели. В литературе слово «молодой» имеет несколько значений. Есть молодые, которые сочиняют устарелую лирику. Что значит устарелую? Значит, апатичную, лишённую надежды, осеннюю, преисполненную страхом смерти лирику, от которой веет холодом равнодушия. И есть не столь уж молодые, если подсчитывать их годы, люди, которые творят энергичную, весеннюю лирику, полную надежд и веры в человека, лирику, от которой веет теплом бытия. Характер творчества зависит не от возраста творца, а от молодости его сердца, его духа. Хорошая поэзия всегда молода. У настоящего поэта вечно юное сердце. Значит, «молода» та лирика, которая видит дальнюю перспективу (у молодости впереди, в будущем, — горизонт, та жизнь, которую предстоит ей прожить). «Старой» же называю я лирику, которая уже не видит перспективы. Это усталая, безнадежная, никуда не зовущая человека поэзия. Она никуда не ведёт его и никуда не приводит. Все мы — люди, человеки и, конечно, чувствуем «электрическое напряжение» своего времени, времени взрывов, землетрясений, космических катаклизмов, великих катастроф, которые трагически настраивают наше тело и душу. А поэты — чуткая мембрана общества — наиболее восприимчивы... Однако, как бы ни была сложна и тяжела жизнь, панике, фатальному страху поддаваться нельзя, надо гнать от себя философию, утверждающую, что бытие — это цепь катастроф. Конечно, в нашем мышлении в том или ином аспекте отражаются все эти моменты. Мы уже не способны жить идиллическими настроениями минувших столетий. Но современные технические факторы выглядят по-одному, когда видишь далекий горизонт, чувствуешь перспективу времени, и по-другому — когда горизонт перед тобой теряется во мгле, время останавливается, замороженное температурой, близкой к абсолютному нулю, и перспективы у тебя нет. Мир не собирается погибать! И у кого только возникла апокалиптическая идея грациозно сплясать в канун его гибели последний предсмертный танец? Тотен-танц — гимн декаданса. У подножья нью-йоркских небоскребов небесталанные наши коллеги — молодые американские

писатели, именуемые здесь битниками, отравляются наркотиками, пьянеют и, погружаясь в видения предсмертного часа, в обнимку со скелетом Костлявой Дамы отплясывают последний твист. Видел я сей танец. Что ж, признаю: рисунок этой «апокалиптической хореографии» талантлив. Однако согласиться с этим танцем у края пропасти, по существу, не могу. Еще один прыжок, нога скользнет, запнется — и ухнут танцоры в бездну, где царят черная ночь, философское неведение и великое Ничто... Нет, не по мне этот твист. Мой мир содержателен, материальные и духовные ресурсы его огромны. Но мы должны экономить их. Не только экономить: развивать, накапливать новые ценности. Дешевые погремушки искусству не нужны. Ему потребна глубоко осмысленная точка зрения. И целенаправленность. Дорожный указатель ведет нас к улице, на первом же здании которой прибита дощечка с надписью «Улица Жизни»... Призвание литературы — вступаться за человека. Многие накладывают на него оковы догм, тормозят биение сердца, хотят умалить его, сделать покорным и послушным... Кто же встанет на защиту человека? Искусство. Такова его гуманистическая цель. Художник жертвует собой. Во имя человека. Он идет на единоборство с врагами его. Диалектические противоречия жизни угнетают и освобождают человека, осуждают и защищают его. «Таков закон: угнетение порождает свободу, свобода — рабство...» — говорил Радищев. Вращается вечное колесо жизни, цивилизации и культуры; оно не останавливается ни на миг; вертится — повторяется, но вращается по спирали — все выше и выше; каждое обращение его вокруг оси одновременно является ростом во времени (еще одна историческая фаза) и в пространстве (еще больше покорена природа и произведено еще больше новых ценностей); увеличивается и поднимается спираль; с каждым циклом поднимается и растет круг, охватываемый жизнью, и одновременно поднимает он вверх прикованного к себе (как в той сказке — к жернову) человека. Так растет подхваченный круговоротом жизни, всегда зависимый от него человек...

...Поведение некоторых людей, стремящихся вспять (нарушаются правила движения!), напоминает мне действия неразумного Герострата. Возжаждав славы, стремясь запечатлеть свое имя в истории, он поджег храм



богини Артемиды. (Любой ценой остаться в истории!) Рисканный шаг. Конечно, можно разрушить великое дело или великую красоту и тем сделать свое имя известным самым отдаленным поколениям. Но что с того?..

...Хорошо сказал Уильям Фолкнер: писателю требуется 99 процентов таланта, 99 процентов дисциплины, 99 процентов умения трудиться. Писатель никогда не может быть удовлетворен своей работой, ибо она никогда не бывает так совершенна, как должна бы быть. Поэтому нам всегда надлежит мечтать и думать о большей значимости, о большем значении, о большем будущем нашей работы. Ничего хорошего не создаст тот, кто собирается превзойти своих современников или своих учителей. Художник должен стараться превзойти самого себя. По словам Шатобриана, оригинален не тот, кто не подражает никому, а тот, которому не может подражать никто. Следовательно, главное — воспитывать в себе оригинальную, совершенно своеобразную, несхожую с другими личность. Прежде всего художнику надо найти в себе себя, затем уметь воспитать себя; самое же большое искусство — уметь посвятить себя жизни. Это самое трудное. И еще: подлинный художник, как утверждал Бетховен, не честолюбец, он слишком хорошо сознает, что искусство не имеет границ. Он всегда ощущает расстояние, отделяющее его от цели стремлений. И может быть, когда люди восторгаются им, он страдает из-за того, что не удалось ему достичь своего идеала — вершины, которая сияет, подобно солнцу, этому величайшему гению жизни...

...Художник — словно спортсмен. Важна постоянная тренировка, нужно учиться правильно дышать. Ритмично. Чтобы не уставать слишком скоро, не задыхаться. Эту науку преподает художнику жизнь. Зрелый художник знает больше, нежели начинающий. Он не совершает элементарных ошибок. Дышит ритмично и глубоко, по всем правилам. И поэтому реже задыхается, реже выдыхается. Его легкие всегда полны воздуха, а кровь не испытывает недостатка в кислороде. Очень важно знать правила верного дыхания, особенно когда собираешься приступить к монументальной скульптуре (к эпосу), делу, требующему выдержки и бесконечных физических сил...

Без сомнения и экономика, и техника, и наука служат жизни, служат человеку. И конечно, искусство. Лишь недалекие люди способны думать, что искусство может служить самому себе. Искусство — для жизни и человека! И только так. Для какой жизни и для какого человека — другой вопрос. Те же, кто привык к чисто непосредственному восприятию действительности и оценке ее явлений, те, кто способен усвоить лишь терминологию, впрямую называющую вещи своими именами, не могут понять некоего весьма важного и существенного отличия искусства: оно говорит собственным, одному ему присущим языком, хотя повествует о тех же самых явлениях, что и экономика, и техника, и наука. И там, где они реагируют на какое-нибудь явление непосредственно, искусство отзывается косвенно, иным языком, образно, эмоционально. Так искусство осуществляет свои права, свою автономию. Тут-то чаще всего и возникают разные недоразумения. От искусства начинают требовать того, чего оно зачастую дать не может: а именно — непосредственной реакции. Это значит — требуют от него, чтобы оно стало тем, чем по своей природе оно быть не может, ибо утерять тогда свою специфику, перестанет быть мерилom чувств, вызываемых явлениями бытия.

...Я обещал передать жизни несколько лирических книг — отдал и отдаю. А потом буду писать нечто, никому уже не обещанное. Писать книгу, которой от меня никто не требует и не ждет. Которая нужна лишь мне самому... Много лет назад случилось так, что жизнь, крепко потрепав, отбросила меня в сторону. Я погрузился в себя, начал искать себя. Словно сомнамбулу, окружили меня поэтические видения, кошмары, атаквистические конвульсии. И все время старался я победить их. Этот сон был для меня выше практической реальности — выше сытой, безбедной жизни. Я знаю: когда очнусь от одури этого сна и гляну в зеркало, буду уже старым и седым, поздно будет пользоваться практическими реалиями жизни. Но неизвестно, что реальнее — этот ли мой сон или реалии благополучия...

...Грядущему потребуется все прекрасное, что создано в прошлом, что создается в настоящем. Ему не нужна будет копия, натурализм, параллелизм. А историче-

ские контрасты? Вряд ли. Лучшие условия практической жизни сформируют новое сознание. Прошлое будет побеждено без особых усилий. Сохранит жизнь только великая красота — единственное подлинное создание творческого гения человека, феномен, переходящий от поколения к поколению, из глубины веков в глубины космического будущего...

...Искусство творит чудеса. За окном, покрытым инеем, можно увидеть весну. Самому создать ее — словно зажечь костер. Искра, крохотный огонек — и вот уже пылает, гудит, вихрится могучее пламя. В сердце творца таится эта начальная искра. Высек ее, раздул огонь — и мертвенный морозный иней запылал, засиял весенним светом, закурился дымом цветущей черемухи, белой кипенью вишневого и яблоневого сада. Творчество — это возжигание огня... Этой зимой мы сидели как-то за столом, жена подала щи из свежего щавеля и вареную картошку. Ой и вкусно же было! «Щавель-то зеленый, как весной!» — начала дочка. «Так ведь на улице сегодня весна. Глянь, какой день — солнечный! И деревья зацвели, видишь — как бело! И жаворонки поют... чиру... чиру... чиру... Весна!..»

И так на сердце легко стало, будто и впрямь весна. Ветви деревьев запушены изморозью, под ногами скрипит снег. Зима в разгаре, а на душе весна... Человек видит то, что хочет видеть... Зиму или весну. Окно заиндевело... А на сердце весна...

...«Человек» — только первый шаг. Первое заявление «во весь голос». Кажется, голос этот прозвучал звонко, ясно и сильно, поступь — твердо и уверенно. Человек заявил о себе. Теперь ему надо шествовать дальше. Необходимо ввести человека в более интимную атмосферу, где теплее, спокойнее, тише (где подчас говорят только шепотом). Не громогласные декларации, а задумчивая тишина. История не стоит на месте. Человек многое повидал. Он не желает больше мириться с обидами и бойней. Вид льющейся крови возмущает его. Лицо его сковывала гримаса боли. Теперь оно озарено солнцем. Разглаживаются морщины, теплеет взгляд. На губах возникает улыбка. Человек хочет быть лучше. Возрождается идея гуманизма. И постепенно, понемногу воплощается

в жизнь. Обрастает материей, плотью. Поэтому ныне самое время поддержать эту идею, участвовать в ее реализации. Творчество вступает в новый этап. Самый радостный.

...Тем, кто помоложе, свойственно окидывать мир критическим взглядом. Им многое кажется несовершенным, неразумным, странным. Верится, что все это легко преобразовать, улучшить, сделать рациональнее... Увы, затем наступает пора раздумий, размышлений, обсуждений. Время проверки знания, обретенного другими, период недоверчивой переоценки собственной интуиции, уточнения ее выводов. Человек начинает считаться с чужим мнением, по крайней мере — знакомиться с ним. Понимаешь, что нельзя надеяться только на интуицию, что нужны знания. Необходимо считаться с фактом, который на всех языках мира именуется *культурой*. Проходит еще какое-то время, и многое начинает выглядеть иначе, появляются новые оттенки. Явления и вещи познаешь глубже только после внимательного, всестороннего осмотра. Вначале они выглядят двухмерными, плоскими, и третье измерение — глубину — начинаешь понимать, осознавать позднее. Поэт видит предметы такими, каковы они в действительности — со множеством граней, видит все углы и любые малозаметные переходы и нюансы цвета. Поэтическая зрелость — это рельефное познание мира.

...Говоришь, что мы сообщаем «общеизвестные истины»... А о чем еще следует писать? Мне хотелось бы уточнить одну деталь, одну незначительную мелочь. Я не пишу. Я пою. Я поэт. *Ich singe wie der Vogel singt*. Поэт — птица. Поэт — соловей. И если песня его прекращается — сердце останавливается. Все кончено... Как создаются народные песни? Обратим свой взгляд на Восток. Едет по однообразной и мертвой пустыне человек, мерно шагает его верблюд, и если живет в душе человека поэзия, он поет обо всем, что видит его глаз, что слышит ухо. Он воспевает окружающий мир: солнце, небо, тучи, ветер, деревья, песчаные барханы, птиц, людей, далекие оазисы... Все, с чем сталкивается поэт, становится объектом его поэзии. Может, это примитивно? Нет. Так делаем и мы ныне. Только у нас иное ми-

ровосприятие. Ми́ровосприя́тие акына, народного певца — непосредственно, взгляд на окружающую среду прост. Он стихийный натурфилософ. Поэт большого города воспринимает действительность иначе — сложнее, глубже, шире. Более значителен багаж его знаний. Но урбанистическая поэзия теряет другие важные элементы — живительную естественность, ту первозданную простоту, которой отличаются песни, сложенные народом. Мне кажется, и сегодня, и в наше время, поэту следовало бы иногда путешествовать верхом на своем верблюде, чувствовать, наблюдать окружающий мир и воспевать его. Именно — воспевать. Надо вернуть себе это естественное отношение к миру, к действительности, чаще и непосредственнее сталкиваться с повседневными явлениями и петь о них искренне. Если повседневность описывается — она прозаична. Если воспевается — в ней находишь поэзию. Надо вернуться к изначальной простоте, облагородив ее высшими достижениями интеллекта. К чему строить все стихотворение по очень сложной схеме? Но и «газетный примитив», написанный в соответствии с шаблонным требованием «все должно быть понятно», тоже не нужен. Повседневность не в этом. И не в этом простота. Такое «всем понятное» — весьма неприятно... А простота — свойство неповторимое. Ценнейшая черта творчества. И получить драгоценное сочетание — сплав простоты и интеллекта — дело трудное. Нужно уметь чувствовать ничем незамутненное первичное очарование. Мы было превратили поэзию в своеобразную служанку политики. Теперь кое-что пересматривается. Пересматриваем и отношение к поэзии. Жизнь стала много проще, яснее, понятнее. Мы избавились от стеснявших нас догм, которые очень усложняли бытие. Частенько мы писали не то, что следовало писать. И представляли себе мир очень сложным. А в жизни, оказывается, все много проще. Есть работа, борьба, предметы и явления — мир, и ко всему этому следует относиться непосредственнее. Не к чему иметь слишком много тайн. Тайною должна быть сама поэзия, само искусство. Человек знакомится со стихотворением, он в восторге, но не может понять, в чем тайна поэта, каким образом из самых простых, обыденных, всем известных и понятных истин непонятным образом создает творец прекрасное. Иная «таинственность» не нужна, если мы хотим, чтобы нас читали и понимали.

...Статья, которую я недавно прочел, содержит единственное серьезное и справедливое замечание. Стихотворения действительно слишком отделаны, «изукрашены». Иногда нужно больше твердости, повседневности, этаким простоты грубого комка земли... Стихотворения должны быть разными. Одни — изящны и красивы, праздничны. Другие — просты и шероховаты, будничны. Стихотворения — праздники. И стихотворения — будни.

...Юному кажется, что у него еще все впереди, что он еще все успеет сделать — проживет две, три жизни. Ему кажется, что пространство, окружающее его, беспредельно, и время, в рамках которого он действует, бесконечно. С годами эта уверенность исчезает. Пространство сжимается, как шагреневая кожа у Бальзака. Выясняется, что и время отнюдь не бесконечно. И человек начинает сознавать, что сделано им слишком мало. А сделать предстоит очень много. И его принимаются мучить и преследовать призраки — задуманное, но не осуществленное...

...Борьба никогда не завершается. Достигнут более высокий уровень, но его немедленно начинают атаковать микробы несовершенства. Несовершенство всегда сильнее и живучее, нежели хилый новорожденный — совершенство, всегда активнее и агрессивнее его. Совершенство вынуждено вести постоянную и длительную борьбу за свое существование, трудно завоевывать победу. И все равно, триумфальные фанфары окончательной победы никогда не трубят ему финального торжественного марша...

...«Науку,— сказал на одном юбилее Эйнштейн,— могут двигать вперед лишь те, кто вдохновляется жаждой постижения истины, желанием раскрыть гармонию мира. Я не могу представить себе ученого без такой глубокой веры». Без этого же нет и поэта. Он просто ремесленник...

...Поэтическая форма может быть столь совершенной, что сама по себе переходит в содержание, превращается в содержание. Сама форма составляет суть произведения. Но это особые случаи, поэтические аномалии, характерные для гениальных творцов... Наилучшей, ду-

мается мне, будет такая форма, которая выросла из реальных корней конкретной земли и потому представляет собой специфически народную форму. Одновременно она должна диалектически меняться, развиваться, опираясь не только на собственный, но и на интернациональный опыт. Лучшая форма — усовершенствованная национальная форма, стремящаяся приблизиться к наиболее высоким образцам, созданным человечеством. Словом, не локально ограниченное, а высокое национальное искусство, которое могут понять и полюбить миллионы. И еще — не нивелированное, подрубленное, лишенное корней, какое-то повисшее в воздухе искусство. Обязательно — с мощной корневой системой. Обязательно — пустившее в землю глубокие корни. Тогда крона его поднимется очень высоко. Каждый художник, исходя из этого принципа, должен искать и собственное, чисто человеческое, чисто индивидуальное решение. В этом направлении и следует осуществлять серьезные искания. Корнями — глубже в землю, ветвями — выше в небо!..

...Тема человека... Вновь и вновь всплывают разные, ранее незамеченные его черты, новые аспекты, историческая горизонталь ситуации, перспективы. Растет огромная пирамида из слов и строф, терпеливо возводимая в честь Человека (в честь современного мне человека). Если разрешит судьба и выдюжит сердце, стану и дальше обтесывать глыбы слов для этой поэтической пирамиды, которую не так-то легко будет разрушить. Теперь цель жизни моей: создавать внутренний портрет Человека, воздвигать монументальную поэтическую пирамиду в его честь.

...«Истину надо повторять постоянно, ибо кругом также постоянно проповедаются ошибки». Эти превосходные слова Гёте, видимо, некогда не без нужды сказанные, вдохновили меня терпеливо совершать витки вокруг одной мысли. Однако кружить не на одном месте, а поднимаясь по спирали, делая каждый следующий оборот выше предыдущего. Что же это за мысль? Что явилось осью, на которую долго и терпеливо наматывались витки спирали? Человек. Мысль о Человеке. И о Поэзии: как соотносится она с Человеком... Значит, Человек... Вероятно, столько же тысячелетий, сколько су-

существует на земле это разумное творение природы, идет борьба за освобождение человека. В этой борьбе с незапамятных времен участвуют все прометеевы силы человечества, все его лучшие традиции и новаторские искания, экономика и наука, политика и искусство. Прометеевы бойцы — это люди, у которых в груди горит неугасимый огонь, то пламя, которое никогда не позволяет человеку успокоиться, замкнуться в хрупкой экзистенциальной скорлупке личной жизни и забыться в длительном сне. В передовых шеренгах человеческого рода шагают эти прометей. Жертвуют собой, постоянно о чем-то беспокоятся, чего-то ищут. У косного мира всегда было и сегодня существует желание унижить почетное звание прометеев, умалить их самоотверженный подвиг. Основатели формальных поэтических школ презрительно отзываются о поэзии, ведущей свое происхождение от прометеева огня, отождествляющей свои цели с прометеевыми целями. «Аристократам духа», пропагандирующим апокалиптический пессимизм, прометеево служение человеку кажется плебейским и потому суетным, жалким... Конечно, каждый имеет право избрать аполлонов или прометеев путь в поэзии. Имеет право отстаивать и защищать свой выбор. Пусть всем будет разрешено воспользоваться этим правом. Должен признаться, что я не игнорирую форму. Меня восхищает красивый сосуд. Однако он должен быть наполнен вровень с краями! Да, пусть изящная форма — но прометеево содержание!.. Прометей! Увы, далеко не каждый человек имеет право на это имя. И тот, кто получил высокое звание борца, должен уважать его, ценить, должен дорожить им. Не только относиться к нему с пиететом. Чувствовать свою огромную ответственность! Прометей — носители света — мудры и умелы. Они способны унести огонь с высот Олимпа и подарить его человеку. И этот миг — самый счастливый в жизни прометеев. Ради него стоит идти на все те муки, которые уготованы им, прикованным к скале. Муки всей жизни ничто по сравнению с мгновением счастья, когда в руках человека заполыхает факел, и человек увидит, каким путем двигаться ему к свободе, как избавиться от величественного олимпийского рабства и перейти к более простой, демократической фазе жизни. Прометей — революционеры. Их должен бояться каждый, кто чувствует, что обижает ближнего. Они могильщики, рёю-



щие яму угнетателям людского рода, не боящиеся смерти воители за освобождение человека. Так на протяжении всей человеческой истории вели себя борцы, эти не знающие покоя прометеи, самые светлые представители человечества. Этого не следует забывать. Прометеевой борьбе пытались и пытаются навязать искаженную форму, пытались и пытаются очернить революционный идеал похищения огня... Однако Прометей взял то, что по праву принадлежало людям. Идеал Прометея ясен. Это синтез ярчайших и чистых мыслей, чувств, мечтаний. Это — свет. Это самое благородное, прекрасное, сияющее. И поэтому так трудно осуществим, так трудно достигим этот идеал. Требуется бесконечное самопожертвование, неисчислимы силы. Это ясно. И тому, кто волею судеб стоит на передовой линии фронта, необходимо постоянно помнить об этом. Забудешь эту истину, глядишь, и сражен огнем, который ведут из противоположного окопа. Поэтому всегда надо видеть перед собою идеал. Таковы правила борьбы... Прометеи веками мечтают об избавлении человека от олимпийской тьмы, о духовном освобождении человека и постоянном его обновлении. Цель всех бойцов прометеева лагеря — освобождение человека. От нищеты. От грязи. От горя. От унижения, отсталости, социального и национального гнета, предрассудков. От национальной ограниченности и шовинистического зазнайства. От мертвящего эгоизма. И от обволакивающего душу тупого мещанства. Максимальные задачи стоят перед совершенствующимся человеком. А создание нового человека? О новом человеке многие и слышать не желают. Ясно, это нелегкая работа. Работа над самим собой, борьба с косностью близких, с сопротивлением многих. Новый человек растет медленно, постепенно, то и дело преодолевая в себе прошлое, побеждая препятствия, с трудом поднимаясь на ступень выше — все ближе и ближе к Давиду Микеланджело... Следовательно, освобождение человека — это одновременно и воспитание нового человека. Эти задачи неотделимы друг от друга. Паскаль давно уже создал гуманистическую формулу обновления и совершенствования человека: «*L'homme dépasse infiniment l'homme*» («Человек непрерывно перерастает человека»). Не забудем, что выражению этому немало лет. Но оно довольно точно. И нет большего счастья, чем возможность повседневно участвовать в борьбе за человека. Стало

быть, за освобождение, совершенствование и вечное обновление его. Перерастить гиганта бетховенской музыки? Перерастить Микеланджелова Давида? Трудно и сложно. Однако это подлинная цель, как говорится — реальная ценность. Все другие ценности преходящи и неуклонно блекнут в сравнении с ней. Прометеева цель придает смысл человеческой жизни. Это очень важно понять. Потеряв этот ориентир, поэт фактически лишается всего. Совершенная форма его творений некоторое время еще поблескивает падающей звездой, однако свет ее скоро меркнет. И гаснет навеки. Когда у поэта есть цель, каждое его слово не только сверкает необычайной красотой, но еще несет глубокую гуманистическую идею — служит освобождению человека. Если нет у тебя этой цели, можешь отказаться от всех тягот борьбы и вести аполитичную, спокойную и сытую жизнь улитки. Экономическое благосостояние не является главным фактором в деле освобождения человека. Скорее — это первый шаг к освобождению. В то же время экономика зачастую служит лишь голому обогащению, превращается в самоцель. Разумна только такая экономическая цель, когда за гигантской пирамидой цифр скрывается цель целей, песнь песней — Человек. Следующая по значению цель — осмысленная переделка великой природы по модели, по плану, созданному человеком, переделка и управление ею с помощью всемогущих человеческих рук. Это, разумеется, важно. Однако никогда не следует забывать, что на диаграмме, отмечающей рост человека, параллельно материальной линии идет вторая — духовная, интеллектуальная линия. Жизнь всегда мстит, когда одной из этих линий отдают предпочтение, а о другой почти забывают. Гармония требует равновесия обеих линий. Как только одна из них отстает, на фронте борьбы за человека образуется брешь, в которую проникают холодные олимпийские ветры, дуют сквозняки... И, глядишь, просачиваются в эту брешь солдаты неприятельского войска. Если задувают холодные и ненастные осенние ветры, бронзовую фигуру нового человека начинает разъедать и разрушать ржавчина. Скульптуру эту — эталон нового человека, — которую терпеливо год за годом создавало время, надо оберегать от ненастья, от коррозии, ибо ржавчина — проявление духовной деградации, упадка человека. В годы безвременья, в годы холодных сырых ветров, появляются двуногие особи,

умеющие искоса, по-волчьи поглядывать на самых благородных и чистых людей, способные издеваться над их усилиями освободить человека. От этих зверей, как горох от стенки, отскакивают великие слова любви и братства. Они цинично плюют в вечный прометеев огонь. Это плевок в сердце человека. А сердце борца гордо и самолюбиво. Разве можно позволить кому-то осквернить его? Гуманизм — не слабодушие, не мягкотелость, не всепрощающее добросердечие. Не для того протягивают Прометей свою руку человеку, чтобы двуногие звери могли укусить ее... Нельзя потворствовать низкому эгоизму, вялости мысли, духовному уродству, ожирению души. Когда-то, еще очень молодым, столкнулся я с хищным ликом зверя, именуемого Эгоизмом. И вступил — точно Давид с Голиафом — в неравный бой с ним. Долго длилась эта битва. Много было пролито крови, немало сил было положено в схватках. И наступило время, когда казалось, что Эгоизм отступил. Его звериная морда начала удаляться от меня, погружаться в туман прошлого, в реку забвения. Я думал, что борьба окончена, что никогда больше не столкнусь я с этим порождением мрака. Увы, я ошибался. Прошло время, и вновь показались жуткие клыки Эгоизма. Вновь являл он миру свой отвратительный, искаженный конвульсиями лик. К сожалению, на этот раз многие соратники мои отнеслись к его появлению довольно пассивно. Что может быть горше, нежели забвение бойцом, присягнувшим кровью, своей основной цели, забвение пред лицом врага — Эгоизма, во имя чего вышел он на бой и с кем должен бороться. Надо навсегда похоронить этот страшный лик. В этом и заключается Прометеево служение человеку. Или Эгоизм — или Прометейизм. Середины нет! Компромисса не существует. Нет третьего пути, нет выбора. Есть только борьба. До последней капли крови... Больше насущного хлеба человеческой душе! В борьбе за судьбу человека участвуют не только поэты. О нем думают и за счастье его сражаются и экономист, и генетик, и политик, и физик, и философ, и... и, конечно, поэт. Они идут в наступление широчайшим фронтом. И в этом походе за освобождение человека важное место, без сомнения, принадлежит прекрасному. Путь духовного роста человека, пробуждения его сознания и созревания тернист и долог. И странствующей Душе человека необходим точный путе-

указатель — знак, который бы, стоя на скрещении многих дорог, направлял его мысль по верному пути. Мысль должна идти туда, где она «в конце концов находит скрытую истину» (Леонардо да Винчи). И кроме того, душе необходима красота. Человек — творец прекрасного. И только достигнув вершин созданной собственными усилиями красоты, он действительно сможет почувствовать себя свободным и счастливым. Гуманизм и антигуманизм. Два полюса. Два окопа. Путь старого гуманизма кончается мрачным пессимизмом и капитуляцией художника перед чудовищем по имени Эгоизм. Да, это жестокое, страшное чудовище, дикий зверь. Тяжела неравная борьба. И не все — герои. Не всем хватает сил. Враг сбивает их с ног, и они капитулируют. И тогда им некуда больше идти. Остается лишь одна дорога, да и та ведет к смерти. (Испанский средневековый поэт говорил: «Все реки текут в море, имя которому Смерть». Но Ромен Роллан, если помните, утверждал нечто совсем иное: «Творить — значит убивать смерть». Какая гордая мысль!) «Убивать смерть!» — вот принцип героического гуманизма... В ранней юности я долго шагал в ногу с Жаном Кристофом и потому хорошо понял, что это такое — «убивать смерть». Творить... Творить прекрасное. «Убивать смерть» — подобно гётевскому «*Stirb und werde*». Этому принципу героического гуманизма были верны Шекспир и Бетховен, Рафаэль и Толстой. Они бессмертны. Бессмертны и народы, сотворившие и оставившие нам сфинксов и пирамиды, акрополи и колизеи. Но для того, чтобы пользоваться уже созданными ценностями, особого героизма не требуется. А творцу героизм — необходим. Героизм необходим преобразователям мира, великим революционерам. Гении человечества, властелины мыслей его и чувств — вот подлинные герои земли. Они борются за то, чтобы человек мог осуществлять свою героическую деятельность — творческую деятельность. Только разбудив в человеке героя, можно превратить его в творца. Создавать ценности немеркнущей красоты может только человек героического характера. И новый гуманизм утверждает монолитную, неколебимую героическую личность. Культ смерти устарел. Прометей — человек действия. Он ведает, что за похищение огня ему грозят величайшие муки. Однако он восстает против Зевса, он действует. И если когда-нибудь у человечества возник-

нет мысль о создании культа — оно будет поклоняться только творческой *деятельности* человека. Смерть подобна бесконечному отдыху после бесконечной работы. Она — второй акт. Реализму необходимо, чтобы все в мире стояло на своем месте, лишь тогда сможет он воссоздать силами искусства подлинную картину бытия. Прометеизм требует реалистического познания мира, ибо иначе борьба была бы бессмысленна. Нужно точно знать — против чего и за что следует бороться, нужно иметь ясную цель и четкую программу. Линия фронта пролегает между окопами противостоящих лагерей. В одном окопе — личность, активный творец, герой; во втором — приспособленец, пассивный потребитель, антигерой. Здесь решается судьба человека. Кто из них человек — герой или антигерой? Поэзия или антипоэзия? Роман или антироман? И т. д. Результат зависит от того, кто победит в этой борьбе... Герой — значит, победу одержал гуманизм. Антигерой — антигуманизм. Иногда судьба этого сражения решается на «ничейной земле». Иногда пламя боя перекидывается в одну из враждующих крепостей. На войне всякое бывает. Важно как следует уяснить себе всю стратегию этой грандиозной битвы. Прометей — глашатай великой цели, ратоборцы прекрасного идеала. В союзе с пассивным антигероем, с разочарованным пессимистом или продавшим душу корыстолюбцем не одержишь победы в этой святой борьбе. Битве нужны герои. Однако борьба эта сложна, ее нельзя упрощать. Примитивный консерватизм не поможет. Консерватизм, с одной стороны, и декадентство — с другой, — две крайности. Они не годятся для продолжительного, терпеливого и последовательного моделирования, шлифовки, совершенствования скульптуры будущего человека. Требуются бойцы центрального, широкого, глубоко эшелонированного фронта, у которого много пространства, много времени и места для долгого маневрирования. Этот фронт должен напоминать могучий поток. Не у берегов, а посередине его пролегает путь основного течения мыслей, чувств, взлетов, мечтаний. Мы не должны быть ни боязливыми консерваторами, которых страшит любая новинка, ни ультрамодернистами, не отличающимися черного от белого — героя от антигероя. Да. Границы существуют. Однако боязнь нового ничего хорошего творческому поиску человека не сулит. Прометей — это смелость. Смелость, которая пре-

одолевают реальный страх. Нужно больше смелости, и сердцевина жизни — стрежень широкого и глубокого потока — будет неуклонно продвигаться вперед, неся с собою и новые открытия. Постоянное течение является гарантией того, что вода вечно будет чистой, не зацветет и не зарастет водорослями. Прометеева активность всегда направлена против олимпийской неподвижности, против столь величественного с виду, а по сути дела мертвенного покоя. Постоянное движение вперед необходимо. В нем прометеево беспокойство. Поиск — прометеева свобода творчества. Пусть твердят мне сегодня «доброжелатели», что климат моей общественной структуры не обеспечивает мне необходимого роста. Я не устану возражать, что это ложь! Ибо если я владею свободой исканий — значит, у меня подходящий климат, климат, способствующий росту! Консерватизм — это оцепенение. И декадентство — тоже оцепенение. Искания — это движение, это моя свобода. Я зачастую сам создаю себе благоприятный микроклимат, нужный мне для творческого поиска. В антигерое я не нуждаюсь, разве что для сатиры понадобится... А пока — нет. Мне нужна героическая, создающая прекрасное личность. Скверно, что, маневрируя в своей сфере, мы не используем всех возможностей, которые предоставляет нам героический гуманизм. Боязнь, инерция, консерватизм иногда еще сковывают прометеевы силы. Мы сами подчас не сознаем, какие потенциальные возможности скрыты в прометеевой деятельности. Святое беспокойство и творческие искания. Только не консервативное прозябание или ультрасовременная поза...

...За белым заиндевелым окном — застучало, загремело... И мне показалось, что пришла весна. И так вдруг затосковал я по весне, такое весеннее настроение нахлынуло, затопило сердце. И чудится — за покрытым инеем окном уже гремит, грохочет, раскатывается весенний гром, блещут майские молнии. Блещут и зажигают на земле огонь весны. О, Прометей, носители огня! Зажжем для человека весну! Хватит ему удаляться от подобных себе. Прометеизм порождает чувство общности людей, чувство локтя, плеча, дружеской руки. Первый параграф его катехизиса: человек должен стоять бок о бок с человеком — брат подле брата. Тогда легче творить и побеждать. Прометеизм провозглашает анти-

индивидуализм и антиэгоизм. Провозглашает братскую идею общности людей. Только соединенными усилиями многих можно создать такие идеальные условия, когда человек «познавал бы... в себе человека». Прометеевыми усилиями освобожденный человек... За морозным окном — весна. Она зовет отложить перо, встать из-за стола... Но нужно все сказать до конца, и поэтому:

### ПОД ЗНАКОМ ВЕЧНОСТИ

...Мои первые поэтические опыты приходятся на то время, когда мне минуло десять лет. Однако разговор вовсе не об этом микроскопическом факте. Гораздо важнее для меня было другое. Ко дню рождения отец подарил мне первый настоящий костюм — пиджак, галстук и, главное, длинные брюки. И я внезапно ощутил себя мужчиной: как-никак — десять лет! Но представьте себе, как велико было мое разочарование. Влез я в свой первый костюм и утонул в нем. Костюм был велик. Пиджак балахоном свисал с моих щуплых плеч. И походил я в нем на огородное чучело. А о брюках и говорить не приходится — в них я просто исчез. Мне стало горько. Так горько, что я разревелся. Но отец был не столь богат, чтобы каждый год приобретать мне по костюму. И он успокоил меня. Потрепал своей мозолистой рабочей рукой мой поэтический вихор и, помнится, сказал: «Не горюй! Нечего хныкать. Велик? Ну и правильно! Я сам просил, чтобы сшили на вырост... Подрастешь, и будет впору. В самый раз будет, вот увидишь!..»

И конечно, все получилось так, как говорил отец. Через год-другой я снова надел костюм. Сидел он отменно. Шествовал я по улице, полный гордости и счастья. Правда, отвороты брюк мели тротуар. Но это ничего, это уже терпимо. А тут еще один молодежный журнальчик взял да и тиснул первые мои стихи... Воображаю, каким казался я в те дни своим друзьям... Этак и индюк! Но себе я казался взрослым...

...На вырост... Не знаю, почему тогда, в той драматической ситуации, так запало мне в память это отцовское слово. Очень простое слово, но, верно, емкое и значительное, ежели я до сих пор не могу его забыть...

Да что там — забыть! Далеко не сразу открылся мне его глубинный смысл. Немало надо было прожить, пока уразумел я до конца это ясное и мудрое слово, пока смог увидеть скрытые в глубине этого емкого выражения далекие, трудно достижимые горизонты солнечных морей. Но чем дальше, тем чаще и отчетливее, когда сидел я за письменным столом, передо мной огненными буквами обозначалось это слово отца. Оно молниями сверкало на стене подобно тому грозному библейскому предостережению. Помните, «мене, текел, фарес»?.. И я даже не почувствовал, как постепенно стало оно девизом всего моего творчества. Незримым девизом — оно не прибито табличкой на двери, открывая которую мы, будто в новую квартиру, входим в каждую новую книгу. Но фактически с него, с этого невидимого эпитафия, все чаще начинаются теперь мои произведения...

Но чья же это таинственная рука выводит огненными буквами перед моим мысленным взором, когда сижу я за рабочим столом, грозное — «на вырост»?.. Неужели это мозолистая рука отца? Нет. Я давно потерял отца... Кто же тогда ежедневно пишет на стене это предостережение: «на вырост»?.. Может быть, мой добрый друг, имя которому — время? Я говорю — добрый. А как же еще мог бы я назвать его? Отца моего давно уже нет, и никого ближе времени у меня не осталось. И потому время — теперь мой лучший друг. Добрый, но не всегда надежный. Правда, оно всегда предлагает свою помощь и услуги. Оно всегда рядом, снует и трепещет где-то очень близко, чувствуешь его горячее дыхание. Оно всегда готово отмерить и отрезать сотканное за ночь ткачихой-музой тонкое полотно... Но оно — время рассеянное, работает наугад, к тому же еще и забывчиво — не держит слова, не выполняет обещаний. Только что было оно тут, чуть не вплотную, вместе работало, помогало. И вдруг улетучилось, словно и не было его. Исчезло бесследно, как в воду кануло... Вот тебе и друг!.. Разве можно верить такому другу? Ушло время! И горе поэту, если, раскраивая вытканное музой полотно, не прикинул он ни сантиметра «на вырост»... Горе такому поэту! Время минуло, побыло и ушло своей дорогой. А поэт? Поэту порой приходится шествовать по жизни с пустыми руками. То, что сделано им, выброшено на свалку в кучу никому не нужного хлама. Это было пошито не на вырост. И теперь стало тесно, узко, не ле-



зет, не годится. И некому жаловаться. Ты слышал отцовский совет: «на вырост»? Да, слышал. Почему же не последовал ему? Кто теперь виноват? Не ты ли сам?

У тебя был хороший друг — время. Надо было держать его при себе, не выпускать из рук. Ты сотворил бы чудеса. Зачем же упустил? А теперь ступай, ищи ветра в поле... Наверно, не одному поэту, чью голову уже украшает серебро, довелось усвоить сей жестокий урок. Вот что значит послушаться отца!..

Отца? Но он же давно умер! И все-таки — отца... Какого? Подними глаза и присмотрись... Видишь? Отчего ты вздрогнул? Чего испугался? Перед тобой — огромный бронзовый монумент. Кто это? На первый взгляд напоминает он Давида-победителя—героическую фигуру работы Микеланджело. Но это не Давид. Это твой отец. Отец поэзии. Поэзия, как и все живущее, имеет отца. Этот бронзовый колосс — классическое наследие мировой поэзии. Своими руками конструировала, моделировала и тысячелетиями создала его муза Эрато. Та самая, которая порой посещает и твое скромное жилище. Эрато, твоя прекрасная сестра-пряха, родила тебе отца. Большого, взыскательного и строгого воспитателя. Да отец и не может быть иным. Мы молоды и хрупки, а он уже отец. А все-таки что с того, что он породил нас? Очень трудно с ним ладить. Он слишком подавляет, слишком многого хочет, слишком мучает нас. Он не нравится нам. Мы недовольны им. Мы бунтуем и восстаем против своего властного отца. Но ненадолго. Вскоре мы снова чувствуем на своем пылающем челе холодную и тяжелую бронзовую руку его. И голова остывает. И мы снова слышим его гулкий бронзовый голос. Что говорит он? Не то же ли самое слово — «на вырост»? Что-то похожее. А что это виднеется там вдали? Кто это движется прямо на нас? Уж не Данте ли? Гёте? Пушкин? Петефи? Уитмен? Маяковский? Блок? Ну конечно! Это они! Многие умирают, не успев родиться. А вот они всегда остаются такими, какими были, — юными и бодрыми, захватывающе интересными и бесконечно мудрыми... Они преодолели время. Хорошо ли ты видишь? Шире открой глаза, пристальнее всмотрись в дали, пройденные родом человеческим. Видишь ли ты, сколько следов запечатлелось на песке пустынь? А что

гам, дальше? А там высятся рассеянные по всей земле величайшие творения поэзии. Они прекрасно видны отовсюду. Они, словно пирамиды, возвышаются над горизонтами планеты. Остроконечные пики пирамид увенчаны вечно пылающими солнцами их славы. В Греции такие пирамиды именуется «Илиадой» и «Одиссеей», в Италии — «Божественной комедией», в Англии — Театром Шекспира, в Германии — «Фаустом», во Франции — «Человеческой комедией», в России — «Войной и миром», на Востоке — «Лейли и Меджнуном», в Америке — «Листьями травы». Над горизонтами планеты сияет вершинами и множество других пирамид. Большая поэзия не терпит версификации. Версификация — эфемерный призрак: у ее детища короткий век. Большая поэзия дышит величием пирамиды Хеопса. Наверно, нелегко было воздвигать такое грандиозное сооружение.

Закрываю глаза и пытаюсь представить себе, как создавали пирамиду. Вначале, видимо, строится гигантский фундамент. Это идейно-философская основа. А потом уж начинается кладка. Грани камней шлифуются друг к другу, блоки кладутся один на другой — все выше и острее. И вот, наконец, пирамида вершиной своей, словно острием копья, пронзает солнечный диск и навсегда остается увенчанной его пламенем. Так избражал пирамиды наш Чюрлёнис.

Эти фантастические строения почти не испытывают разрушительной силы времени. Такие сооружения могли быть созданы лишь мозолистыми руками каменотесов. Руками обреченных на одиночество узников. Руками рабов и мучеников музыки. Руками твердыми, как железо. И очень печально, что ныне строительство пирамид не в моде. Сегодня они все дальше и дальше от наших глаз, а нас окружают лишь миниатюры. Вернее сказать — пластмассовые сувениры. Больно видеть процесс мельчания величественного создания человеческого духа, распад, деформацию и деградацию прекрасного поэтического материала.

Ничто, как известно, не вечно. Все меняется. Меняется и архитектурная планировка ансамблей поэзии. Происходят структурные сдвиги поэтического материала. Легче, лаконичнее и стройнее становится линия поэтической постройки. Но если сегодняшнее строительство хочет добиться такого же результата, какого достигала

поэтическая архитектура прошлого, то его творческий эквивалент должен быть равен эквиваленту пирамид. Равен заложенной в них массе духовных и физических сил; ума и сердца, страдания и крови, конгломерату всех человеческих дерзаний.

Я уже не ребенок, я уже умею ходить, не держась за руку отца. И я начисто лишен комплекса «несчастливого сиротинушки». Я смотрю в будущее. Но хочу, чтобы меня правильно поняли: таким отцом, как наследие мировой поэзии, можно только гордиться. Он жил тысячелетия. Жил нелегко. Ему случалось ползать во прахе перед тиранами, приходилось залечивать кровоточащие раны... Он, как и мы, познал все трудности роста. А возможно, и глубже, чем мы. Ибо не было у него опоры. А у нас есть на что опереться. На великое наследие мировой поэзии. На отца.

Еще ничто в мире не возникало из ничего. Ни один поэт не явился на свет сам по себе, из пустоты. Поэт — сын своего отца, великого поэтического наследия. И ничто не дает ему права презирать это наследство. Напротив, уважение к отцу может пойти ему лишь на пользу. Отец стар, время гнетет его плечи, он многое повидал, и множество тайн открыто ему. И главная тайна искусства — бессмертие. Каждому хочется, чтобы отец открыл ему эту тайну. Добиться этого нелегко, но попытаться можно. Кое-кому удастся. Но при одном условии: надо смотреть старому волшебнику, своему отцу, прямо в глаза. Мы никогда не узнаем этой тайны, если отвернемся от него. Поэтому всегда смотрите в глаза поэтическому наследию. Отец всегда остается отцом. Он может дать только добрый совет. Вслушаемся, что же шепчут нам его классические бронзовые губы. Они канонически скандируют одно и то же слово. Какое? — «На вырост»!..

На вырост? А что оно значит, это слово, отец? Я знаю, когда-то оно было для тебя кристально ясным, как моя слеза. Ты трудился, делал все, чтобы выросли мы — твои дети. И ты добился своего. Ты вырастил нас, ты научил нас понимать мир и воспевать его, открыл нам тысячелетние тайны поэзии, передал нам свою поэтическую культуру, вывел нас в люди... И одно время казалось, что этого поэту достаточно. Ибо чего же еще нужно человеку, которого уменьшали до размеров вин-

гика? Возьмем розы. Разве так уж трудно вырастить розу — даже в высокой мансарде поэта, даже в башне из слоновой кости? Но дело дошло до абсурда: розы стали нужны только тем, кто их растит, — поэзия для поэтов... Что же тогда — человеку?

А человек, как выяснилось, никакой не винтик. Загребели космические старты, содрогнулись земля и небо. Вот тебе и розы! Вот тебе и винтики! Поведай же мне теперь, отец, что значит твое слово «на вырост»? Теперь, когда земля породнилась с небом? Ответь мне, отец!

Ответь мне: разве из всех стихий, из пламени революции, из катастроф и катаклизмов, из землетрясений и гула космических ракет человек выходит меньшим, чем он был прежде? Не становится ли человек сильнее, не больше ли доверяет он силе своего разума и рук в этом неистовстве стихий? Не помогают ли эти страшные стихии росту человека? Что же ты молчишь? Ответь! Но твои уста безмолвны.

Я понимаю: никому не хочется работать за другого. И твое молчание — знак того, что пора заговорить мне. Каждый поэт должен обладать достаточной смелостью для того, чтобы собственными глазами взглянуться в глаза своего века и открыто, в лицо, сказать ему всю правду. Если даже очень суровыми будут эти глаза и очень горькой правда... Я знаю, отец завещал мне право участвовать в дальнейшем творении этого недостроенного мира. Я ответствен за судьбу моего мира... Я понимаю: сегодня, сейчас конструируется модель будущего. Нелегко труд конструкторов. Мир напоминает театральные подмостки, где играют трагедию Шекспира. «Быть или не быть, вот в чем вопрос». И я должен найти ответ на этот вопрос. Кто я? Один из многих создателей модели будущего мира? Или сторонний наблюдатель? Активный герой? Или только зритель? Кто я? И где мое место в этом катаклизме планеты, в этом хаотическом буйстве стихии, в этом сложном мире?

Проясняются контуры модели будущего мира. Его проектируют политики и философы, ученые и поэты. Человек желает знать о себе все. И потому проводится такой интенсивный анализ структуры Вселенной. По существу, это комплексный анализ. Все подчиняется единой цели — вырвать человека из рабства у природы.

Фактически продолжается подвиг Прометея. Становятся яснее результаты аналитического исследования структуры вселенной. Производится синтез, формируются выводы и общие принципы: чем глубже проникновение в материал, тем шире границы познания, и наоборот. И чем глубже и шире, тем смелее проникновение в суть — в экономическую и социальную структуру общества. Мало того. Ищут путей, чтобы вернуться назад, к исходной точке, к альфе, туда, где зародилась сама жизнь, где началось само начало. Из этой точки лучше будет видна и будущая точка — омега. Пытаются познать и противоположное — субстанцию, которую окутывает густой туман, черная ночь, ледяной хаос, — стихию смерти... Освобождаясь из рабства, человек создает себе слугу, помощника, автоматического раба — Голема. У Голема отличная электронная память, он может хранить фантастическое количество информации. В то же время Голем — хороший помощник и преданный слуга. Но он не попытается бунтовать и восставать против своего создателя.

Что будет дальше, пока сказать трудно. Выясняется, что человек, стоящий за пультом, превращается в демона. Он проводит мифологически-фантастический эксперимент с плазмой — началом жизни и ее возможным концом... Страшно? Кто пугает нас? Робот? Робота мы все боимся. И его следует бояться... Увы, но мы уже читаем математическим путем созданные поэтические уравнения, которые пишутся электронными автоматами и издаются в городах, где некогда муза Эрато нежными мраморными перстами гладила в мансардах кудри поэтов и где был рожден замечательный плод этой любви — слово, прекрасное, как дитя. Увы, увы...

Но не будем спешить с выводами. Что мы, откровенно говоря, знаем об этом фантастическом прометеевом эксперименте с первоогнем? Пока что еще очень немного, так как это лишь самое начало. И судьба планеты, быть может, в руках гения, а вовсе не робота? Мы все еще не можем избавиться от гипноза предрассудков. Мы обучены думать, что совершеннейший человеческий гений наиболее полно может проявить себя лишь в художественном эксперименте. И, погрузившись в гипнотический сон, как сомнамбулы — в голубой лунный свет, мы незаметно для себя очутились во второй половине XX века. И вдруг нас разбудил грохот ракет и косми-

ческий гул циклотронов... Мы все еще не можем примириться с мыслью, что на сей раз человеческий гений решил проявить себя в научном эксперименте. Не будем столь амбициозны: откуда нам так хорошо известно, что в кубке, который держит рука человека, этого удивительного алхимика,— яд? А может быть, в нем эликсир жизни, пригубив который, пусть по наущению демона, проснется вечно юный Фауст?

Место поэта? На этот вопрос всегда трудно ответить. Поэт — и вечный странник Агасфер, и садовник, прикованный к своему клочку земли. Адрес поэта может быть и Космос, Звездная улица (номер неразборчив), и Своя планета, улица Простых людей, 13... У каждого поэта — свой адрес...

И все-таки: если поэт не желает утратить трезвое чувство реальности, то его место сегодня там, где идет универсальный анализ структуры Вселенной, где проектируется модель будущего мира. Место поэта — в конструкторском бюро того грандиозного проекта, где на ватмане рождаются архитектурные чертежи грядущего. Место поэта там, где продолжается революционное переустройство планеты, создаются условия для могучего роста духовного мира человека.

И не надо бояться того, что современная поэтическая метафора уподобляется архитектурному плану. К тому же она с каждым днем ширится, растет вглубь, вверх. В схеме современной метафоры человек узнает динамику своего творчества. Ничего не попишешь: муза поэзии Эрато покинула тесную мансарду и вернулась в общество своих сестер. И теперь все чаще можно увидеть ее возле гигантского циклотрона, на пусковой площадке космодрома рядом с пультом управления или склоненной над электронным микроскопом и с его помощью наблюдающей возникновение жизни...

Поэзия, как и наш реальный мир, не может остановиться в своем развитии. Деятельность человека универсальна, универсальной становится и поэзия. Поэзия превращается в науку познания человека, а поэт — в конструктора модели будущего мира. Справедлива мысль, что поэзия никогда не заменит никакой науки: ни физики, ни философии, ни математики. Зарифмованная наука нам не нужна. Но не нужна нам больше и пустая версификация. Настало время, когда научная те-

ория и научный эксперимент стали столь же глубоко поэтичными, как топчайший звук скрипичной струны. Не без основания Норберт Винер назвал новую математику «одним из видов искусства».

Современная поэзия — структурная поэзия. Вместе с наукой она проникает в самую суть жизни. Поэзия погружается в глубочайшие недра в поисках первопричин и сути вещей. И нет ничего удивительного в том, что она пользуется нынче тем же аналитико-экспериментальным методом познания, что и наука. Когда доискиваются до самой сути, иначе и быть не может...

В любом, даже мельчайшем деле человек познает самого себя. И поэзия тоже помогает ему в этом. Если когда-нибудь, как в сказке, человек потерял бы вдруг свою тень, он утратил бы ориентиры и не видел, откуда светит солнце. Поэзия ни с чем не конкурирует. Она лишь координирует свои действия с наукой, философией, социологией. И поэтому очень важно, чтобы сегодня поэзия была там, где рассчитывается модель будущего мира. Хотелось бы иметь такую модель грядущего, где человеку не было бы тесно, душно, темно, холодно, голодно... Хотелось бы иметь такую модель мира, где человеку будет свободно, просторно, красиво, где человеку будет оставлено место «на вырост». На интеллектуальный вырост. А человек растет. Нельзя забывать об этом, проектируя для него будущее. Вот почему я считаю, что поэт не имеет права устраняться от дальнейшего творения этого незавершенного мира и должен быть его активным конструктором. Осмысленная жизнь поэта может проходить только под тем знаком, под которым некогда выросли монументы поэзии, пирамиды поэзии, не под апокалиптическим знаком трех всадников, а под знаком вечности — *sub specie aeternitatis*.

А для работы подойдет отцовский принцип: на вырост!

## POST SCRIPTUM

### СЕДОЙ МАЛЬЧИК

Этим утром я был еще ребенком, и вот я уже состарился.

*Петрарка*

...А по свету странствует мальчик —  
за солнцем он шествует вслед.

**Планета круглее, чем мячик,  
круглее всех прочих планет.**

**...Все небо туманом одето,  
на солнце кровавая мгла.  
Но вертится наша планета,  
она, словно мячик, кругла...**

**...Все вертится, вертится мячик,  
все кружится в звездной пыли,  
устал он, седеющий мальчик,  
отстал он от нашей земли...**

...Когда, отодвинув эту рукопись, поднял я голову над письменным столом, то заметил вдруг, что волосы мои покрыты нетающим инеем. Прошло ровно двадцать лет с тех пор, как заполнил я первые страницы этих заметок... На картине Чюрлениса «Истина» из мрака как бы является перед зрителем озабоченное, мудрое, озаренное огоньком свечи лицо. На свет летит множество маленьких крылатых существ. Это отдельные истины. Они порхают около человеческого лица. А оно сосредоточенно и встревожено. Как определить, какая из этих истин — настоящая? Трудно. Вечерами в мою комнату слеталось множество существ, подобных крылатым чюрленисовским истинам. Они летели на свет, бились о раскаленное стекло лампы и, обжигаясь, падали на листы бумаги. Может, это ночные бабочки? А может, отдельные истины... Из их множества должен был я выбрать свою единственную. Шли годы. И каждую ночь наполнялась моя комната шорохом прозрачных крылышек. Зимой они вмерзали в заиндеветый квадрат окна.

Немало утекло времени... И как много погибло этих ночных бабочек. А я все еще пишу свой бесконечный дневник. И продолжаю отыскивать свою истину. Разные годы выдавались — и дождливые, суровые, и потеплее, помягче. В холодные годы, как правило, бывал скромный урожай. В теплые — более обильный. И творческий урожай, оказывается, зависит от температуры воздуха. Когда было особенно морозно, когда дул пронизывающий холодный ветер, быстрее белела голова, и урожай снимал я мизерный...



Теплело, раздавались трели соловьев, веял свежий ветер, и грудь снова взволнованно вздымалась, чище становился охрипший от зимних морозов лирический голос поэта. В нем все сильнее пробивались серебряные звоны... Собственный голос услышать трудно. И я не слушал его. Было некогда. Писал и писал. И нынче лежит на моем столе несколько книг. Все беспокойство исканий привело к Человеку. Главным для меня — не в поэзии, а в жизни — стал Человек. В жизни, а потом уже в поэзии. Родилось что-то новое. Поэзия, которую не поэт пишет о поэте, а человек о человеке. Может быть, нелегко почувствовать качественное различие между первой и второй формулировками. Кое-кто, возможно, сочтет сие за игру слов. Ничего подобного. Между аполлоновой (первая формула) и прометеевой (вторая формула) поэзией существует огромная разница. Поэт второй формации призван заражать человека жаждой свободы, неудовлетворенностью существующим, желанием восставать против самого себя и побеждать себя, чтобы, одержав в труднейшей борьбе победу, стать Человеком. Та поэзия, которая никуда не зовет и никуда не ведет человека, — несостоятельна. Иногда она очень красива. Но это всего лишь лужа, которая тоже отражает лучи солнца и в которую тоже падают звезды. Но лужа остается лужей. Это поэзия дремотной пассивности. Конечно, борясь за свободу, человек не удовлетворяется одними только декларациями и присягами. Душе его потребна великая красота.

Человек — это прежде всего творец прекрасного. Этим *Homo sapiens* отличается от других созданий природы. Путь человека — через прекрасное к свободе — ведет вверх, он долог и труден. Потому этот тяжелый путь часто вызывает усталость, раздражение, желание все бросить... Но разве вправе мы отказаться от него, если род человеческий, едва покинув свою белую мраморную колыбель, пошел по этому пути? Отказаться от трудного, но настоящего и свернуть на легкий, но ложный? Там, правда, уготованы нам разнообразные блага. Поэзия, только отражающая жизнь, скорее одарит нас своими плодами. Но там, на ложной дороге, ожидает нас душевная дремота.

Огромная опасность — остаться вечным «рабом вещей» — грозит нам на этом пути. А став рабом вещей, человек уже не может сделаться свободным... преодо-

леть себя, подняться над собой. Только таким образом можно сбросить оковы своего рабского прошлого, ограниченности, консерватизма.

Одна великая революция во внешнем мире порождает миллионы микрореволюций в душе человека. Как мощно грохочет, кипит, бурлит охваченная полководцем революции человеческая душа! В ней воздвигаются и рушатся баррикады, раздаются выстрелы, звучат призывы pro и contra, противоборствуют древние религиозные гимны и звуки марсельезы...

Сложна, очень сложна микрореволюция в душе человека. Однако, лишь победив в этой революции, человек обретает право свободно дышать и свободно жить. Он нуждается в непрерывной микрореволюции, ибо без нее вечно оставался бы он тем, кем был некогда, — зверем. Это было бы трагедией. Теперь же, шествуя из одного столетия в другое, он все дальше уходит от первобытного зверя. Прометееву борьбу за человека нельзя выиграть без убеждения, без горячей веры. Мало — иметь высокую цель. Важно — горячо верить в нее, найти в себе силы, дабы преодолеть страх, отказаться от благ, к коим привыкло тело, и ради морального совершенствования вступить в новый этап, решиться пусть на тяжкую, но благородную борьбу. Этот важный этап начался. Так-то, брат-поэт. Хочешь оставить в жизни настоящий след? Тогда, не мешкая, заставь душу свою подняться вверх, туда, где витают на невидимых крылах истина, добро и красота.

Я свято верю, что настоящая поэзия зазвучала впервые в вырвавшемся из груди прикованного Прометей мучительном крике. И крик этот породил волну, что многие столетия катится уже по бурному океану человечества. Этот тревожный крик боли взывал о помощи, поднимал человека на борьбу.

На борьбу за освобождение, очищение, очеловечивание человека.

Черен заиндеветый квадрат окна. И на черном фоне — белый иней... И голову мою покрыло инеем... О, знал бы я, что так бывает, когда... Постой, чьи это слова?! Из дальней дали звучат они... из сорок шестого года... Тогда прочесть и лишь теперь понять... Вспомнил, кому они принадлежат? Молчи, сердце, и слушай! Такое чувство, словно подошел я к реке и остановился

перед ней. Перед ледяным потоком Стикса. Да. Мой берег еще освещен солнцем. А с противоположного берега, где в туманной дымке мелькают печальные тени, доносится проникновенный и дрожащий голос:

*О, знал бы я, что так бывает,  
Когда пускался на дебют,  
Что строчки с кровью — убивают,  
Нахлынут горлом и убьют!*

*От шуток с этой подоплекой  
Я б отказался наотрез.  
Начало было так далеко,  
Так робок первый интерес.*

*Но старость — это Рим, который  
Взамен турусов и колес  
Не читки требует с актера,  
А полной гибели всерьез.*

*Когда строку диктует чувство,  
Оно на сцену шлет раба,  
И тут кончается искусство  
И дышат почва и судьба.*

Голос с того берега. Так-то... Если бы знали мы, «когда пускались на дебют», что ждет нас... Но чего уж там... Начало так далеко, и таким робким кажется отсюда первый поэтический интерес. Если бы знали, может, и не рвались на подмости... Но теперь отступать поздно. Да и некуда. И не «читки», конечно, ждут ныне от актера, а «полной гибели всерьез». С пылающим прометеевым факелом в руке...

1946—1966

## ЭПИЛОГ

..Вот мы пришли к даленим рубежам земли,  
В пространства скифов, в дикую пустую  
дебрь.

Итак, Гефест, теперь твоя обязанность  
Приказ отца исполнить и преступника  
К сналистоверхим кручам пригвоздить.  
Ведь он твой цвет, огонь, чудесно блестящий,  
Унрал и людям подарил.

*(Эсхил, «Прометей прикованный»)*

**О горы Кавказа!**

**И пепел седой!**

**И сам ты, седой Кавказ!**

**И сны великанов!..**

**Простите меня**

**за то, что вспомнил сейчас**

**Эсхилом сказанные слова...**

**Здесь, где небес синева,**

**и горы, и птицы, и дерева,**

**повторяю твои слова,**

**о Эсхил! Седой твоей голове я кланяюсь —  
прикажи,**

**пусть в горы опять уйдет тишина,**

**на прежние рубежи!**

**Пускай уйдет она — прикажи! —**

**туда, где лежит туман...**

**Пьеса окончена. Все. Финал.**

**Зрители — по домам!..**

**Но продолжается схватка. Бой.**

**Кружится голова...**

**Эсхил, седая моя голова**

**кружится, чуть жива.**

Мне тяжело.

Продолжается бой.

Минуты покоя нет...

О не мучай меня, Эсхил,

мною выученный с детских лет!

Потому что горы вокруг гудят...

И не видно в горах путей...

Черный, как демон, ветер летит...

Молния гору сечет

и сверкает над ней холодным огнем...

И профиль горы — Прометей

качается... И появляется вдруг

Мефистофель, худой, как черт...

Зачем ты, старый циник, пришел

в горы,

где даль полна

звоном цепей — где цепи звенят,

где стоны, и льется кровь,

и не умолкая горы гудят!..

...Идет за волной волна...

Все выше и выше...

И ветер в горах

повторяет Эсхила вновь...

...Святой эфир и ветры быстрокрылые,  
Источники рек текучих, смех сверкающий  
Неисчислимы волн морских, и мать <sup>Земля,</sup>  
И солнца круг всезрящий, — вам я <sup>жалуюсь</sup>  
Взгляните, что терплю я, бог, от божьих <sup>рук.</sup>

Терплю за то, что смертным дал <sup>сокровища —</sup>  
В стволе сухого тростника родник огня  
Я воровски припрятал.

(Эсхил, «Прометей прикованный»)

Поэту — страданье и мука —

весьма полезная штука...

Но как перед ним покаюсь,

что затвердил слова,

в драме его играя!..

О, была прекрасной мука!





мученики всех освенцимов,  
 где покоится  
 пепел горячий!  
 но кто же, скажите!..  
 ...О нет,  
 не успокоится сердце,  
 не успокоится...  
 Простите мне, горы,  
 о горного кряжа кольцо,  
 о высокие горы,  
 чей темный  
 костлявый профиль  
 опять мне напомнил  
 мученика лицо...  
 Лицо Прометей...  
 Но скажите,  
 зачем Мефистофель,  
 зачем этот старый циник  
 опять сюда!..  
 Но плачет гора,  
 и в плач,  
 будто в плащ, себя прячет...  
 И пепел мне в сердце стучится...  
 Я знаю, о да,  
 то мой Прометей,  
 Прометей мой прикованный  
 плачет...  
 О мой Прометей!  
 О ветер!..  
 Я тоже, поверь,  
 стискивал зубы от боли...  
 И если случится —  
 выдержу снова...  
 Но в сердце стучится  
 теперь  
 пепел его...  
 В мое сердце стучится...  
 Стучится...  
 Больно... Я наземь сползаю...  
 Мне трудно... Молчу...  
 Все принимаю.  
 Решаюсь.  
 И не сокрушаюсь.





Просыпаются красные горы...  
 светает, светает...

.....

Винovat был не я.

Были спички виновны —  
 да-да,

были спички во всем виноваты.

Страдаю невинно...

Значит, ты невиновен!

Так что же ты трусишь тогда!

Ну давай веселей!

Выше голову!  
 Чао, бамбино!

...Всего, что было, — уже нет. Всего,  
 что будет, — еще нет...

*(Альфред Мюссе)*

...Да, его еще нет — оно будет...

{Но каким оно будет!

Повтором!

Или чем-то неведомым!}

Не хочу повторенья дорог,  
 тех, усыпанных пеплом...

Иду к самолету,  
 к ревущим моторам

самолета,

давно уже свой отслужившего срок.

Он пропеллером машет —

лететь ему все же охота.

Он стоит, как музейная мельница.

{Только ветер в траве!}

Он сейчас для меня —

как та мельница  
 для Дон-Кихота.

И гудит его ветер

в поседевшей моей голове.

Что ж, гудите, пропеллеры!

Пусть от веселого гуда

этот воздух дрожит!

А моторы стары — не беда!..

...Ну, а вы тут что делаете!

Вы тут, девчонки, откуда!







Мир Чюрлёниса.



Мир Чюрлёниса.



Вы несите ее, нашу землю,  
о девочки,  
музы,  
веселее несите —  
иного не надобно ей!  
Как на крыльях, летите!  
Несите,  
как носят арбузы,  
хохочите,  
скачите по лужам  
с поклажей своей!  
Так несите — легко и свободно!  
Нет ноши дороже!  
Вы несите ее в самолет —  
она любит полет!..  
...И на этом  
позвольте мне точку поставить.  
Я тоже  
поднимаюсь по трапу —  
в «античный» сажусь  
самолет...

*Кавказ,  
1—2 октября 1966 г.*





мир чюрлёниса



**Перевод Б. ЗАЛЕСКОЙ**  
**Стихи в переводе Ю. ЛЕВИТАНСКОГО**

Вселенная представляется мне большой симфонией; люди — как ноты...

*М. К. Чюрлёнис*

## ЕГО ИНИЦИАЛЫ

...я как вольная птица (без крыльев)...

*М. К. Чюрлёнис*

**МКЧ —**

как странная птица,  
из тех, что мы не видали,  
из тех, несомненно, живущих в сказочных рощах,  
летит и летит, пробиваясь к солнечной дали,  
этот резкий причудливый росчерк.

**МКЧ —**

это волны  
набегающего прилива,  
где чайка четко очерчена лучом заката,  
или реющая над раскрытым роялем грива  
за роялем сидящего гениального музыканта.

**МКЧ —**

это в сумерках,  
когда очертанья туманны  
и звезды так странны над розовыми куполами,  
рядом с легкой летящей готикой святой Анны  
черная его крылатка бьет на ветру крылами.

**МКЧ —**

это башня и гений,  
простирающий руку  
к месяцу или к птице, что над ним летает:  
гений — вольная птица, понимающая эту муку  
быть вольной птицей, когда ей крыл не хватает.

**МКЧ —**

это мера гения,  
что, как собственные владенья,  
небеса перекраивает, и каждый этот отрезок  
превращает потом в удивительные виденья,  
фантастические цветные виденья фресок.

**МКЧ —**

это подпись  
на полотнах, отмеченных вечностью,  
это волшебный ключик от затворенных  
башен, наполненных доброй его человечностью;  
от бесконечных галактик, им сотворенных.

## **РЕЧИТАТИВ РАТНИЧЕЛЕ<sup>1</sup>**

...как некогда, когда я был еще ребенком...

*М: К. Чюрленис*

**Чуть речь начала**

**Ратничеле,—**

**рокощущий речитатив:**

**и ели,**

**как виолончели,**

**запели,**

**его подхватив.**

**И клены,**

**негромко: вначале,**

**потом,**

**подчиняясь ключу,**

**отчетливей чуть**

**завучали,**

**ручью отвечая:**

**— Чю-чю!**

<sup>1</sup> Ратничеле — речка на юге Литвы, на родине Чюрлениса.



и ели,  
 как виолончели,  
 поют и поют,  
 подхватив  
 наивную речь Ратничеле,  
 причудливый речитатив.

## ПОПЫТКА ПОНЯТЬ ЕГО

### 1

...жить, широко раскрыв глаза на все, что  
 прекрасно... забыть, откуда и куда идешь,  
 как тебя зовут, и смотреть глазами ре-  
 бенка...

*М. К. Чюрлёни*

Широко раскрытые, большие, удивленные глаза. Глаза ребенка. Глаза гения. Подлинная красота доступна только таким глазам. Мир должен дивиться. Как сказка. И в сказку надо верить. Как в реальную жизнь. В сказку верят только дети. Подлинную красоту воспринимает только чистая, прекрасная душа. Душа ребенка. Греческий скульптор увидел свою исполненную очарования Афродиту глазами ребенка, как Рафаэль — красоту и непорочность Сикстинской мадонны, как Леонардо да Винчи — благородную прелесть Монны Лизы. Огюст Роден перенес в мрамор тончайшие линии, увидел их в природе глазами ребенка. Прекрасное не терпит лжи. Если душа осквернена ложью, глаза не видят прекрасного. Ложь уничтожает красоту, а красота — ложь. Чем талантливее художник, тем больше прекрасного видят в мире его глаза.

### 2

Какая-то поразительная гармония, которой ничто не может замутить. Все существует как прекрасное сочетание красок, как звучание дивного аккорда...

*М. К. Чюрлёнис*

О, как трудно вместить в себя мир!.. Сколько звуков в нем слышится, сколько красок сверкает! В каких бесчисленных ритмах пульсируют природа и жизнь... И ка-

кими же средствами можно совершеннее выразить его, этот мир? Звуками? Красками? Ритмами? Напрягается слух ребенка. Широко раскрываются его очи. Распахивается сердце. Пробуждается музыкант. Художник. Поэт. Уши полнятся шорохами лашни, где растет хлеб, недовольным ворчанием земли, таящей в себе вулканы, ревом морских волн, перекаत्याющих валуны, шуршанием зеленого леса, беззвучной симфонией космоса. Глаза захлестывает множество красок — зелень луга и синева небес, прозрачный смарагд моря и медь солнца... Сердце переполняют радость и печаль, удивление и боль, гнев и безмятежность, и оно ритмично бьется в такт морю и ветру, облакам и птицам, весне и зиме, планетам и галактикам. Кровеносные сосуды художника перенасыщены звуками, красками, ритмами, чувствами. Он должен разгрузиться. Должен освободиться. Иначе сердце не выдержит. Он избранник природы. Природа с избытком наделила его прекрасным. И он должен не утаивать красоты бытия, опустошить себя до конца. Создать образ мира. Звуками? Звуками! Но звуки увлажняются и превращаются в краски. Звучит голубая музыка неба, зеленая музыка леса, янтарная музыка моря, серебряная музыка звезд... Что же тут создается? Да это же цветовая мелодия! Значит, с помощью одних только звуков не выразишь в совершенстве мира? Надо браться за краски, браться за живопись. Да. Холсты. Холсты. Холсты. Теперь он точнее, полнее — образ мира!.. Но что это? Пиано — зазвучал синий. Форте — взметнулся зеленый... Краски обрели звучание. Их голоса сплетаются, сливаются в едином хоре, в одном оркестре. Словно скрипичные струны, запели махты деревьев, строчки птиц, острые пики гор, плавные линии облаков. Струнами арфы зазвенела небесная лазурь. Что это? Звучащая живопись? О, как гремит в груди колокол сердца: бом-бом-бом... Ворвавшийся в окно весенний ветер растрепал волосы. В руке палитра и кисть. И вот палитра оставлена. Пальцы вонзаются в черные и белые клавиши. Рояль рассыпает звонкие янтарьки. Средство — это неважно! Музыка ли, краски, поэзия... Важна суть. Важна мысль. Звук — скорлупка ореха. Мысль — его ядро. Мысль и в линии, проведенной карандашом, и в мазке, оставленной кистью. Философия объединяет краски, звуки, поэтическое слово. Гений ничем не стесняет себя. Гений не выбирает средств.

Гений — это прежде всего творец мысли. А звук, цвет, слово — это лишь средства, чтобы поведать ее. Цель гения — созидание мира...

## 3

...чем шире крылья расправит, чем больший круг облетит, тем будет легче, тем счастливее будет человек...

*М. К. Чюрлёнис*

Послушайте, почтеннейшие! О чем это вы тут толкуете? Хотите отнять память? Лишить сна? Мечту отобрать хотите? Мы засыпаем и видим во сне бурные порывы ветра в хаотическом мире. Мы не можем помнить этого. Тогда мы были молекулами водородной туманности. Но это помнят частицы наших мышц, они трепещут во сне, как трепетали в хаотических вихрях галактики. Засыпаем, и нам снятся разрывы земной коры, землетрясения, извержения вулканов... Нам снится однообразно ритмичный морской прибой. Мы ощущаем жар солнца куда сильнее сегодняшнего его тепла. А как высоко во сне горы! Какие горы! Трудно взбираться на них. И вертолет не приходит на помощь. Потому что тогда еще не было вертолетов. А какой незнаемый вид у растений, растопыривших свои крылатые листья! Как на полотнах Руссо. То тут, то там вдруг появляются фантастические звери и летают давно сгинувшие птицы. А что там, в наших снах, так потрескивает, сверкает, гудит? Огоны! Первый огонь, разведенный пращурами в пещере. А замки? Нет, это не замки — это удивительные игольчатые кристаллы ледниковой эпохи. Похожие на замки. И сады. О, какие сады! Парящие над землей зеленые облака. Висячие сады Семирамиды. Остатки возведенных в пустынях алтарей. И пирамиды, пальмы, сфинксы. Бескрайние пространства вод. Наверно, это потоп. Человечество помнит. Ничто в мире не погибает, ничто не исчезает бесследно. Все хранит на века мозг человеческий. И потому люди создают поэтические легенды и сказки. В сказках — ориентиры, путеводные звезды, маяки грядущего. Наука реставрирует человеческую память. Определяет возраст галактик, солнечной системы, Земли, человека. Изучает перспективы будущего. Успехи науки никого не удивляют. Так и должно быть. Это естественно. Удивляет искусство,



прокладывающее свои тропы рядом с магистралями науки. Куда же идет оно, искусство? Почему вторгается в область науки? Чюрленис одним из первых перешел этот Рубикон. Его фантастические видения — из сокровищницы памяти человечества. Эта память всегда помогала человеку творить сказку, легенду, миф. Эта память помогала ему осознать, обобщить, синтезировать реализм жизни. Разве не так родился эпос? Все мифологические символы? Все легендарные сюжеты? Только из земной действительности переносились они в сферу поэзии. И в этом секрет их могущества. Их основа — жизнь. Таков и Чюрленис. Гений стремится к всеобщности. Гению мало настоящего. Он погружается в пучину прошлого и воссоздает сгладившиеся горы, развалины городов, замков — все, что сделали человеческие руки. Творец связывает настоящее с прошлым и будущим. Он больше видит, больше вмещает в себя. Он всемогущ.

## 4

**Последний цикл не окончен; я думаю работать над ним всю жизнь... Это сотворение мира, но не нашего, библейского, а какого-то другого — фантастического. Мне хочется создать цикл по меньшей мере из ста картин...**

*М. К. Чюрленис*

Этот цикл он начал. И не окончил. И это прекраснейшее из созданного им — хаотическое переплетение цветных линий и музыки. Гений болен вечным протестом, беспокойством. Его не удовлетворяет действительность. Он мечтает пересоздать Вселенную. И, разумеется, предлагает сделать ее более совершенной, справедливой, прекрасной. У него своя собственная программа добра, истины и красоты. Гений говорит о главном. О сотворении нового мира. О сотворении нового человека. Каждый гений борется, нередко титанически борется с извечными законами мира... Мир заново творили в пустынях строители пирамид, мечтавшие украсить солнцами их острые пики. В Сикстинской капелле заново творил мир Микеланджело. Мир заново творил недовольный собой и всем прочим в этом мире, трагически мрачный и суровый, окутанный хаосом звуков Бетховен. Он запечатлевал этот хаос, вечное ворчание земли и тоску по гармоничному миру. Чюрленис тоже был

язычником. Он поклонялся источнику жизни — солнцу и считал, что сотворение мира еще не закончено. И необходима его, Чюрлениса, посильная помощь. Он был сторонником активной философии, утверждающей дальнейшее творение мира. И уж никак не пессимистической. Это очень важно, коль скоро мы хотим правильно понять и полюбить его. Чюрленис верно познал противоречивость творения, именуемого миром и человеком. Он угадал извечный конфликт между черным и белым дымами. И, наконец, он понял всю эфемерность отдельной человеческой судьбы. Трагически бесконечная черная процессия всех поколений человечества, символически несущая гроб, — это лишь аккорды черных клавиш. Творец, вознамерившийся заново создать мир, должен был взглянуть на него со стороны, облететь вокруг земного шара, подняться в космическое пространство, в туманности галактик. Творец должен был увидеть объект своего творчества. Он интуитивно предвидел приход новой космической эры. Он понял, что изменится взгляд человека на его собственную планету и на чужие планеты в бесконечных просторах Вселенной. Нет другого художника, который бы так реально, так осязаемо чувствовал романтику космоса. Чюрленис сумел преодолеть горизонты пространства и границы времени. Ведомый атаквистической памятью, этот художник вторгся глубже других в прошлое человечества, в век его детства и юности, — в сферу легенды, сказки, мифа. И гораздо дальше других заглянул и зашел он в будущее человечества, которое сегодня тоже еще называется мечтой, сказкой, мифом. Огромна временная парабола этого художника — от первоначального хаоса до всеобщей гармонии будущего. Мы отсчитываем время своей земной меркой. Он уже тогда начал исчислять его галактическими мерами. Не менее значительна и его пространственная парабола, облипшая кометами, звездами, млечными путями. По этой параболе шагает крылатый человек. Может быть, Икар. И еще, может быть, космонавт. Гениально предчувствовал этот художник наступление космической эры. И космизм, позволивший преодолеть земные мерилы времени и пространства, дал ему возможность угадать в горизонтах грядущего идеал добра и красоты. Гений хотел бы вернуть миру утраченную гармонию — гармонию первых людей золотого века. И еще он хотел пророчествовать.

...были и такие, что, глядя на мои картины, покатывались со смеху...

*М. К. Чюрлёнис*

Реставрированный мир тех времен, когда он еще походил на сказку, в бесконечном спокойствии бесконечные пространства воды, напоминающие всемирный потоп, миражи висящих в поднебесье садов, миражи вавилонских башен, сфинксов, пирамид в пустынях, пылающее солнце, дружески протянутое на ладони ближнему своему, солнце, похожее на человеческое сердце,

младенец с невинными глазами и невинной душой, тянущийся к белой головке одуванчика, на вершине высокой горы,

бурная, как бушующее море, человеческая душа, на дне которой лежат затонувшие черные корабли воспоминаний,

гиперболы гор и замковых башен, которые устремлены в зенит и ширятся в пространстве, словно мелодия, часы бесконечного спокойствия, когда, слившись со звездами, человек задумывается о мире и о себе,

солнечный сон Икара, когда человек перед лицом смертельной опасности ищет выхода для жизни в космические просторы,—

что же рассмешило вас?

## УТОПЛЕННИКИ

### МОНОЛОГ ХУДОЖНИКА

...Была темная ночь, лил, хлестал ливень. Вдруг сверкнула безумная мысль: все на земле потонуло все — города, деревни, избы, костелы, леса, башни, поля, горы — все затопила вода. Люди ничего об этом не знают, потому что ночь, и преспокойно спят в избах, дворцах, виллах, гостиницах. Спят глубоким сном — но ведь это утопленники, белые, распухшие, ооченевшие, нечеловечески храпят, унутываются во сне в одеяла, чашут распухшие поясницы, бормочут что-то бессвязное, и жутки их выпученные, белые, как сало, глаза...

*М. К. Чюрлёнис*

**Икары,**

**а также с орлом подстреленным схожи,  
веками**

**космонавты поэзии, лезем мы вон из кожи...**



Стоит ли пробовать  
 разбудить, воскресить попытаться хотя б на мгновение!  
 Всё проели, пропили  
 и ушли в забытье, погрузились навек в забвенье.

Все...

В небе ясно, звездно —  
 только их не поднимешь ради этой манящей млечности.  
 Поздно —  
 не слышать им чистого голоса Человека и Человечности...

Звезды алмазные  
 я не стану им сыпать в мешок, как буханочки хлеба.  
 Что вам выдумки разные  
 и фантазии разные — что вам звезды неба!

Зачем они вам, утопленники!

Муки поиска  
 и синие дали оставляю себе,— вам молчания тризна.  
 Мы два полюса,  
 навсегда сведены наши счеты — отныне и присно!

## ЧЮРЛЕНИСА НАХОДИМ В НИДЕ

Трудно выразить словами, как взволнован я этим замечательным искусством, которое обогатило не только живопись, но и расширило наши представления в области полифонии и музыкальной ритмики. Сколь плодотворным было бы развитие такого содержательного искусства в живописи широчайших пространств, монументальных фресок...

*Ромен Роллан*

### 1

Этот великий француз, блестящий знаток музыки и пластического искусства, любовался «виденьями бескрайних просторов» и высоко ценил их творца. Стены его дома украшали картины великого литовского художника. Роллан именовал его «Колумбом новых худо-

жественных континентов». Таким и в самом деле был этот добрый человек с большими глазами, новатор в искусстве — пророк космического века. И в то же время Роллан удивлялся: «Не могу понять, откуда он черпал эти впечатления в таком краю, как ващ, в котором, насколько мне известно, вряд ли можно найти подобные мстивы». Роллан, вероятно, имел в виду контраст между необыкновенными чюрленисовскими горизонтами и серыми распаханными равнинами Литвы. Чего не понял этот великий француз, любивший Чюрлениса, но никогда не видевший его родины, то понял соотечественник Роллана — Жан Поль Сартр, не слыхавший прежде имени Чюрлениса, но имевший случай погостить на его земле. Стекла очков не могли спрятать удивления и радости нового открытия в глазах этого французского писателя и философа, когда разглядывал он в Каунасе небольшие по формату чюрленисовские картины — виденья бескрайних просторов и необъятных горизонтов времени. А для раздумий над увиденным избрали мы Ниду.

## 2

Нида так же уникальна в мире природы, как Чюрленис — в мире искусства. Второго такого уголка, как Нида, не найти. И нет в мире второго такого художника, как Чюрленис. (Мы сравнивали, говорил Сартр, Чюрлениса с Врубелем...) Чюрленис — совершенно обособленный мир самобытной красоты. Мир красоты, выросший над нашим миром и выше, чем наш мир. Кто однажды увидел Ниду, тот уже никогда ее не забудет. И точно так же, кто однажды встретился с видениями Чюрлениса, тот никогда не забудет его своеобразного мира.

## 3

Мы карабкаемся на песчаную гору. Босые ноги увязают в золотом песке. А морской ветер поет свою величественную, монотонную, нескончаемую, как нить существования Вселенной (нить Ариадны?), песню. А прозрачные песчинки, эти острогранные крупы алмаза, режут стекло глазного яблока. Пение песчинок напоминает жужжание золотых пчелок в лесном вереске. Кажется, никогда еще я не слышал такого поразительного пения крошечных острогранных алмазиков... Таких не-

земных, таких эфемерных звуков. Словно космическая мелодия... Но ветер сплачивает множество крупиц песка, они становятся тяжелее, и уши наполняются словами, слепленными из золотых песчинок и теплого летнего ветра... Что шепчут море и песок? Я напрягаю все силы, хочу понять, что нашептывает мне песчинками у самого уха морской ветер. «Pour nous,— я словно слышу его голос,— le faire est révélateur de l'être, chaque geste dessine des figures nouvelles sur la terre, chaque technique, chaque outil est un sens ouvert sur le monde; les choses ont autant de visages qu'il y a de manières de s'en servir. Nous ne sommes plus avec ceux qui veulent posséder le monde mais avec ceux qui veulent le changer et c'est au projet même de le changer qu'il révèle les secrets de son être».

Неужели ветер донес до меня этот шепот? Я поглядываю на бредущего рядом со мной невысокого, сухощавого, молчаливого человека. Взбираться на гору нелегко... Каждый мускул лица моего спутника напряжен, каждая жилка как струна... Человек должен победить... Нет, он ничего не говорил и, уж конечно, не цитировал собственных произведений. Ветер мне нашептал эти его слова. Это чюрленисовские витражи неба и иллюзии пустынь. А автор слов шагает рядом молчаливый и сосредоточенный. И ничего не говорит, только карабкается, лезет на самую высокую дюну... Человек всю жизнь так вот взбирается: он хочет взглянуть на мир с вершины. (Чюрленис — это взгляд с самых высоких гор вниз на уже пройденную человеком дорогу и на его будущие пути, на непокоренные и неприступные вершины.) Человек существует потому, что он действует: «Для нас «действовать» — значит «быть», — приходит на память афоризм моего спутника, — каждый жест создает в мире новые образы, любая техника, любые орудия — это взгляд, открытый на мир. У вещей столько лиц, сколько способов воспользоваться этими вещами». Сартр снимает очки и протирает запорошенные мельчайшим песком стекла. Он, думаю я, не обожествил человека, но видит его божественное призвание — творить этот мир дальше («...каждый жест создает в мире новые образы...»). Потом он сказал: «Мы уже не с теми, кто хочет обладать миром, а с теми, кто хочет его изменить, и в этом намерении изменить мир заключается

тайна бытия». Великое искусство всегда ищет ответ на главный вопрос: в чем тайна бытия? И в поисках божества художник всякий раз заново и неожиданно для себя находит человека. Сартр — атеист. Но, очутившись на вершине дюны, мы шутим, пользуясь традиционными символическими метафорами: «Вот она, краса Нида». «Да, ничего подобного я не видел». «Когда «бог творил мир», он всех равно наделил красотой, не только большим странам, но и малым подарил нечто прекрасное». Верно. Только, к сожалению, это — исключение среди всего его остального отвратительного творчества. Человек получил «свободу» преобразить весь остальной мир в соответствии с этими эталонами прекрасного... Все это между прочим. Стоя на фоне синего неба, на дюне из золотого песка, мы непринужденно болтали. В шутовском разговоре мой собеседник, как истый галл, остроумен, галантен, тонок. Но за этими шутками, как солнце за пеленой тумана, скрывались те самые слова... Да, «боги» и «полубоги» всегда хотят деспотически править миром... А «человек»? А человек хочет «их заменить». (Символы, аллегории, гиперболы мира Чюрлёниса не что иное, как опозэтизированные, трансформированные реалии этого земного мира. Это «шифр», который нетрудно разобрать, если мы сумеем найти к нему ключ, как к иероглифам, обнаруженным в египетских пирамидах. Тогда мы прочтем документ одной большой души, где есть своё конкретное время и место жизни, драма и конфликт... Чюрлёнис искал способы «изменить этот мир».)

## 4

О Нида, Нида! Где найти слова, которые выразили бы мою любовь к тебе? Долгими зимними вечерами, когда я далеко и лишь в мечтах вижу тебя, эти слова словно бы рождаются, приходят в мою скромную комнату... Но когда я смотрю на тебя, они бледнеют, как сон, исчезают, как корабли в бескрайних просторах чюрлёнисовских видений... И мне снова не хватает слов любви, которые я хотел бы сказать тебе, словно самой прекрасной женщине... Словами трудно передать настоящие чувства. Нида, всякий раз я вижу тебя иной! Так кто же ты? Возлюбленная моего воображения? Кто?



## 5

В Ниде, если стоять на вершине самой высокой дюны и смотреть вокруг, проекция пространства выглядит иначе, нежели в любой другой точке планеты. Простор, бескрайний простор. И поэтому все кажется здесь маленьким. Все предметы заключены под небесный свод, как под стеклянный колпак, за которым видна синева бесконечной Вселенной, усеянная мерцающими крупными звездами. Такой гипертрофированный, словно раздвинутый простор, как на полотнах Рериха. Он тоже озирает мир с вершин Гималаев. Кажется, будто все его башни, горы, птицы, созвездия — это лишь небольшие камешки — красивые зеленоватые смарагды, сверкающие алмазы, жемчуга и аквамарины, рассыпанные в каком-то кубическом стеклянном зале. Будто сказка, будто поэтические конструкции из стекла и металла. Но здесь совсем другие пространственные пропорции, другие размеры и соотношения. Стеклянные стены уходят в бесконечность, в недосягаемые дали. Но и там эти стены остаются прозрачными и сквозь них можно видеть. За ними — эфемерные, хрупкие, трудно различимые миры галактик, волны звуков, космические объемы. А еще дальше? А еще дальше — сны, поэтические ощущения, гармонические сферы, дымка фантазии и мечты. Однажды, когда я рано утром пролетал над Африкой, мне довелось увидеть сквозь стекло иллюминатора волшебный мираж. Луч солнца, отразившись от крыльев самолета, преломился в облаках, и долгое время рядом с самолетом летела, широко распластав крылья, фантастическая птица. Чюрленис, безусловно, иллюзорен, эфемерен, рождает миражи. Но это только первое впечатление. Нельзя ведь стоять перед картиной, смотреть на нее и ни о чем не думать. Иногда мы хотим, чтобы в ней «все было сказано». А если «все сказано», но все сказанное очень своеобразно зашифровано? Тогда остается расшифровать и прочесть творца, чтобы понять его отношение к жизни.

## 6

Нида — золотые дюны под лазурным куполом неба. С обеих сторон водные пространства. Зеленоватое, пенящееся море. Голубой залив. А воздух вибрирует, словно трепещущие на ветру флажки из голубого, зе-

яного, желтого шелка, прошитого солнечными нитями. Как на одной из картин Чюрлёниса. И это еще не все. Запрокинем голову. Облака. Белые, снежные комья, мотки белого шелка, гигантские белые горы. А между ними — башни, башенки, замки, голубые озера, горные речушки. И еще: фантастически белые крылья птиц, распахнутые для дальнего полета. Потом пальмовые ветки, купы деревьев. Затем — огромные головы. Великанов, зверей, птиц. Можно бы писать и писать с этих белых, вереницами проплывающих над Нидой облаков абсолютно конкретные полотна. В свое время жена Чюрлёниса так и пыталась объяснять его картины («...помнится, сидим мы как-то раз на высокой дюне и вдруг у нас над головой поплыли такие чудные облака — корабли да и только, корабли с наполненными ветром парусами — палевые, надутые, розовеющие паруса — плывут... плывут... величаво.— Смотри, твои картины,— показала я»). Тут, конечно, конкретный образ. Но это еще не все. Можно смотреть на рисунок облаков (кстати, эти морские облака над Нидой какие-то особенные: напоминают аппликации, вырезанные из бумаги, наклеенные на голубое стекло неба — так они четки). Но можно посмотреть и на тени облаков. Какие интересные конфигурации! Какой пластический ритм в их движении! Представим себе вереницу стометровых дюн — словно Великую китайскую стену, цепь замков, караван верблюдов-великанов, лежащих в пустыне, или вереницу сложенных в ряд невиданного размера седел из желтого сафьяна... И вот, словно крылья огромной птицы, ползут по ним причудливые тени. Квадраты, ромбы, треугольники. Темные пятна с вершины дюны начинают скользить вниз, к ее подножию, на песчаную равнину. Какой пластический ритм создают эти бурые плоские тени, ползущие по застывшим, как сфинксы, плавно выгнутым вершинам золотистых гор! Какой диссонанс, какой контраст! Это готовые декоративные фрески из цветовых пятен и музыкальных ритмов. Удивительные чюрлёнисовские видения! И это еще не все. По одну сторону косы — белесо-зеленоватые тона моря, по другую — синева залива. И блики солнца. Сколько? Тысячи крохотных круглых солнц, рассыпающих свои лучи. И сколько же таких миниатюрных солнц в картинах великого мастера! Сколько их, наколотых на многочисленные пики пирамид, на башни и башенки! Во

Вселенной бесконечное множество солнц и миров. Вселенная гениально величественна в своей беспредельности. Чюрленис художественными средствами создавал философию бесконечности. Эту же бесконечность открывает перед нами Нида. Солнце сверкает над головой у человека, заливая его своими лучами; протяни руку к морю, и солнце вспыхнет у тебя на ладони, как костер древних язычников. Солнце катится, как шаровая молния, по застывшим волнам песчаных дюн. Огненным шаром подкатывается оно тебе под ноги. О, сколько же тут солнц!.. Но это только визуальный рисунок мира. Как удивителен здесь еще и другой — акустический его рисунок... Вслушаемся в монотонную музыку моря. Вслушаемся в пение золотистых песчинок. Волнистые песчаные хребты, кажется, окутаны нежной пеленой тумана. Нет, то не туман. То ветер поднял блуждающий песок. А кажется, что это золотистый туман. Настоящий туман. Зажмурься. И почувствуешь, что здесь вовсе и не дюны. Здесь простираются песчаные пустыни, выжженные солнцем пространства, и на них высятся грандиозные пирамиды... И даже не пирамиды. А скорее погрузившиеся в бездну дворцы, башни, каскады висячих садов Атлантиды. А затопившее все вокруг море гремит и гремит свою нескончаемую, свою вечную симфонию... Нет, это, наверно, еще невозведенные города гениальных архитекторов грядущего. Города, несколько не похожие на наши. В них нет тяжелых квадратных плоскостей. Это мечта. Мечта Ле Корбюзье и Оскара Нимейера. Надо мечтать. Мечта — прелюдия человеческого творчества, начало творческого акта. Хотя всегда жить мечтами нельзя. Есть еще и будни. Но эти будни не должны закабалить нас. Мы должны бомбардировать их, свои будни, мечтами. Вместе с Чюрленисом. Со всеми другими гениальными мечтателями. Часто мы говорим: понять Чюрлениса... А что же тут особенного? Мечта: Угол зрения. Призма для наблюдения. Вот и все. «В Ниде я нашел Чюрлениса,— говорит мне Жан Поль Сартр.— Нида — это Чюрленис»...

## 7

Чюрленис — это Нида. Вспомним его картину, на которой два седых старца смотрят на лучащееся солнце. И видят в нем контуры творений человеческих рук. Что

создают руки человека, то сияет, как солнце. И мы, «два старца», на вершине дюны разглядываем лежащий на ладони янтарь. Пока проползало облако, янтарек казался осколком камня. Но вот солнце брызнуло, раздуло огонек, и заколдованный янтарь вспыхнул. На ладони пылает, сверкает, лучится миниатюрное солнце. (Кстати, несколько слов о колорите Чюрлёниса. Вспомнимся в главные краски его палитры. Разве это не янтарь? Зеленоватый, желтоватый, матовый, даже рыжеватый и розовый. Что ж, такой же колорит и у холстов, вытканых нашими матерями. Мы прибалты. И в жилах у нас течет янтарь. Основу колорита Чюрлёниса не надо искать где-то еще. Художник, обладающий несказанно богатой фантазией, не всегда имел реальную возможность выразить свои мечты, свои виденья, ему не хватало красок. Поэтому иногда приходилось самому изготавливать их. Из всего — из литовских трав и цветов, из кирпича... И он придавал своим краскам янтарный оттенок: так видел глаз, так подсказывало сердце...) И вот сверкает на ладони миниатюрное солнце. Мы оба долго смотрим на него, смотрим на огонек янтаря. И видим контуры. Контуры архитектурных сооружений. Море порой одаривает нас уникальными самородками янтаря. А иногда наши народные умельцы вытачивают в куске янтаря какой-нибудь свой сон, мечту, свою песню. Очень впечатляюще выглядит такой рисунок, когда смотришь на него сквозь шлифованную грань. Будто города на дне морском, будто миры, залитые потоком солища. Вот и Чюрлёнис: надо сквозь янтарь, по диагонали рассекаемый солнечным лучом, посмотреть на Ниду. Здесь, в золотых дюнах, мир Чюрлёниса. (Жан Поль Сартр сказал в одном из своих произведений, что «себя можно увидеть только глазами другого». Мне почему-то пришла на ум эта мысль, когда мы вдвоем молча рассматривали найденную на вершине дюны горящую каплю янтаря. А ветер монотонно насвистывал чюрлёнисовский напев морских волн, и под стеклянным куполом неба стояло такое бесконечное спокойствие...) Я ничего не хочу требовать. И ничего не хочу утверждать. Но если правда, что благодаря пылающему горячечному мозгу гениев народы и времена прозревают свое будущее и тогда рвутся к нему, то Чюрлёнис был для своего народа именно таким художником, был предтечей, возведенным из грядущей космической эры. Разве

здесь, у подножия стометровых золотых дюн, не могут вырасти конструкции из металла, стекла и янтаря, похожие на башни и другие удивительные архитектурные сооружения его картин? Солнечные лучи насквозь пронизывали бы их стеклянные стены. И с обеих сторон заливали бы их своими зеленовато-голубыми тонами море и залив. И наполнились бы они шумом ветра и моря, криками чаек, потонувшими и гордо всплывающими кораблями, медузами и фантастическими травами. И в них сияло бы множество маленьких солнц и звезд. И это была бы человеческая жизнь, открытая всей Вселенной. И это стало бы тем плодотворным развитием содержательного искусства в живописи больших пространств, монументальных фресок, о котором говорил Роллан. И это был бы привидевшийся Чюрленису город Мечты.

## СТРЕЛЕЦ

...гляди, среди снежных горных корон,  
среди гор, стреляющих вверх и почти до-  
стигающих неба, стоит человек...

*М. К. Чюрленис*

Среди гор,  
как известно, нацеленных вверх  
от века,  
среди гор,  
легко подпирающих синеву,  
надо всем, что исстари  
тянет вина человека,  
он из лука прицелился,  
натянув тетиву.  
[О добро, ты вынуждено  
к стреле обратиться,  
хотя стрелы и прочее  
у тебя не в чести!].  
Над головой человека,  
крылья раскинув,  
кружится черная птица,  
Не тяни же, стрелок!  
Тетиву натяни  
и пусти!  
Птица кружится,  
словно ворон Эдгара По,

или тот самолет,  
 где суперпилот  
 Клод Изерли...

Стоит человек.  
 Кружится ворон —  
 вот он.

Стоит человек,  
 натянув тетиву,  
 на вершине Земли.

{...Рушится Троя.  
 Стоит человек.  
 Стоит, словно вечен.

Прах Вавилона.  
 Содом и Гоморра.  
 Стоит человек, что ни век.

Рим умирает.  
 Стоит человек.  
 Стоит, изувечен,  
 и все-таки вечен.  
 Рушится все:  
 Стоит человек.

Стрелы свистят.  
 Стоит человек.  
 Острые копья.

Падает меч.  
 Стоит человек.  
 Пуля звенит.

Падает бомба.  
 Сыплются черные комья  
 мерзлой земли.  
 Ракета уходит в зенит...]

Но стоит человек  
 среди горных вершин,  
 сверкающих снегом,  
 Стоит человек.  
 Он увенчан и вечен.  
 Из века в век.

Лук и стрела.  
 Черная птица  
 над человеком.

И стоит человек.  
 Стоит человек.  
 Стоит. Человек.

## АНТИМИР

### ПОПЫТКА ПОДВЕСТИ ИТОГ

1

...У меня здоровые крылья. Я полечу в далекие миры, в край вечной красоты, солнца и фантазии, в заколдованную страну...

*М. К. Чюрлёнис*

**Мы — аргонавты.**

**Немало испытано зла —  
как нам не жаждать добра!**

**Мы — аргонавты.**

**Немало испытано лжи —  
как нам не жаждать правды!**

**Мы — аргонавты.**

**Немало мы видели страшного —  
как не искать красоты!**

**И если искусство не ложь,  
а правда,  
и если учит не злу,  
а добру,  
и утверждает собой  
не древний звериный инстинкт,  
а благородную красоту —  
значит, оно для человека...**

**Мы — аргонавты.  
Нас ведет мечта.**

**Мы хотим  
возвратить  
потерянное...  
Помоги, Чюрлёнис!**

## Мечта?

Если мы хотим понять Чюрлёниса, то не должны анатомически препарировать его. Окинем взглядом панораму его грандиозных построений. Чюрлёнис — философ. Прежде всего философ, изложивший свои оригинальные взгляды на Вселенную с помощью звуков, контуров, линий, красок, поэтических образов. Трудно определить, где тут кончается музыка и начинается живопись, где кончается живопись и начинается поэзия. Так что же это такое? Музыка? Пластика? Поэзия? Я не берусь ответить на этот вопрос. Постигание Чюрлёниса продолжается. Наверно, Чюрлёнис — это все вместе: и музыка, и краски, и поэзия. Но главное в нем — мысль. Архитектурные чертежи и воздвигнутые по ним ансамбли мысли. Если все его разрозненные творения сложить в циклы (получится круг), а циклы объединить в систему (получится большой круг), если прослушать и осмыслить его музыкальные мотивы, прочесть его интимные поэтические записи и попытаться, наконец, все это суммировать, то нам станет ясно — мы имеем дело с цельной, очень оригинальной, своеобразной и сложной художественно-философской системой. Это — раздумье над самой сущностью бытия. В сложности этих раздумий трудно определить, где, в какой Вселенной очутились мы вместе с творцом. И очень нелегко конкретизировать время. Что это — будущее, настоящее, прошлое? Или первичный период формирования планетных систем, за которым кроется тайна? Неизвестно. Вечный холод. И на какой планете или звезде видел и слышал творец все то, о чем образно пытается рассказать нам? Странные виденья. Невообразимые миры. На Земле такого не было. А может, и было? Как знать. Если и было, то уже, наверное, давно (как затонувшие корабли) покоится на морском дне или погребено под золотым песком. А может быть, это только интуитивные догадки художника? Где он все это видел? На дно какого моря погружался? Какие пустыни раскапывал? Где побывал? На Марсе? Во сне? Гениальная мысль этого художника мчится со скоростью света. И поэтому для него самого несущественно, какой объект изображать. Это может быть наша планета. А могут быть и другие галактики. Это нам трудно. А не ему. Он Колумб. Он первым вы-



садился на континенте новой эры. Он жил там, где мы еще не скоро сможем жить. И его космический релятивизм не менее важен для философии искусства, чем теория относительности Эйнштейна для конкретных наук, для эксперимента и практики. У него было иное, совершенно отличное от нашего, ощущение пространства и времени. Такое, возможно, будет у людей грядущего...

3

**Мечта!**

**Но самая светлая  
и желанная —  
где жила она  
и когда!**

**Где я слышал имя ее!  
На каком рассвете!  
Сколько раз она существовала  
на этом свете!**

**И что это за башни,  
в которых ветер поет!  
И кто это — звездный Ренк!  
И что есть птицы полет!**

**Я гостил у Чюрлёниса —  
может, в выдуманных садах!  
А в каких это было годах!  
Там звезды сияли,  
и солнце слепило,  
и облака отражались в воде...  
Но где это было!  
Не здесь это было...**

**А где!**

**Где эта точка пространства  
и времени!**

**Спросим же Вечного Ребенка...**

## Мечта?

По Чюрлёнису, в равной мере относительны и добро и зло. Жителю Земли сопутствует постоянное и в общем-то правильное убеждение, что он живет на самой лучшей, самой совершенной и самой прекрасной планете. Может, так оно и есть. Но Чюрлёнис был жителем всего огромного мира, и только потому, вероятно, он смотрел на вещи несколько объективнее. Почему Земля? А может быть, существуют более совершенные планеты? Как знать. Возможно, их нет. Наука пока мало помогает нам. Иногда приходится доверяться интуиции художника. Фантазия, надо полагать, тоже материальна. Ничто не рождается из ничего. Это вечная истина. И образы фантазии, должно быть, тоже порождение некогда сущего. Мы считаем, что наша планета — совершеннейший образец для других. Известно, что Данте и Гёте думали иначе. Они демонстрировали планете модели каких-то странных, неизвестно откуда возникших миров. Мы мыслим трезвее и реальнее, чем эти чудачки. Как знать; может, они и сами явились из других миров на нашу спесивую, круглую, а вообще-то удобную и вполне довольную собою, светящуюся отражением солнечной улыбки планету. Явились и подрывают ее корни. Разрушают самодовольство. Будят в сердце чувство непокоя, исканий. Чюрлёнис, верно, тоже пришелец с планеты Мечты, ибо каким же образом смог бы он иначе воздвигнуть в безвоздушной космической среде, в вакууме, ансамбли архитектурных конструкций такой фантастической красоты? И для чего? Разве не хватало ему своей планеты? А как он сконструировал эти свои ансамбли красоты? Как это держатся они там в поднебесье, посылая нам звездный свет? С помощью каких сил держатся они? Такие силы есть. Это страдание и радость, счастье и боль, музыка и безмолвие... О, это могучие силы! А из какого же строительного материала возведены его странные архитектурные ансамбли? Для своих сооружений он использовал недоступный глазу, но очень прочный материал — любовь. Любовь к человеку. И это вовсе не материал. Скорее наоборот, анти-материал. Да, но если это антиматериал, то из него мог быть построен разве что антимир. Так скорее всего и было. Чюрлёнис создавал антимир и противопоставлял

его материальному миру. И, наверное, вовсе не потому, что он не любил его, материальный мир. Нет. Скорее от огромной любви к этому миру. Он творил антипод мира и вопрошал мир, каким он хочет быть. Нравится ли ему гармония антимира? И мир отвечал, что нравится. И пусть он превращает антимир в мир. А как? А вот так: мир должен слиться с антимиром.— Попытаться можно, но это очень трудно.— Ясное дело, нелегко. Творчество — дело не простое. Но пусть пытается... И залетевшая в открытое окно синяя ночная бабочка сбила крыльями пламя свечи... И тогда вместе с этим огоньком угасла и мысль гения, которая облетела Вселенную со скоростью света... Но не знала этого беззаботная ночная бабочка...

## 5

**А мир!**

**А мир таков,  
каков он есть сейчас,  
и этот час —  
хороший час для нас,  
пока другой  
его не сменит час...  
Да, мир таков,  
таков он есть сейчас.**

**Но к миру черной злобы,  
например,  
есть доброты извечный антимир.  
А к миру лжи  
и к миру лживых мер  
есть правды неподкупной антимир.**

**В нем вызревает эра доброты,  
вглядишься в него,  
и вдруг увидишь ты,  
что проступают ясные черты  
и наступает эра доброты...**





## ● СОДЕРЖАНИЕ

ЛИРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ .	5
НОЧНЫЕ БАБОЧКИ .	213
МИР ЧЮРЛЕНИСА .	419

---

**Эдуардас Беньяминович Межелайтис**

### КОНТРАПУНКТ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1972, 448 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Усыскина**

Оформление серии **А. Гаранина**

Редактор **И. Юшкова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **А. Березина**

Корректор **М. Федотова**



А 03064. Подписано в печать 6/IV 1972 г. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Бум. печ. № 1. Печ. л. 14,0 + 0,625 печ. л. вкладок. Усл.  
печ. л. 23,52. Уч.-изд л. 23,75. Зак. 3250. Тир. 200,000 экз.

Цена 1 руб. 50 коп.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»  
Москва, Пушкинская пл., 5:

Типография издательства «Известия».



Имя и творчество литовского поэта Эдуардаса МЕЖЕЛАЙТИСА широко известны в нашей стране. Родина Межелайтиса — деревня Карейвишкяй Пакруойского района, но в 1924 году, когда мальчику было пять лет, семья переезжает в Каунас, город, славившийся не только своей историей, но и революционными традициями. В 3-й каунасской гимназии, где учился Межелайтис, уроки литературы и родного языка вела поэтесса Саломея Нерис, многие учителя были известны своими антифашистскими убеждениями. В 15 лет Межелайтис вступает в подпольную комсомольскую организацию. В тот же год в альманахе «Яунимас» («Молодежь») печатается его первое стихотворение.

За тридцать пять лет литературной деятельности издана целая

библиотека произведений поэта — от первой книжечки «Лирика», вышедшей на литовском языке в Москве в 1943 году, до двухтомника «Поэзия» и книг «Монтажи» и «Горизонты», появившихся недавно в Вильнюсе.

В последнее время литовские читатели едва ли не ежегодно получают новые книги поэта. Многие из них вышли и в русском переводе. За книгу «Человек» — итог размышлений поэта над судьбой и предназначением человека — в 1962 году автору была присуждена Лезинская премия. Хорошо знакомы русские любители поэзии и с последующими сборниками: «Кардиограмма» — 1963 г., «Авиаэтюды» — 1966 г., «Карусель» — 1967 г., «Алелюмай» — 1970 г. Произведения Межелайтиса переведены на многие языки мира. За цикл стихов об Индии поэт удостоен премии имени Джавахарлала Неру.

Предлагаемая читателю книга «Контрапункт» — своеобразный сплав поэтической публицистики и лирической прозы, искренний рассказ автора о себе, о поэзии, об искусстве. Книгу составляют самостоятельные, но связанные внутренними узлами произведения: «Лирические этюды», «Ночные бабочки» и «Мир Чюрлениса». «Инкрустированные» в прозу стихотворные миниатюры и отрывки, не нарушая жанровой целостности книги, развивают и углубляют ее главную тему — лирическую исповедь большого художника.